

ГРАНИ

GRANI

92-93

1974

Postverlagsort: Frankfurt/Main, April - September

ПОСЕВ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

И

ВОЛЬНОЕ СЛОВО

САМИЗДАТ. ИЗБРАННОЕ. ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ СЕРИЯ

УСЛОВИЯ ГОДОВОЙ ПОДПИСКИ В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ

«Посев» и 4 брошюры «Вольного слова»: В Европе — 65 н. м., в США и Канаде — с дост. «Посева» по воздуху — 33 ам. дол., простой почтой — 27 ам. дол.; с дост. обоих изданий по воздуху — 35 ам. дол.

«Посев»: в Европе — 50 н. м., в США и Канаде возд. почтой — 27 ам. дол.; простой почтой — 22 ам. дол.

Журналистическая подписка на «Посев» и 4 брошюры «Вольного слова», предоставляющая право использовать весь материал, не снабженный «copyright», без предварительного согласования: в Европе — 240 н. м., в остальном мире (с индивидуальной доставкой возд. почтой) — 270 н. м.

УСЛОВИЯ ГОДОВОЙ ПОДПИСКИ ЧЕРЕЗ МАГАЗИНЫ ИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

«Посев» и 4 брошюры «Вольного слова»: в Европе — 78 н. м., в США и Канаде — с дост. «Посева» по воздуху — 40 ам. дол., простой почтой — 32 ам. дол.; с дост. обоих изданий по воздуху — 42 ам. дол.

«Посев»: в Европе — 60 н. м., в США и Канаде возд. почтой — 32 ам. дол.; простой почтой — 27 ам. дол.; в Австралии — 20 ав. дол. (по воздуху).

Стоимость подписки в неевропейских странах, кроме США, Канады и Австралии, простой почтой — та же, что и в Европе; авиапочтой — с доплатой за пересылку.

Стоимость в розничной продаже: 5 н. м. — или эквивалент 5 н. м. — для Европы и неевропейских стран; для США и Канады 2 ам. дол.; для Австралии 1.60 ав. дол.

VERLAG — POSSEV — REDAKTION

D - 6230 Frankfurt/M. 80, Flurscheideweg 15

Telefon: 34 12 65. Postscheckkonto 33461 Frankfurt/M.

Bank: Nassauische Sparkasse 161 001 163 Frankfurt/M.

Telegramme: Posseverlag Frankfurtmain

Г Р А Н И

ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА, НАУКИ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

Год издания **XXIX**

№ 92-93

1974 год

СО Д Е Р Ж А Н И Е

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

- АЛЕКСАНДР ГАЛИЧ** — **Русь. Заклинание Добра и Зла.**
Стихи 3
- Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ** — **Бесы.** Сценический монтаж Влади-
мира Максимова по режиссерскому замыслу
Юрия Любимова 8
- ЛИЯ ВЛАДИМИРОВА** — **«Август, осени посредник!».** «И да-
ты вспять бежали, как солдаты...». «Как робок
смех, как шепот жарок...». «Ну что ж, берите Бога
ради...». «А кукушка куковала, куковала...». «Мы
смотрим из разных окон...». «Аты-баты, где вы, ла-
ты...». «Хоть наг и бос, не безголос...». «И вдовый
стон, и горький дух гонений...». «Обернется лебедь
— братом...». «Ни обрывистых скал, ни отвесных
дорог...». Стихи 117
- РОМАН РЕДЛИХ** — **Предатель.** Роман 123
- ВИОЛЕТТА ИВЕРНИ** — **«Прекрасны подагрические су-
чья...». Пассажирский «Пермь - Свердловск». Нов-
город.** Стихи 237

ОЧЕРКИ СОВРЕМЕННОСТИ

- ЮРИЙ ИОФЕ** — **Семь раз Казань.** Поэтоочерк № 5 245

ПОРТРЕТЫ

- АРКАДИЙ СТОЛЫПИН — Вячеслав Менжинский — че-
кист СССР № 2 270

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

- СВЯТОСЛАВ РУСЛАНОВ — Эпигон Великого Инквизитора
(к портрету Сталина в романе А. И. Солженицына
«В круге первом») 279
- Н. АНТОНОВ — Крест и камень (о романе В. Максимова
«Карантин») 295

ПУБЛИЦИСТИКА. ФИЛОСОФИЯ

- О русской свободе и русском равенстве. Беседа вторая 311
- ВАДИМ БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ — Третий путь. Окончание 327

БИБЛИОГРАФИЯ

- В. Самарин. Образ России. — Николай Арсеньев. О сборнике
стихов «Чаша жизни» Наталии Изюмовой. — Люд-
мила А. Фостер. Американский журнал о культуре
русского зарубежья. 346
- Обращение издательства «Посев» 367

*Статьи, подписанные фамилией или инициалами автора,
не обязательно выражают мнение редакции.*

*Не принятые к публикации рукописи
редакцией не возвращаются.*

© 1974 by Possev-Verlag
V. Gorachek K. G., Frankfurt am Main

Издательство «Посев»

Проза и поэзия

Александр Галич

РУСЬ

На степные урочища,
На лесные берлоги
Шли Олеговы полчища
По немирной дороге.
И на марш этот гляючи
В окаянном бессильи,
В голос плакали вятичи,
Что не стало России!
 О, Россия, Рассея —
 Ни конца, ни спасенья!

И живые, и мертвые —
Все молчат, как немые.
Мы Иваны Четвертые —
Место лобное в мыле!
Лишь босой да уродливый,
Рот беззубый разиня,
Плакал в церкви юродивый,
Что пропала Россия!
 О, Рассея, Россия —
 Все пророки босые!

Известнейший поэт-песенник Александр Галич в июне этого года вынужден был уехать из СССР. Решив выбрать местом своего жительства Норвегию и направляясь из Вены в Осло, Александр Аркадиевич побывал проездом в издательстве «Посев», где выступил с концертом. Он исполнил свои новые произведения, два из которых отобрал для публикации в «Гранях».

Стихи эти войдут во вторую книгу Александра Галича — «Когда я вернусь», которая выйдет в начале 1975 г.

Горькой горестью мечены
Наши беды и плачи —
От Петровской неметчины
До нагайки казачьей!
Птица вещая Троечка
(Тряска вечная чёртова!),
Как же стала ты, троечка,
Чрезвычайкой в Лефортово?!
О, Россия, Рассея —
Чем набат не веселье?!

Что ни год — лихолетье,
Что ни враль, — то мессия.
Плачет тысячелетие
По России — Россия,
Плачет в бунте и в скучности...
А, попробуй, спроси —
Да была ль она, в сущности,
Эта Русь на Руси?

Эта — с щедрыми нивами,
Эта — в пене сирени,
Где рождаются счастливыми
И отходят в смиреньи.
Где, как лебеди, девицы,
Где под ласковым небом
Каждый с каждым поделится
Божьим словом и хлебом...

Листья капают с деревца
В безмятежные воды
И кружат, как метелица,
Над землей хороводы,
А за прялкой беседы
На крыльце полосатом
Старики-домоседы
Знай, дымят самосадом.

Осень в золото набрана,
 Как икона в оклад...
 Значит, все это наврано,
 Лишь бы в рифму да в лад?!
 Чтоб, как птицы на дереве,
 Затихали в грозу,
 Чтоб не знали, но верили,
 И роняли слезу...

Уродилась, проказница —
 Все б громить да крушить,
 Согрешивши — покаяться
 И опять согрешить,
 Барам в ноженьки кланяться,
 Бить челом палачу...
 Не хочу с тобой каяться
 И грешить не хочу!..

Переполнена скверною
 От покрывки до дна...

.
 Но ведь где-то, наверное,
 Существует она —
 Та — с привольными нивами,
 Та — в кипенье сирени,
 Где рождаются счастливыми
 И отходят в смиреньи.

Птица — вещая Троечка
 (Буйный свист под крылом!),
 Птица, искорка, точка
 В бездорожья глухом!
 Я молю тебя:
 — Выдюжи!
 Будь и в тленьи живой,
 Чтоб хоть в сердце, как в Китеже,
 Слышать благовест твой!..

ЗАКЛИНАНИЕ ДОБРА И ЗЛА

Здесь в окне, по утрам, просыпается свет,
Здесь мне все, как слепому, на ощупь знакомо...
Уезжаю из дома, уезжаю из дома,
Уезжаю из дома, которого нет.

Это дом и не дом, это дым без огня,
Это пыльный мираж или фата-моргана,
Здесь Добро в сапогах рукояткой нагана
В дверь стучало мою, надзирая меня.

А со мной кочевало беспечное Зло,
Отражало вторженья любые попытки,
И кофейник с кастрюлькой на газовой плитке
Не дурили и знали свое ремесло.

Все смешалось — Добро, Равнодушие, Зло,
Пел сверчок деревенский в московской квартире
Целый год благодати в безрадостном мире —
Кто из смертных не скажет, что мне повезло?..

И пою, что хочу; и кричу, что хочу,
И хожу в благодати, как нищий в обновке.
Пусть движенья мои в этом платье неловки —
Я себе его сам выбирал по плечу!

Но Добро, как известно, на то и Добро,
Чтоб уметь притвориться и добрым, и смелым,
И назначить, при случае, черное — белым,
И веселую ртуть превращать в серебро.

Все причастно Добру, все подвластно Добру,
Только с этим Добрынею взятки не гладки,
И готов я бежать от него без оглядки,
И забиться, зарыться в любую нору!..

СТИХИ

Первым сдался кофейник — его разнесло,
Заливая конфорки и воздух поганя...
И Добро прокричало, гремя сапогами,
Что во всем виновато беспечное Зло!

Представитель Добра к нам пришел поутру
В милицейской (почудилось мне!) плащ-палатке...
От такого, попробуй, сбеги без оглядки,
От такого, поди-ка, заройся в нору!..

И сказал Представитель, почтительно-строг,
Что дела выездные вершатся в ОВИРе,
Но что Зло не прописано в нашей квартире
И что сутки на сборы достаточный срок!

Что ж, прощай мое Зло, мое доброе Зло!
Ярым воском закапаны строчки в псалтыре.
Целый год благодати в безрадостном мире —
Кто из смертных не скажет, что мне повезло?!

Что ж, прощай и прости! Набухает зерно,
Корабельщики ладят смолёные доски,
И страницы псалтыря в слезах, а не в воске,
И прощальное в кружках гуляет вино!..

Я растил эту ниву две тысячи лет,
Не пора ль поспешить к своему урожаю?!
Не грусти, я всего лишь навек уезжаю
От Добра и из дома, которого нет!

Москва, март-июнь 1974

Бесы

Сценический монтаж Владимира Максимова по
режиссерскому замыслу Юрия Любимова

ПРОЛОГ

В кромешной тьме возникает сначала тихий, но всё нарастающий гул, сливающийся в конце концов в невообразимую какофонию: вой метели, пронизанный протяжными паровозными гудками, звон ямщицких колокольцев, цоканье копыт, свирепый храп разгоряченного бегом стада. Из глубины сцены выявляется недоуменное лицо ХРОМОНОЖКИ — МАРЬИ ТИМОФЕЕВНЫ, прижимающей к груди распущенную веером колоду карт.

Хромоножка (*тоненько*). Сколько вас, куда вас гонят?.. А сокола моего всё нет и нет...

И снова тьма, которую тут же рассекает лихой разбойничий свист: «Сарынь на кичку!»

Федька Каторжный (*возникая на месте Хромоножки*). Я очинно паспортом скучаю, — потому в Расее никак нельзя без документа...

Слышен лязг тормозов, шипение выпускаемого паровозом пара.

Ну (*крестится*), помогай, Господи!

Вдоль просцениума с дорожным саквояжем в руке проходит СТАВРОГИН. Федька увязывается за ним, пристраивается сбоку, дергает за рукав. Тот лишь брезгливо стряхивает его с себя и молча шагает дальше. Федька, глядя ему вслед, сокрушенно

Текст дан по «Собранию сочинений в десяти томах», т. 7, Государственное изд-во художественной литературы, Москва, 1957. — Р е д.

чесет в затылке. Появляется ПЕТР ВЕРХОВЕНСКИЙ. Федька мгновенно спешит следом за ним. Гость сначала нетерпеливо отмахивается от него, но затем, как бы осененный внезапной мыслью, останавливается и оценивающим взглядом окидывает парня с головы до ног.

Верховенский. Хочешь или не хочешь иметь верный паспорт и хорошие деньги на проезд куда сказано? Да или нет?

Федька (*выразительно шевелит пальцами*). По нашей судьбе нам, чтобы без благодетельного вспомоществования, совершенно никак нельзя-с.

Верховенский (*со значением кивает в сторону ушедшего Ставрогина*). Во всем его полная воля. А теперь слушай. (*Наклоняется к его уху, шепчет. Тот по-няжливо кивает.*) Давай!

Верховенский сбрасывает с себя пальто, снимает шляпу, вытягивает из кармана колоду визитных карточек и начинает их тасовать. Федька в это время выдвигает из темноты на середину сцены большой круглый стол, ставит на него свечку в бронзовом подсвечнике, отходит в сторону. Петр Степанович не спеша, похмыкивая и посвистывая, начинает раскладывать вокруг свечи визитные карточки. Разложив, отходит, любитесь работой.

Верховенский (*прикладывает палец к губам*). Тссс...

Темнота, из которой во всю глубину сцены грезятся контуры среднерусского городка в духе Кустодиева. Над столом посреди сцены вспыхивает свет. За вистом сидят пятеро: СТЕПАН ТРОФИМОВИЧ, АВТОР, ШАТОВ, КИРИЛЛОВ, ЛИПУТИН.

Автор. Мы собирались у Степана Трофимовича раза по два в неделю; бывало весело, особенно когда он не жалел шампанского.

Степан Трофимович (*наполняя бокалы*). Не понимаю, почему меня все здесь выставляют безбожником?.. Признаюсь, я — не христианин. Я скорее древний язычник, как великий Гёте или как древний грек.

Ш а т о в. Вот почему и вы все и мы все теперь — или гнусные атеисты, или равнодушная, развратная дрянь, и ничего больше!

Кириллов. Неужели никто на всей планете, кончив Бога и уверовав в своеволие, не осмелится заявить своеволие, в самом полном пункте?.. Я хочу заявить своеволие. Пусть один, но сделаю.

Липутин (*многозначительно поднимает палец*). Это со всемирно-человеческого языка будет перевод-с... С языка всемирно-человеческой социальной республики и гармонии, вот что-с!

А в т о р. У нас была одна самая невинная, милая, вполне русская веселенькая либеральная болтовня... Надобно же было с кем-нибудь выпить шампанского и обменяться за вином известного сорта веселенькими мыслями о России и «русском духе», и Боге вообще и о «русском Боге» в особенности...

Свет гаснет. Следующий стол с восседающим на нем ВЕРХОВЕНСКИМ ФЕДЬКА выносит уже на себе. Выносит и ставит рядом с первым. Вокруг стола мгновенно собирается очередная пятерка: ДВОЕ ВИРГИНСКИХ, ЛЯМШИН, ШИГАЛЕВ, ТОЛКАЧЕНКО. Петр Верховенский вручает каждому из них визитную карточку. В соответствии со своими ролями они и распределяют обязанности: Виргинская расстилает красную скатерть, Лямшин берется за «конспиративную» гитару, Виргинский ставит на стол графин с водой и стаканы, Шигалев расправляет перед собой толстую тетрадку, Толкаченко придвигает к столу стулья.

Л я м ш и н (*торжественно*). Вотируем!

В и р г и н с к а я (*поднимает вместе с остальными руку, курит*). Откуда, однако, могли взяться права и обязанности семейства в смысле того предрассудка, в котором теперь представляются? Вот вопрос. Ваше мнение?

В и р г и н с к и й. Господа, если бы кто пожелал начать о чем-нибудь более идущем к делу или имеет

что заявить, то я предлагаю приступить, не теряя времени.

Т о л к а ч е н к о. Я как знаток народа...

Ш и г а л е в (*решительно перебивает его*). Посвятив мою энергию на изучение вопроса о социальном устройстве будущего общества, которым заменится настоящее, я пришел к убеждению, что все создатели социальных систем, с древнейших времен до нашего, были мечтатели, сказочники, глупцы, противоречившие себе, ничего ровно не понимавшие в естественной науке и в том странном животном, которое называется человеком.

В е р х о в е н с к и й. Аминь.

Лямшин начинает наигрывать «Марсельезу», которая, постепенно набирая силу, перерастает в «Камаринского». Появляется приплясывающий на ходу пьяный ЛЕБЯДКИН. За ним — ФЕДЬКА КАТОРЖНЫЙ двигает трактирный стол с полуштофом посредине. Приставляет Лебядкину стул. Снимает равный картуз.

Ф е д ь к а (*угодно*). На чаек бы с вашей милости. Нам, чтобы без благодетельного вспомоществования, совершенно никак нельзя-с. Да-с.

Л е б я д к и н (*широким жестом вынимает из-за пазухи смятую пачку денег, пьяно роется в ней, но не найдя, видно, ничего подходящего, сует Федьке под нос шиш*). На-кася, выкуси! (*Довольный хохочет вслед исчезающему Федьке.*) Россия есть игра природы, но не ума. (*Размахивая полуштофом.*)

Жил на свете таракан,
Таракан от детства,
И потом попал в стакан,
Полный мухоедства...

Но... таракан, извиняюсь, не ропщет... (*Пьет.*)

В это время к его столу один за другим пристраиваются: МАНЬЯК, СЕМЕН ЯКОВЛЕВИЧ - ЮРОДИВЫЙ, ЭРКЕЛЬ и СТАВРОГИН.

Маньяк (поднимает кулак, восторженно и грозно машет им над головой и вдруг яростно опускает его вниз, как бы разбивая в прах противника). Господа! Двадцать лет назад, накануне войны с пол-Европой, Россия стояла идеалом в глазах всех статских и тайных советников. Но никогда Россия, во всю бестолковую тысячу лет своей жизни, не доходила до такого позора...

Семен Яковлевич. Миловзоры! Миловзоры!.. К морозу это...

Эркель (восторженно в сторону Ставрогина и Верховенского). Да, да, вы всё, а мы — ничто.

Ставрогин (Марье Тимофеевне). Неужто вы меня не узнали?

Марья Тимофеевна (мечтательно). Сокол мой где-то там, за горами живет и летает, на солнце взирает... (Неожиданно вскакивает.) Гришка От-репьев а-на-фе-ма!

Лебядкин. Хочу завещать мой скелет в академию, но с тем, с тем, однако, чтобы на лбу его был наклеен навеки веков ярлык со словами: «Раскаявшийся вольнодумец». Вот-с!

Гости Лебядкина расходятся, и каждому из них Верховенский перед выходом вручает визитную карточку.

Гул грозовой непогоды возникает над призрачным городом. Тут же из темноты высвечивается заваленный маскарадными поделками стол ГУБЕРНАТОРШИ, под которым мы видим притаившегося ФЕДЬКУ. Вокруг стола: хозяйка, ВАРВАРА ПЕТРОВНА, ЛИЗА, КАРМАЗИНОВ. АЛЕКСЕЙ ЕГОРЫЧ прислуживает. ПЕТР ВЕРХОВЕНСКИЙ обходит их всех со спины, подсовывая им визитные карточки.

Губернаторша. Я так думаю, что не надо пренебрегать и нашею молодежью. Я сделала вывод и приняла за правило ласкать молодежь и тем самым удерживать ее на краю. Мы именно лаской можем удержать их у бездны, в которую толкает их нетерпимость всех этих старикашек.

Кармазинов. Меня оклеветали пред русской молодежью... Россия, как она есть, не имеет будущности. Тут всё обречено и приговорено. Я сделался немцем и вменяю это себе в честь.

Варвара Петровна. Нынче сколько погибает оттого, что дурно направлены мысли!

Лиза. Я барышня, мое сердце в опере воспитывалось, вот с чего и началось, вся разгадка.

Алексей Егорыч. *(прислушивается)*. Не иначе, быть беде.

Федька *(под столом)*. Погреемся.

Вновь на фоне неистовой непогоды идет затемнение, из которого вскоре выявляется кабинетный стол ГУБЕРНАТОРА, покрытый зеленым сукном. Перед хозяином навытяжку — БЛЮМ, за спиной — ФЕДЬКА, старательно повторяющий каждый его жест. Тут же АВТОР. И на авансцене — ВЕРХОВЕНСКИЙ.

Верховенский *(читает визитную карточку)*. Его превосходительство, действительный статский советник фон Лембке! Андрей Антонович!

Губернатор. Шапки долой! На колени! Флибустьеры! Розог!

Верховенский. Губернский секретарь фон Блюм! Без имени и отчества!

Блюм *(робко)*. Ваше превосходительство...

Верховенский *(потирает руки)*. Мы сначала пустим смуту... Мы проникнем в самый народ... Наши не те только, которые режут и жгут да делают классические выстрелы... Такие только мешают. Я ведь мошенник, а не социалист, ха-ха! *(Бросает Федьке мелкую монету. Тот ловко хватает ее. Быстро разбегаются в разные стороны.)*

На авансцену выходит Автор.

Автор. Наступило то самое воскресенье, один из знаменательнейших дней в моей хронике. Это был день неожиданностей, день развязок прежнего и завязок нового, резких разъяснений и еще пущей путаницы.

Вновь крошечная тьма. Вступает тревожно нарастающая мелодия, на фоне которой звучат слова из «Откровения святого Иоанна Богослова».

Г о л о с. И когда Он снял вторую печать, я слышал второе животное, говорящее: иди и смотри. И вышел другой конь, рыжий; и сидящему на нём дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга; и дан ему большой меч.

И снова в глубине сцены — залитое слезами лицо МАРЬИ ТИМОФЕЕВНЫ.

М а р ь я Т и м о ф е е в н а. Где ты, князь мой желанный, сокол мой золотой, обещанный? Спаси меня!

Ч А С Т Ь П Е Р В А Я

КАРТИНА ПЕРВАЯ

ПРЕМУДРЫЙ ЗМИЙ

Вспыхивающий свет обозначает перед нами гостиную в доме Варвары Петровны. За столом, покрытым бархатной скатертью, робко озираясь вокруг, сидит ХРОМОНОЖКА — МАРЬЯ ТИМОФЕЕВНА. Несколько столов, поставленных к нам лицевой своей стороной, выстроены вдоль воображаемых стен наподобие фамильных портретов. За каждым из них в полумраке проглядываются фигуры: ЛИЗЫ, СТЕПАНА ТРОФИМОВИЧА, ШАТОВА, АВТОРА. Входит ВАРВАРА ПЕТРОВНА. Хромоножка испуганно вскакивает.

В а р в а р а П е т р о в н а (*властным взглядом усаживает ее и тут же — к Шатову*). Вы знаете эту женщину?

Ш а т о в (*выступая вперед*). Знаю-с.

В а р в а р а П е т р о в н а. Что же вы знаете? Пожалуйста поскорей!

Ш а т о в. Да что... сами видите.

В а р в а р а П е т р о в н а. Что вижу? Да ну же, говорите что-нибудь!

Ш а т о в. Живет в том доме, где я... с братом... офицер один.

В а р в а р а П е т р о в н а. Ну?

Ш а т о в. Говорить не стоит... *(Отступает во мрак.)*

Входит с подносом АЛЕКСЕЙ ЕГОРЫЧ.

В а р в а р а П е т р о в н а *(в досаде)*. Конечно, от вас нечего больше ждать! *(К Хромоножке.)* Вы, моя милая, очень озябли давеча у церкви, выпейте поскорей кофею и согрейтесь.

М а р ь я Т и м о ф е е в н а *(жеманно)*. Мерси. *(Вдруг прыскает со смеху, но, под грозным взглядом хозяйки, тут же осекается.)* Тётя, да уж вы не сердитесь ли?

В а р в а р а П е т р о в н а. Что-о-о? какая я вам тётя?

М а р ь я Т и м о ф е е в н а *(испуганно)*. Я... я думала, так надо... так вас Лиза звала.

В а р в а р а П е т р о в н а. Какая еще Лиза?

М а р ь я Т и м о ф е е в н а. А вот эта барышня. Свет выхватывает из темноты Лизу. Она церемонно кланяется.

В а р в а р а П е т р о в н а. Так вам она уже Лизой стала?

М а р ь я Т и м о ф е е в н а. Вы так сами ее давеча звали. А во сне я точно такую же красавицу видела. Лиза польщенно кланяется еще раз и медленно движется к авансцене.

Л и з а *(словно во сне)*. Я барышня, мое сердце в опере воспитывалось, вот с чего и началось...

А в т о р *(идет к ней навстречу, почтительно кланяется, протягивает ей свою визитную карточку, за руку выводит к публике, делает фигуру старинного мэнюэта)*. В этой натуре было много прекрасных стремлений и самых справедливых начинаний; но всё в ней как бы вечно искало своего уровня и не находило его, всё было в хаосе, в волнении, в беспокойстве. Может быть, она уже со слишком строгими требованиями относилась

к себе, никогда не находя в себе силы удовлетворить этим требованиям. *(Отводит Лизу на место и тушуетса сам.)*

Варвара Петровна *(Хромоножке, внимательно ее рассматривая)*. Пейте ваш кофе и, пожалуйста, не бойтесь меня, моя милая, успокойтесь. Я начинаю вас понимать.

Степан Трофимович *(решительно выступая вперед)*. Chère amie...

Варвара Петровна *(нетерпеливо)*. Ах, Степан Трофимович, тут и без вас всякий толк потеряешь, пощадите хоть вы...

Степан Трофимович поворачивается к Автору, как бы ища у него защиты от столь незаслуженного унижения. Они постепенно сближаются и, пользуясь визитными карточками, затевают вист.

Автор. Капитально было двадцатилетнее влияние этой высшей дамы на ее бедного друга.

Степан Трофимович. Друг мой, вы сейчас попали в больное место вашим дружеским пальцем.

Автор. Есть дружбы странные: оба друга один другого почти съесть хотят, всю жизнь так живут, а между тем расстаться не могут.

Степан Трофимович. Бедная, бедная, друг всей моей жизни! О как я любил ее! Она единственная женщина, которую я обожал двадцать лет!

Стол у минерального источника в Карлсруэ. Около стола — **КАРМАЗИНОВ, ПЕТР СТЕПАНОВИЧ** и **ВАРВАРА ПЕТРОВНА**. Вокруг них, тихо переговариваясь и переходя от одного к другому, фланируют **СТАВРОГИН, ВЕРХОВЕНСКИЙ, ЛИЗА, АВТОР, ШАТОВ, КИРИЛЛОВ, ЖЕНА ШАТОВА**. Служительница обносит всех минеральной водой.

Кармазинов *(принимая от служительницы стакан)*. Я теперь перебираюсь сюда совсем. Здесь и климат лучше, и строение каменное, и всё крепче. На мой век Европы хватит. У меня, знаете, дочь даже и по-русски

не говорит уже, разучилась. Бог с ней, с родиной. Если бы и провалилась Россия, то не было бы никакого ни убытка, ни волнения в человечестве.

Степан Трофимович. Я, который изучил мою бедную Россию как два мои пальца, а русскому народу отдал всю мою жизнь, я могу вас заверить...

Кармазинов (*капризно перебивает*). Ах, оставьте! Святая Русь менее всего на свете может дать отпору чему-нибудь. У нас в России и рушиться нечему, сравнительно говоря. Упадут у нас не камни, а всё расплывется в грязь... Вы скоро в Петербург? (*Не ожидая ответа, отходит от стола.*)

Степан Трофимович бросается было к великому писателю с объятиями, но неожиданно натывается на протянутые ему навстречу два пальца. Происходит немая сцена, после которой Степан Трофимович поворачивается к Кармазинову спиной. Тот, высокомерно пожав плечами, уходит.

Степан Трофимович (*гордо выпрямляясь и словно бросая вызов неблагоприятному человечеству*). В Петербург, chère amie, в Петербург! Там я воскресну! Нас еще оценят!

Редакторский стол в Петербурге, заваленный рукописями и вёрстками. Вокруг — обычная журнальная суэта: входят и выходят посетители, машут руками типографчики, жмутся по углам начинающие авторы. За столом СТЕПАН ТРОФИМОВИЧ и ВАРВАРА ПЕТРОВНА. Они тихо переговариваются со своим гостем — пожилым ГЕНЕРАЛОМ. ДВА великовозрастных СЕМИНАРИСТА, перебивая друг друга, толкуются перед столом.

Первый семинарист. Бога нет!

Второй семинарист. И не было!

Первый семинарист. Бог — ложь!

Второй семинарист. Бог — миф!

Генерал (*возмущенно*). Позвольте, господа, это в каком смысле?

Первый семинарист (*заносчиво*). Вы, стало быть, генерал, если так говорите.

Г е н е р а л. Да, сударь, я генерал и генерал-лейтенант, и служил государю моему, а ты, сударь, мальчишка и безбожник! Вот-с!

Поднимается невообразимый шум, сквозь который то и дело прорываются крики: «Ретроград!», «Охранитель!», «Солдафон!». Суматоха постепенно стихает. Около стола группируется разномастная кучка решительных людей во главе с семинаристами.

П е р в ы й с е м и н а р и с т (*выступая вперед*). Мы рассмотрели дело об вашем журнале и принесли по этому делу решение. Основав журнал, вы тотчас же передаете его нашему усмотрению вместе с капиталами, на правах свободной ассоциации; сами же тотчас уезжаете к себе в Скворешники. Степан Трофимович должен последовать за вами, так как он, с его понятиями сороковых годов, устарел и являет собою не более чем обломок давно минувших лет, преданье старины глубокой. В удовлетворение вложенного капитала вам будет выплачиваться одна шестая часть барыша...

С т е п а н Т р о ф и м о в и ч (*обескураженно*). Нет! В наше время было не так, и мы не к тому стремились. Нет, нет, совсем не к тому. Я не узнаю ничего...

В а р в а р а П е т р о в н а (*подхватывая падающего в обморок друга*). Вон!

Выступающий из темноты АВТОР с двумя бокалами в руках подходит к Степану Трофимовичу, протягивает ему один из них. Они дружески чокаются. Степан Трофимович, выпив, принимается тасовать колоду визитных карточек.

А в т о р. С тех пор, всю остальную жизнь, более двадцати лет он, по выражению народного поэта,

Воплощенной укоризною

.

Ты стоял перед отчизною . . .

Но то лицо, о котором выразился народный поэт, может быть и имело право всю жизнь позировать в этом смысле, если бы того захотело, хотя это и скучно. Наш же

Степан Трофимович, по правде, стоять уставал и частенько полёживал на боку. Но хотя и на боку, а воплощенность укоризны сохранялась, для нашей губернии было и того достаточно.

Степан Трофимович (*тасуя карточки, горько*). Карты! Я сажусь с вами в ералаш! Разве это совместно? Кто ж отвечает за это? Кто разбил мою деятельность и обратил ее в ералаш? Э, погибай Россия!.. Козырь — черви. Прошу!

Снова те же в гостинной Варвары Петровны. На переднем плане
МАРЬЯ ТИМОФЕЕВНА и ВАРВАРА ПЕТРОВНА.

Марья Тимофеевна. Пусть он там в свои козыри поиграет, а мы будем здесь сидеть кофей пить.

Варвара Петровна (*звонит в колокольчик*). Это надо кончить.

Входит АЛЕКСЕЙ ЕГОРЫЧ.

Карету! А ты, Алексей Егорыч, приготовься отвезти госпожу Лебядкину домой, куда она тебе сама укажет.

Алексей Егорыч. Господин Лебядкин некоторое время сами их внизу ожидают-с и очень просили о себе доложить-с.

Варвара Петровна (*решительно*). Проси.

Марья Тимофеевна. Зачем это? Чашку-то кофейю еще можно ему послать, но я глубоко его презираю.

ЛЕБЯДКИН вихрем врывается в гостиную, с налёту запинаясь о ковер. Хромоложка смеется. Он грозно взглядывает в ее сторону и делает несколько быстрых шагов к хозяйке.

Лебядкин. Я приехал, сударыня...

Варвара Петровна (*строго*). Сделайте мне одолжение, милостивый государь, возьмите место вот там, а мне отсюда виднее будет на вас смотреть... Сначала позвольте узнать ваше имя от вас самих?

Лебядкин. Капитан Лебядкин... я приехал, сударыня...

Варвара Петровна. Позвольте! Эта жалкая особа, которая так заинтересовала меня, действительно ваша сестра?

Лебядкин. Сестра, сударыня, ускользнувшая из-под надзора, ибо она в таком положении... в таком положении, это значит не в таком положении... в смысле, пятнающем репутацию... на последних порах...

Варвара Петровна. Милостивый государь!

Лебядкин *(ткнув себя пальцев в середину лба)*.

Вот в каком положении!

Варвара Петровна. И давно она этим страдает?

Лебядкин. Сударыня, это всё не то, что вы думаете! Я, конечно, ничтожное звено... О, сударыня, богаты чертоги ваши, но бедны они у Марии Неизвестной, сестры моей, урожденной Лебядкиной, но которую назовем пока Марией Неизвестной, пока, сударыня, только пока, ибо навечно не допустит сам Бог!.. Сударыня, это тайна, которая может быть похоронена лишь во гробе!

Варвара Петровна *(нетвердо)*. Почему же?

Лебядкин. Сударыня, сударыня!.. Сударыня! Позвольте ли сделать вам один вопрос, только один, но открыто, прямо, по-русски, от души?

Варвара Петровна. Сделайте одолжение.

Лебядкин. Страдали вы, сударыня, в жизни?

Варвара Петровна. Вы просто хотите сказать...

Лебядкин. Сударыня, сударыня! Здесь, в этом сердце накипело столько, столько, что удивится сам Бог, когда обнаружится на Страшном суде.

Варвара Петровна. Гм, сильно сказано.

Лебядкин. Могу ли предложить вам еще вопрос, сударыня?

Варвара Петровна. Предложите еще вопрос.

Лебядкин. Можно ли умереть единственно от благородства своей души?

Варвара Петровна. Не знаю, не задавала себе такого вопроса.

Лебядкин. Не знаете! Не задавали себе такого вопроса!! (*Бьет себя кулаком в грудь.*) А коли так, коли так — «Молчи, безнадежное сердце!»

Варвара Петровна (*брезгливо*). Всё это вздорные аллегии. Вы не ответили на мой вопрос: «Почему?» Я настоятельно жду ответа.

Лебядкин (*патетически*). Не ответил «почему?» Ждете ответа на «почему?» Это маленькое словечко «почему» разлито во всей вселенной с самого первого дня мироздания, сударыня, и вся природа ежеминутно кричит своему Творцу: «Почему?» и вот уже семь тысяч лет не получает ответа. Неужто отвечать одному капитану Лебядкину, и справедливо ли выйдет сударыня?

Варвара Петровна. Милостивый государь, я считаю дерзостью...

Лебядкин (*не слушает*). Сударыня, я, может быть, желал бы называться Эрнестом, а между тем принужден носить грубое имя Игната, — почему это, как вы думаете? Я желал бы называться князем де Монбаром, а между тем я только Лебядкин, от лебеда, — почему это? Я поэт, сударыня, поэт в душе, и мог бы получать тысячу рублей от издателя, а между тем принужден жить в лохани, почему, почему? Сударыня! По-моему, Россия есть игра природы, не более!.. Я могу вам прочесть пиесу «Таракан», сударыня!

Варвара Петровна. Что-о-о?

Лебядкин. Сударыня, один мой приятель — благо-роднейшее лицо, — написал одну басню Крылова, под названием «Таракан»...

Варвара Петровна. Вы хотите прочесть какую-то басню Крылова?

Лебядкин. Нет, не басню Крылова хочу я прочесть, а мою басню, собственную, мое сочинение! Поверьте же, сударыня, без обиды себе, что я не до такой степени уже необразован и развращен, чтобы не понимать, что Россия обладает великим баснописцем Крыловым, которому министром просвещения воздвигнут памятник в Летнем саду, для игры в детском возрасте.

Варвара Петровна. Прочтите вашу басню.

Лебядкин. Жил на свете таракан,
Таракан от детства,
И потом попал в стакан,
Полный мухоедства...

Варвара Петровна. Господи, что такое?

Лебядкин (*торопится*). То есть когда летом, когда летом в стакан налезут мухи, то происходит мухоедство... не перебивайте, не перебивайте, вы увидите, вы увидите...

Место занял таракан,
Мухи возроптали,
Полон очень наш стакан,
К Юпитеру закричали...

Тут у меня еще не dokonчено, но всё равно, словами! Заметьте, заметьте, сударыня, таракан не ропщет! Вот ответ на ваш вопрос: «Почему?» «Та-ра-кан не ропщет!»

Варвара Петровна (*в гневе*). О какой же все-таки тайне, позвольте вас спросить, вы здесь толковали?

Лебядкин. Сударыня, есть обстоятельства, заставляющие сносить скорее фамильный позор, чем провозгласить громко истину.

Варвара Петровна (*берется за колокольчик*). Пожалуй, довольно...

Лебядкин (*в полном трансе*). Лебядкин мог проговорить насчет благородной девицы, в виде благородного негодования возмущенной обидами души, чем и воспользовались клеветники его... Но довольно, о, до-

вольно! Сударыня, ваши великолепные чертоги могли бы принадлежать благороднейшему из лиц, но таракан не ропщет! Заметьте же, заметьте наконец, что не ропщет, и познайте великий дух!

Варвара Петровна вновь берется за колокольчик, но в это время входит АЛЕКСЕЙ ЕГОРЫЧ.

А л е к с е й Е г о р ы ч. Николай Всеволодович Ставрогин!

Вспыхивает свет. Все напряженно подаются к двери, но тут же несколько разочарованно расслабляются. В гостиную влетает ПЕТР ВЕРХОВЕНСКИЙ. За ним следом вскальзывает ФЕДЬКА КАТОРЖНЫЙ и прячется за ближайший портрет. Свет гаснет, задерживаясь только на госте.

В е р х о в е н с к и й *(бисерной скороговоркой)*. Ба, ба, ба! Стало быть, я первый и возвещаю. Сейчас явится, и, кажется, именно в то самое время, которое как раз отвечает некоторым его ожиданиям и, сколько я по крайней мере могу судить, его некоторым расчетам. *(Обводит глазами комнату, несколько задерживается на Лебядкине, и тут же — к Лизе.)* Ах, Лизавета Николаевна, как я рад, что встречаю вас с первого же шагу, очень рад пожать вашу руку и, сколько замечаю, вы тоже не забыли своего «профессора». Но как, однако ж, вам климат родины?.. *(Не ожидая ответа, к Варваре Петровне.)* Как я жалел, Варвара Петровна, что не успел застать вас тогда за границей и засвидетельствовать вам лично мое уважение, притом же так много имел сообщить... Я уведомлял сюда моего старика, но он, по своему обыкновению, кажется...

С т е п а н Т р о ф и м о в и ч *(бросается к сыну)*. Петруша! Pierre, mon enfant, а ведь я не узнал тебя!

В е р х о в е н с к и й. Ну, не шали, не шали, без жестов, ну и довольно, довольно...

С т е п а н Т р о ф и м о в и ч. Я всегда, всегда был виноват пред тобой!

Верховенский. Так ведь и знал, что заша-
лишь... Ну верю, верю, что любишь, убери свои руки.

К ним подходит Автор, берет их за руки и выводит вперед.

Автор. Как бы там ни было, но до сих пор о Петруше доходили к нам странные слухи. Сначала, кончив курс в университете, лет шесть тому назад, он слонялся в Петербурге без дела. Вдруг получилось у нас известие, что он участвовал в составлении какой-то подметной прокламации и притянут к делу. Потом, что он очутился вдруг за границей, в Швейцарии, в Женеве... И вот теперь, пробыв за границей года четыре, вдруг появляется опять в своем отечестве.

Верховенский (*к отцу*). Надеюсь, мой дорогой и родственник опекун, наше именице еще приносит доход?

Степан Трофимович (*к Автору*). Почему это, я заметил, все эти отчаянные социалисты и коммунисты в то же время и такие невероятные скряги, приобретатели, собственники, и даже так, что чем больше он социалист, чем дальше пошел, тем сильнее и собственник... почему это?

Верховенский (*тоном церемониймейстера*). Николай Всеволодович Ставрогин!

Вновь вспыхивает свет. На пороге НИКОЛАЙ ВСЕВОЛОДОВИЧ. Он молча кланяется. Затем направляется к матери. Но та жестом останавливает его.

Барвара Петровна. Николай Всеволодович! Остановись на одну минуту! Прошу вас, скажите сейчас же, не сходя с этого места: правда ли, что эта несчастная, хромая женщина, — вот она, вон там, смотрите на нее! Правда ли, что она... законная жена ваша?

Ставрогин замирает и поворачивается к Хромоножке. Свет гаснет, выхватывая из темноты лишь эти два лица. На всем протяжении разговора лицо Марьи Тимофеевны безмолвно светилося в глубине сцены, словно икона старинного письма, перед которой и застывает сейчас Ставрогин.

Ставрогин (*почти нежно*). Вам нельзя быть здесь.

Марья Тимофеевна. А мне можно... сейчас... стать пред вами на колени?

Ставрогин (*весь светясь*): Нет, этого никак нельзя. (*Радостно улыбаясь друг другу, они сближаются.*) Дайте же руку вашу и пойдете; я провожу вас до кареты и, если позволите, сам отвезу вас в ваш дом.

Марья Тимофеевна (*тихо излучаясь в его сторону*). Пойдете.

Взявшись за руки, они направляются к выходу. Но в последний момент Марья Тимофеевна неосторожно оборачивается и ступает на свою больную ногу, тихонько вскрикивает. СТАВРОГИН подхватывает ее на руки и так с НЕЮ на руках выходит. Поднимается неимоверный гвалт. Кажется, что на большой скорости пропускают магнитофонную запись. Вскоре среди шума начинает выделяться голос Верховенского. Он сыплет и сыплет, обходя поочередно всех присутствующих. По дороге ему то и дело приходится запихивать в темноту высывающуюся оттуда патлатую голову Федьки Каторжного.

Верховенский. Тут недоразумение, и на вид много чудного, а между тем дело ясное, как свечка, и простое, как палец. Я слишком понимаю, что никем не уполномочен рассказывать. Но, во-первых, сам Николай Всеволодович не придает этому делу никакого значения, и, наконец, все же есть случаи, в которых трудно человеку решиться на личное объяснение самому, а надо непременно, чтобы взялось за это третье лицо, которому легче высказать некоторые деликатные вещи... (*Он жестом группирует вокруг себя собравшихся и неразборчивой скороговоркой пересказывает им историю Ставрогина и Хромоножки, которая разъясняется для зрителя на протяжении всего спектакля.*)

Варвара Петровна (*облегченно приходя в себя*). Вы хотите сказать, что были свидетелем...

Верховенский. Всенепременно!

Варвара Петровна (в экстазе). Вы ошибаетесь только в том, что называете это чудачеством. Нет, это было нечто высшее чудачества и, уверяю вас, нечто даже святое!.. Словом, принц Гарри... если б он не походил еще более на Гамлета, по крайней мере по моему взгляду... Знаете, Петр Степанович, мне становится даже чрезвычайно понятным, что такое существо, как Nicolas, мог являться даже и в таких грязных трущобах, про которые вы рассказывали... Эта ненасытимая жажда контраста, этот мрачный фон картины, на котором он является, как бриллиант, по вашему же опять сравнению, Петр Степанович. И вот он встречает там всеми обиженное существо, калеку и полупомешанную, и в то же время, может быть, с благороднейшими чувствами!

Верховенский. Гм, да, положим.

Варвара Петровна. Женщина, женщина только может понять это, Петр Степанович!.. Неужели вы отвергаете то высокое сострадание, ту благородную дрожь всего организма, с которою Nicolas вдруг строго отвечает: «Я не смею над нею». Высокий, святой ответ!.. Я узнаю эту молодость, эту (в сторону Степана Трофимовича) возможность бурных, грозных порывов... О, как я страдала всю жизнь, Петр Степанович!

Верховенский. Я давеча не докончил... Вот этот самый господин Лебядкин мигом вообразил себя вправе распорядиться пенсионом, назначенным вашим сыном его сестрице, без остатка. Здесь он ее не кормит, бьет, тиранит, наконец получает каким-то путем от Николая Всеволодовича значительную сумму, тотчас же пускается пьянствовать, а вместо благодарности кончает дерзким вызовом Николаю Всеволодовичу, бессмысленными требованиями... Таким образом добровольный дар Николая Всеволодовича он принимает за дань, — можете себе представить? Господин Лебядкин, правда ли всё то, что я здесь сейчас говорил?

Лебядкин (*его корчит от невысказанной муки*).
Петр Степанович, вы жестоко со мной поступили.

Верховенский. Как это жестоко и почему-с? Но позвольте, мы о жестокости или о мягкости после, а теперь прошу вас только ответить на первый вопрос: правда ли всё то, что я говорил, или нет? Если вы находите, что неправда, то вы можете немедленно сделать свое заявление.

Лебядкин. Я... вы сами знаете, Петр Степанович...

Верховенский. Да вы уже в самом деле не хотите ли что-нибудь заявить? В таком случае сделайте одолжение, вас ждут.

Лебядкин. Вы знаете сами, Петр Степанович, что я не могу ничего заявлять... Позвольте мне уйти, Петр Степанович.

Верховенский. Но не ранее того, как вы дадите какой-нибудь ответ на мой первый вопрос: правда всё, что я говорил?

Лебядкин (*глухо*). Правда-с.

Верховенский. Всё правда?

Лебядкин. Всё правда-с.

Верховенский. Не найдете ли вы что-нибудь прибавить, заметить? Если чувствуете, что мы несправедливы, то заявите это; протестуйте, заявляйте вслух ваше неудовольствие.

Лебядкин (*еще глуше*). Нет, ничего не нахожу. (*Неожиданно.*) Если фамильная честь и незаслуженный сердцем позор возопиют меж людей, то тогда, неужели и тогда виноват человек?

Верховенский (*жестко*). Что это такое значит фамильная честь и незаслуженный сердцем позор?

Лебядкин (*поникает под его взглядом*). Это я про никого, я никого не хотел. Я про себя...

Верховенский. Я ведь еще ничего не начинал про ваше поведение, в его настоящем виде.

Лебядкин (*умоляюще возносит руки*). Петр Степанович, я теперь лишь начинаю просыпаться!.. Вы меня разбудили, Петр Степанович, а я спал четыре года под висевшей тучей. Могу я, наконец, удалиться, Петр Степанович?

Верховенский. Теперь можете, если только сама Варвара Петровна...

Та разрешающе машет руками. Капитан поворачивается к двери, прикладывает руку к сердцу, намереваясь что-то сказать, но в эту минуту на пороге показывается СТАВРОГИН. Уступая ему дорогу, Лебядкин отходит в сторону.

Варвара Петровна (*бросается к нему*). Простишь ли ты меня, Nicolas?

Ставрогин. Так и есть! Вижу, что вам уже всё известно.

Варвара Петровна (*восторженно*). Петр Степанович рассказал нам одну древнюю петербургскую историю из жизни одного причудника, одного капризного и сумасшедшего человека, но всегда высокого в своих чувствах, всегда рыцарски благородного...

Ставрогин (*смеется*). Рыцарски? Неужто у вас до того дошло? Впрочем, я очень благодарен Петру Степановичу. (*Он подходит и нежно обнимает мать.*) Во всяком случае, дело это теперь кончено и рассказано, а стало быть, можно и перестать о нем.

Все приближаются к нему с поздравлениями, но в последнюю минуту всех опережает Шатов. Твердым шагом он подходит к Ставрогину и, не говоря ни слова, бьет его по щеке. Немая сцена, во время которой смертельно бледный СТАВРОГИН закрывает глаза, затем круто развернувшись, медленно, словно пришибленный, выходит. С приглушенным криком Лиза падает в обморок прямо на руки Автору.

Автор. Теперь уже всё прошло, и мы уже знаем, в чем дело; но тогда мы еще ничего не знали...

БЕСЫ

Среди замершей группы появляется Федька Каторжный, хватает со стола серебряный подсвечник, гасит свет, прячет добычу за пазуху и тут же исчезает.

Снова звучат слова из «Откровения святого Иоанна Богослова».

Г о л о с . Она (звезда) отворила кладязь бездны, и вышел дым из кладязя, как дым из большой печи; и помрачилось солнце и воздух от дыма из кладязя. И из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы.

ИНТЕРМЕДИЯ

А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н Ы Й В О С Т О Р Г

Зажигается панорама лубочного города с куполами и башнями, плывущими сквозь высокое небо. На одной из монастырских башен пронзительно кричит Золотой Петушок. И сразу же на сцене вспыхивает свет. Посредине — большой стол в кабинете Губернатора, а вокруг — множество канцелярских столов, за которыми мы видим ЛИПУТИНА, ШАТОВА, АВТОРА, ЛЯМШИНА, ВИРГИНСКОГО, ТОЛКАЧЕНКО, ШИГАЛЕВА и ДРУГИХ участников спектакля. За столом Губернатора — ЮЛИЯ МИХАЙЛОВНА. По обеим сторонам от нее — ЛЕМБКЕ и БЛЮМ. Вспыхивает, наподобие иллюминации над канцелярскими столами, магическое слово: «Отказать!» Вспыхивает и гаснет, вспыхивает и гаснет, пока не сливается в непрерывный аншлаг: «Отказать!». Властно жестикулирует Юлия Михайловна, послушно кивают ей Лембке и Блюм. Бегают под парусами многочисленных бумаг ЧИНОВНИКИ. Неприкаянно слоняются от стола к столу ПРОСИТЕЛИ. Взнуздав ФЕДЬКУ КАТОРЖНОГО, пристав ФЛИБУСТЬЕРОВ носится взад и вперед по авансцене.

Ф л и б у с т ь е р о в . С Флибустьеровым шутки плохи! У Флибустьерова никто сух из воды не выйдет! Всех к общему знаменателю приведу! От Флибустьерова не скроешься! Эх, птица-тройка, потрафи Флибустьерову, да так, чтоб далеко стало видно, во все стороны света! Не подкачай, кавурая! Но!.. Посторонись!

Крутится канцелярская карусель под конский топот, звон колокольцев и свист кнута. И заунывная песня ямщика замирает в дальней дали.

Марья Тимофеевна (*возникая в глубине сцены*). Что так жалобно поют? Сокол мой летит, летит, скоро будет!

Трубит Золотой Петушок на монастырской башне.

КАРТИНА ВТОРАЯ

ЛЕМБКИ

Стол Блюма перед кабинетом Губернатора. Над ухом ГУБЕРНСКОГО СЕКРЕТАРЯ почитительно склоняется ЛЕБЯДКИН.

Лебядкин. Ваше превосходительство!.. Сим объявляю в покушении на жизнь генеральских особ и отечества; ибо прямо ведет к тому. Сам разбрасывал непрерывно множество лет. Тоже и безбожие. Приготовляется бунт, а прокламаций несколько тысяч, и за каждой побежит сто человек, высуня язык, если заранее не отобрать начальством, ибо множество обещано в награду, а простой народ глуп, да и водка... Если хотите, чтобы донос для спасения отечества, а также церкви и икон, то я один только могу. Но с тем, чтобы мне прощение из третьего отделения по телеграфу немедленно одному из всех, а другие пусть отвечают. На окошке у швейцара для сигнала в семь часов ставьте каждый вечер свечу. Увидав, поверю и приду облобызывать милосердную длань из столицы, но с тем, чтобы пенсия, ибо чем же я буду жить? Вы же не раскаетесь, потому что вам выйдет звезда. Надо потихоньку, а не то свернут голову. Ваше превосходительство... Припадаю к стопам... Как раскаявшийся вольнодумец.

Блюм (*аккуратно записывает его слова*). Ваша фамилия?

Лебядкин (*делает большие глаза*). Инкогнито.

Б л ю м (*брезгливо отмахивается от его дыхания*).
Фу-у-у...

Свет гаснет и тут же возникает вновь в кабинете Губернатора. За столом — ЮЛИЯ МИХАЙЛОВНА. АНДРЕЙ АНТОНОВИЧ взволнованно расхаживает вокруг нее.

Л е м б к е (*заламывая руки*). О, этот твой Петр Степанович!

Ю л и я М и х а й л о в н а. Сердиться ты на это не можешь, уже потому, что ты втрое его рассудительнее и неизмеримо выше на общественной лестнице. В этом мальчике еще много остатков прежних вольнодумных замашек, а по-моему, просто шалость; но вдруг нельзя, а надо постепенно. Надо дорожить нашей молодежью; я действую лаской и удерживаю их на краю.

А н д р е й А н т о н о в и ч. Но он чёрт знает что говорит. Я не могу относиться толерантно, когда он при людях и в моем присутствии утверждает, что правительство нарочно опаивает народ водкой, чтоб его абьютировать и тем удержать от восстания. Представь мою роль, когда я принужден при всех это слушать.

Ю л и я М и х а й л о в н а. Садитесь и успокойтесь. Я отвечу на ваш первый вопрос: он отлично мне зарекомендован, он со способностями и говорит иногда чрезвычайно умные вещи. Кармазинов уверял меня, что он имеет связи почти везде и чрезвычайное влияние на столичную молодежь. А если я через него привлеку их всех и сгруппирую около себя, то я отвлеку их от гибели, указав новую дорогу их честолюбия. Он предан мне всем сердцем и во всем меня слушается.

А н д р е й А н т о н о в и ч. Но ведь пока их ласкать, они могут... черт знает что сделать. (*Берет со стола и придвигает к ней листовку.*) Вот... появились прокламации...

Ю л и я М и х а й л о в н а (*брезгливо отодвигает от себя листовку*). Прокламации, фальшивые ассигнации, мало ли что... Кто вам доставил?

А н д р е й А н т о н о в и ч . Ф о н Б л ю м . . .

Ю л и я М и х а й л о в н а . А х , и з б а в ь т е м е н я о т в а ш е г о Б л ю м а и н и к о г д а н е с м е й т е о н е м у п о м и н а т ь !

А н д р е й А н т о н о в и ч . Н о . . .

Ю л и я М и х а й л о в н а (*встает*) . П о ж а л у й с т а , н е б е с п о к о й с я о В е р х о в е н с к о м . Е с л и б о н у ч а с т в о в а л в к а к и х - н и б у д ь ш а л о с т я х , т о н е с т а л б ы т а к г о в о р и т ь с т о б о ю . . . Ф р а з е р ы н е о п а с н ы , и д а ж е я т а к с к а ж у , с л у ч и с ь ч т о - н и б у д ь , я ж е п е р в а я ч р е з н е г о и у з н а ю . О н ф а н а т и ч е с к и , ф а н а т и ч е с к и п р е д а н м н е . . . Я , з н а е т е , у с т р а и в а ю ц е л ы й д е н ь у в е с е л е н и й ; п о п о д п и с к е , в п о л ь з у б е д н ы х г у в е р н а н т о к и з н а ш е й г у б е р н и и . О н и р а с с е я н ы п о Р о с с и и ; и х н а с ч и т ы в а ю т д о ш е с т и и з o д н о г о н а ш e г о у е з д а ; к р о м е т о г о , д в е т е л e г р а ф и с т к и , д в e у ч а т с я в а к а д e м и и , o с т а л ь н ы е ж е л а л и б ы , н о н e и м e ю т с р e д с т в . Ж р e б и й р у с с к о й ж e н щ и н ы у ж а с e н ! . . . О Б о ж e , м н o г o л и у н а с с в e т л ы х л и ч н о с т e й ! К о н e ч н o , e с т ь , н o o н и р a s s e я н ы . С о м к н e м т e с ь ж e и б у д e м с и л ь н e e . O д н и м с л o в o м , y м e н я б у д e т с н а ч а л а л и т e р а т у р н o e y т р o , п o т o м л e г к и й з a в т р a к , п o т o м п e р e p ы в , и в т o т ж e д e н ь в e ч e р o м б a л . М ы х o т e л и н a ч а т ь в e ч e р ж и в ы м и к a р т и н a м и , н o , к a ж e т с я , м н o г o и з д e р ж e k , и п o т o м у д л я п у б л и к и б у д у т o д н a и л и д в e к a д р и л и в м a c к a x и x a p a к т e р н ы x к o c т ь ю м a x , и з o б р a ж a ю щ и x и з в e c т н ы e л и т e р a т у р н ы e н a п р a в л e н и я . . .

В кабинет бесшумно вскальзывает БЛЮМ и подобострастно замирает у двери. ЮЛИЯ МИХАЙЛОВНА надменно оглядывает его с головы до ног, но тот упорно не замечает ее испепеляющих взглядов, наконец она не выдерживает поединка и, презрительно фыркнув, устремляется из комнаты.

А н д р е й А н т о н о в и ч . Я п р o ш у т e б я , Б л ю м , o с т a в и т ь м e н я в п o к o e .

Б л ю м . И o д н a к o ж , э т o м o ж e т б ы т ь у с т р o e н o д e л и к a т н e й ш e , c o в e р ш e н н o н e г л a c н o ; в ы ж e и м e e т e в с e п o л н o м o ч и я .

А н д р е й А н т о н о в и ч . Б л ю м , т ы д o т a к o й с т e п e н и п р e d a н м н e и у с л у ж л и в , ч т o я в с я к и й р a з с м o т р ю н a т e б я в н e с e б я o т c т р a x a .

Б л ю м. Вы всегда говорите острые вещи и в удовольствии от сказанного засыпаете спокойно, но тем самым себе повреждаете.

А н д р е й А н т о н о в и ч. Блюм, я сейчас убедился, что это вовсе не то, вовсе не то... Мы не найдем ничего, а крик подыметя страшный...

Б л ю м. Мы несомненно найдем всё, чего ищем. Мы сделаем осмотр внезапно, рано поутру, соблюдая всю деликатность к лицу и всю предписанную строгость форм закона. Молодой человек Лямшин слишком уверяет, что мы найдем всё желаемое... К господину Верховенскому никто внимательно не расположен. Генеральша Ставрогина явно отказала ему в своих благодеяниях, и всякий честный человек, если только есть таковой в этом грубом городе, убежден, что там всегда укрывался источник безверия и социального учения. У него хранятся запрещенные книги... Я на всякий случай имею приблизительный каталог...

А н д р е й А н т о н о в и ч. О Боже, эти книги есть у всякого; как ты прост, мой бедный Блюм!

Б л ю м. Вот. *(Кладет перед ним новую прокламацию.)* Мы кончим тем, что непременно нападем на след настоящих здешних прокламаций. Этот молодой Верховенский мне весьма и весьма подозрителен.

А н д р е й А н т о н о в и ч. Но ты смешиваешь отца с сыном. Они не в ладах; сын смеется над отцом явно.

Б л ю м. Это одна только маска. Зачем вы принимаете этого фальшивого, порочного молодого человека, которого вы сами подозреваете? Он вас победил льстивыми похвалами вашему таланту в литературе. А его отец...

А н д р е й А н т о н о в и ч. Блюм, ты поклялся меня замучить! Подумай, он лицо все-таки здесь заметное. Он был профессором, он человек известный, он раскричится, и тотчас же пойдут насмешки по городу...

Б л ю м. Он был лишь доцентом, всего лишь доцентом, и по чину всего только коллежский асессор при от-

ставке, знаков отличия не имеет, уволен из службы по подозрению в замыслах против правительства. Он состоял под тайным надзором и несомненно еще состоит. И ввиду обнаружившихся теперь беспорядков вы несомненно обязаны долгом. Вы же, наоборот, упускаете ваше отличие, потворствуя настоящему виновнику.

А н д р е й А н т о н о в и ч *(вне себя)*. Убирайся, Блюм!

Б л ю м. Дозвольте же, дозволейте приступить...

А н д р е й А н т о н о в и ч *(падая в кресло)*. Убирайся!.. Делай, что хочешь... после... О Боже мой!

БЛЮМ удовлетворенно пятится к выходу и спиной натывается на влетающего в кабинет ПЕТРА ВЕРХОВЕНСКОГО. Петр Степанович обхватывает его сзади и передает с рук на руки маячащему в дверях ФЕДЬКЕ. А тот увлекает его в темноту. Верховенский обегает стол и, легонько полуобняв губернатора, накрывает ладонью лежащую перед ним прокламацию.

В е р х о в е н с к и й. Ого, поймал-таки вас, скрытный градоначальник! Это умножит вашу коллекцию, а?

А н д р е й А н т о н о в и ч *(взбешенно)*. Оставьте, оставьте сейчас! И не смейте... сударь...

В е р х о в е н с к и й. Чего вы так? Вы, кажется, сердитесь?

А н д р е й А н т о н о в и ч. Позвольте вам заметить, милостивый государь, что я вовсе не намерен отселе терпеть вашего амикошонства и прошу вас припомнить...

В е р х о в е н с к и й. Фу, черт, да ведь он и в самом деле!

А н д р е й А н т о н о в и ч *(вскакивает)*. Молчите же, молчите!.. И не смейте...

В е р х о в е н с к и й *(оскорбленно отходит)*. А я думал, если человек два дня сряду за полночь читает вам наедине свой роман и хочет вашего мнения, то уж сам по крайней мере вышел из этих официальностей... Меня Юлия Михайловна принимает на короткой ноге; как вас тут распознаешь? Вот вам кстати и ваш роман.

Андрей Антонович (смешавшись). Где же вы отыскиали?

Верховенский. Вообразите, как была в трубке, так и скатилась за комод. Я, должно быть, как вошел, бросил ее тогда неловко на комод. Только третьего дня отыскиали, полы мыли, задали же вы мне, однако, работу!

Андрей Антонович. Гм...

Верховенский. Две ночи сряду не спал по вашей милости. Третьего дня еще отыскиали, а я удержал, всё читал, днем-то некогда, так я по ночам. Ну-с, и — недоволен: мысль не моя. Да наплевать, однако, критиком никогда не бывал, но — оторваться, батюшка, не мог, хоть и недоволен! Четвертая и пятая главы это... это... это... черт знает что такое! И сколько юмору у вас напихано, хохотал. Как вы, однако ж, умеете поднять на смех! Ну, там в девятой, десятой, это всё про любовь, не мое дело; эффектно, однако; за письмом Игренева чуть не занюнил, хотя вы его так тонко выставили... Знаете, оно чувствительно, а в то же время вы его как бы фальшивым боком хотите выставить, ведь так? Угадал я или нет? Ну, а за конец просто избил бы вас. Ведь вы что проводите? Ведь это то же прежнее обоготворение семейного счастья, приумножения детей, капиталов, стали жить-поживать да добра наживать, помилуйте! Читателя очаруете, потому что даже я оторваться не мог, да ведь тем сквернее. Читатель глуп по-прежнему, следовало бы его умным людям расталкивать, а вы... Ну да довольно однако, прощайте. Не сердитесь в другой раз; я пришел было вам два словечка нужных сказать; да вы какой-то такой...

Андрей Антонович (*заперев рукопись в ящик стола, бросается ему наперерез, заслоняет собою выход*). Я не какой-то такой, а я просто... всё неприятности... Садитесь и скажите ваши два слова. Я вас давно не видал, Петр Степанович, и только не влетайте вы вперед с вашей манерой... иногда при делах оно...

Верховенский (*ворчливо*). Манеры у меня одни...

Андрей Антонович. Знаю-с, и верю, что вы без намерения, но иной раз находишься в хлопотах... Садитесь же.

Верховенский (*по-хозяйски разваливаясь на стуле*). Это в каких же вы хлопотах; неужто (*Помахивает прокламацией*.) эти пустяки? Я вам таких листов сколько угодно натаскаю... Познакомился!

Андрей Антонович. То есть в то время...

Верховенский. Ну, разумеется... С виньеткой, топор наверху нарисован. Позвольте; ну да, топор и тут, та самая, точнёхонько.

Андрей Антонович. Да, топор. Видите — топор.

Верховенский. Что ж, топора испугались?

Андрей Антонович. Я не топора-с... и не испугался-с, но дело это... дело такое, тут обстоятельства.

Верховенский. Какие? Что с фабрики-то принесли? Хе, хе. А знаете, у вас на этой фабрике сами рабочие скоро будут писать прокламации.

Андрей Антонович. Как это?

Верховенский. Да так. Вы и смотрите на них. Слишком вы мягкий человек, Андрей Антонович; романы пишете. А тут надо бы по-старинному.

Андрей Антонович. Что такое по-старинному?..

Верховенский. Перепороть их сплошь, и дело с концом.

Андрей Антонович. Бунт? Вздор это...

Верховенский. Эх, Андрей Антонович, мягкий вы человек! (*Нацеливаясь на очередную бумажку на столе губернатора*.) А-а, опять старая знакомая! Ну, эту я наизусть знаю: «Светлая личность»! Она и есть. Знаком с этой личностью еще с заграницы. (*Читает с пафосом*.)

Он незнатной был породы,
 Он возрос среди народа,
 Но, гонимый местью царской,
 Злобной завистью боярской,
 Он обрёл себя страданью,
 Казням, пыткам, истязанью
 И пошел вещать народу
 Братство, равенство, свободу.

.
 А народ, восстать готовый
 Из-под участи суровой,
 От Смоленска до Ташкента
 С нетерпеньем ждал студента.

Где откопали?

А н д р е й А н т о н о в и ч. Вы говорите, что видели за границей?

В е р х о в е н с к и й. Еще бы, четыре месяца назад или даже пять.

А н д р е й А н т о н о в и ч (со значением). Как много вы, однако, за границей видели.

В е р х о в е н с к и й. Что? замысловато! Вы, Андрей Антонович, меня, как вижу, экзаменуете? (С важностью.) Видите-с, о том, что я видел за границей, я, возвратясь, уже кой-кому объяснил, и объяснения мои найдены удовлетворительными... Считаю, что дела мои в этом смысле покончены, и никому не обязан отчетом. И не потому покончены, что я доносчик, а потому, что иначе не мог поступить. Ну, это всё, однако же, к чёрту а я вам пришел сказать одну серьезную вещь, и хорошо, что вы этого трубочиста вашего выслали. Дело для меня важное, Андрей Антонович; будет одна моя чрезвычайная просьба к вам.

А н д р е й А н т о н о в и ч. Просьба? Гм, сделайте одолжение, я жду и, признаюсь, с любопытством.

В е р х о в е н с к и й. В Петербурге я насчет многого был откровенен, но насчет чего-нибудь или вот этого

(*Стучит ладонью по прокламации.*), например, я умолчал, во-первых, потому, что не стоило говорить, а во-вторых, потому, что объявлял только о том, о чем спрашивали... Ну, одним словом, это в сторону. Ну-с, а теперь... теперь, когда эти дураки... ну, когда это вышло наружу и уже у вас в руках и от вас, я вижу, не укроется — потому что вы человек с глазами и вас вперед не распознаешь, а эти глупцы между тем продолжают, я... я... ну да, я, одним словом, пришел вас просить спасти одного человека, одного тоже глупца, пожалуй сумасшедшего, во имя его молодости, несчастий, во имя вашей гуманности... (*В сердцах.*) Не в романах же одних собственно изделия вы так гуманны!

А н д р е й А н т о н о в и ч (*осторожно*). За кого же вы просите?..

В е р х о в е н с к и й. Это... это... черт... Я не виноват ведь, что в вас верю! Чем же я виноват, что почитаю вас за благороднейшего человека и, главное, толкового... способного то есть понять... черт... Вы, наконец, поймите, поймите, что называя вам его имя, я вам его ведь предаю; ведь предаю, не так ли?.. Ну, чёрт... эта «светлая личность», этот «студент» — это Шатов... вот вам и всё!

А н д р е й А н т о н о в и ч. Шатов? То есть как это Шатов?

В е р х о в е н с к и й. Шатов, это «студент», вот про которого здесь упоминается. Он здесь живет; бывший крепостной человек, ну, вот пощечину дал.

А н д р е й А н т о н о в и ч. Знаю, знаю! Но, позвольте... о чем вы-то... ходатайствуете?

В е р х о в е н с к и й. Да спасти же его прошу, понимаете! Ведь я его восемь лет тому еще знал, ведь я ему другом, может быть, был. Я надеюсь на вашу гуманность, на ум. Вы поймете и сами покажете дело в настоящем виде, а не как Бог знает что, как глупую мечту сумасбродного человека... от несчастий, заметь-

те, от долгих несчастий, а не как черт знает там какой небывалый государственный заговор!..

А н д р е й А н т о н о в и ч (*величаво*). Вижу, что он виновен в прокламациях с топором. Позвольте, однако же, если б один, то как мог он...

В е р х о в е н с к и й. Да говорю же вам, что их, очевидно, всего-навсе пять человек, ну, десять, почему я знаю?

А н д р е й А н т о н о в и ч. Вы не знаете?

В е р х о в е н с к и й. Да почему мне знать, черт возьми?

А н д р е й А н т о н о в и ч. Но вот знали же, однако, что Шатов один из сообщников?

В е р х о в е н с к и й (*как бы отбиваясь от подавляющей прозорливости вопрошателя*). Эх!.. Я вам всю правду скажу: о прокламациях ничего не знаю, то есть ровнешенько ничего, черт возьми, понимаете, что значит ничего!.. Ну и может, Шатов, ну и еще кто-нибудь, ну вот и всё, дрянь и мизер... но я за Шатова пришел просить, его спасти надо, потому что это стихотворение — его, его собственное сочинение и за границей через него отпечатано; вот что я знаю наверно, а о прокламациях ровно ничего не знаю.

А н д р е й А н т о н о в и ч. Какие же, однако, данные заставляют вас подозревать господина Шатова?

В е р х о в е н с к и й (*выхватывает из кармана клочок бумаги*). Вот данные! (*Читает.*) «Светлую личность» отпечатать здесь не могу, да и ничего не могу; печатайте за границей. *Ив. Шатов*»... Кажется, ясно?

А н д р е й А н т о н о в и ч (*берет протянутую гостем записку*). Но здесь адреса нет; почему же вам стало известно... что писана она действительно господином Шатовым?

В е р х о в е н с к и й. Так достаньте сейчас руку Шатова, да и сверьте. У вас в канцелярии непременно должна отыскаться какая-нибудь его подпись.

А н д р е й А н т о н о в и ч . Т е - т е - т е , т о - т о я д у -
маю...

В е р х о в е н с к и й . Д а к а к у ж в а м н е п о н я т ь . И
ч е р т з н а е т д л я ч е г о я в а м р а з б о л т а л ! С л у ш а й т е , м н е
Ш а т о в а о т д а й т е , а т а м ч е р т д е р и и х в с е х о с т а л ь н ы х . . .
О н и м е н я н е л ю б я т , п о т о м у ч т о я в о р о т и л с я . . . н о о б е -
щ а й т е м н е Ш а т о в а , и я в а м и х в с е х н а о д н о й т а р е л к е
п о д а м . П р и г о ж у с ь , А н д р е й А н т о н о в и ч ! Я э т у в с ю ж а л -
к у ю к у ч к у п о л а г а ю ч е л о в е к в д е в я т ь — в д е с я т ь . Я с а м
з а н и м и с л е ж у , о т с е б я - с . . . Н о н а д о ш е с т ь д н е й . Я у ж е
с м е к н у л н а с ч е т а х ; ш е с т ь д н е й , и н е р а н ь ш е . Е с л и х о -
т и т е к а к о г о - н и б у д ь р е з у л ь т а т а — н е ш е в е л и т е и х е щ е
ш е с т ь д н е й , и я в а м и х в o д и н у з е л с в я ж у ; а п о ш е в е л и -
т е р а н ь ш е — г н е з д о р а з л е т и т с я . Н о д а й т е Ш а т о в а . Я
з а Ш а т о в а . . . А в с е г о б ы л у ч ш е п р и з в а т ь e г о с е к р е т н о
и д р у ж е с к и , х о т ь с ю д а в к а б и н е т , и п р о э к з а м е н о в а т ь ,
п о д н я в ш и п р е д н и м з а в е с у . . . Д а o н , н а в е р н о , с а м в а м в
н о г и б р о с и т с я и з а п л а ч е т ! Э т о ч е л о в е к н е р в н ы й , н е с ч а -
с т ь н ы й ; у н е г о ж е н а г у л я е т с о С т а в р о г и н ы м . П р и г о л у б ь -
т е e г o , и o н в с ь е с а м o т к р о е т , н о н а д о ш е с т ь д н е й . . .

А н д р е й А н т о н о в и ч . Я с л ы ш а л . . . Я с л ы ш а л ,
ч т о в ы , в о з в р а т я с ь и з - з а г р а н и ц ы , г д е с л е д у е т и з ь я в и -
л и . . . в р о д е р а с к а я н ь я ?

В е р х о в е н с к и й (*небрежно*) . Н у , т а м ч т о б ы
н и б ы л о .

А н д р е й А н т о н о в и ч . Д а и я , р а з у м е е т с я , н е
ж е л а ю в х о д и т ь . . .

В е р х о в е н с к и й . В и д и т е л и , д о р о г о й и м н о г о -
у в а ж а е м ы й А н д р е й А н т о н о в и ч , в ы х и т р ы , н о д о э т о г о
e щ е н е д о ш л о и , н а в е р н о , н е д о й д е т , п о н и м а е т е ? . . . Я
х о т ь и д а л г д е с л е д у е т o б ь я с н е н и я , в о з в р а т я с ь и з - з а
г р а н и ц ы , и , п р а в о , н е з н а ю , п о ч е м у б ы ч е л о в е к и з -
в е с т н ы х у б е ж д е н и й н е м о г д е й с т в о в а т ь в п о л ь з у
и с к р е н н ы х с в о и х у б е ж д e н и й . . . н о . . . н и к а к и х п о -
д о б н ы х з а к а з о в *o т т у д а* я e щ e н е б р а л н а с e б я .
В н и к н и т е с а м и : в е д ь м о г б ы я н е в а м o т к р ы т ь
п е р в о м у д в а - т о и м e н и , а п р я м о *т у д а* м а х н у т ь , т о

есть туда, где первоначальные объяснения давал... Благодарны-то будут теперь вам, а не мне. Я единственно за Шатова, за одного Шатова, по прежней дружбе... ну, а там, пожалуй, когда возьмете перо, чтобы туда отписать, ну похвалите меня, если хотите... противоречить не стану, хе-хе! Adieu однако же, засиделся, и не надо бы столько болтать! *(Подается к выходу, но Лембке умоляющим жестом останавливает его.)*

А н д р е й А н т о н о в и ч. Мне, может, и известно нечто... то и господин Ставрогин в таком случае...

В е р х о в е н с к и й *(почти грубо)*. Что Ставрогин?

А н д р е й А н т о н о в и ч. Знаете, этот Шатов... И потом эта пощечина...

В е р х о в е н с к и й. Э, нет, нет, нет! Вот тут маху дали, хоть вы и хитры. И даже меня удивляете. Я ведь думал, что вы насчет этого не без сведений... Гм, Ставрогин — это совершенно противоположное. *(Многозначительно поднимает палец вверх.)* Большая птица!

А н д р е й А н т о н о в и ч. Неужели! и может ли быть? Мне Юлия Михайловна сообщила, что, по ее сведениям из Петербурга, он человек с некоторыми, так сказать, наставлениями...

В е р х о в е н с к и й *(торопится)*. Я ничего не знаю, ничего не знаю, совсем ничего. Adieu. *(Летит к дверям.)*

А н д р е й И в а н о в и ч *(перехватывает его по пути)*. Позвольте, Петр Степанович, позвольте, еще одно крошечное дельце, и я вас не задержу. *(Он вынимает из стола и подает гостю листок.)* Вот-с один экземплярчик, по той же категории, и я вам тем самым доказываю, что вам в высшей степени доверяю. Вот-с, и каково ваше мнение?

В е р х о в е н с к и й *(берет, читает, отдает обратно)*. Так вы как же думаете?

А н д р е й А н т о н о в и ч. Я бы предположил, что это анонимный пашквиль, в насмешку.

В е р х о в е н с к и й. Вероятнее всего, что так и есть. Вас не надуеть.

А н д р е й А н т о н о в и ч (*польщенно*). Я главное потому, что так глупо... Потому что те люди образованные и, наверно, так глупо не напишут.

В е р х о в е н с к и й (*торопится*). Ну да, ну да.

А н д р е й А н т о н о в и ч. А что, если это и в самом деле кто-нибудь хочет действительно донести?

В е р х о в е н с к и й (*сухо*). Невероятно. Что значит телеграмма из третьего отделения и пенсия? Пашквиль очевидный.

А н д р е й А н т о н о в и ч. Да, да.

В е р х о в е н с к и й (*решительно*). Знаете что, оставьте-ка это у меня. Я вам наверно разыщу. Раньше, чем тех, разыщу.

А н д р е й А н т о н о в и ч (*колеблясь*). Возьмите...

В е р х о в е н с к и й (*ловко выхватывает у него из рук письмо*). Ну, прощайте. Я вам, может, даже дня через три этого сочинителя представлю. Главное, уговор. Шесть дней!

Выросший будто из-под земли ФЕДЬКА услужливо распахивает перед ним дверь. ТОТ вихрем выносится из кабинета. ФЕДЬКА исчезает следом за ним. Губернатор остается один. Он вынимает из ящика стола свою рукопись, любовно разглаживает ее и углубляется в чтение. Лубочный город загорается над ним всеми своими маковками и шпилями. Под нежный колокольный перезвон Андрей Антонович, блаженно улыбаясь, листает страницы любимого детища.

КАРТИНА ТРЕТЬЯ

СТАВРОГИНИАДА

Карточный стол в дворянском клубе. За столом — АВТОР, КИРИЛЛОВ, ЛИПУТИН, ГАГАНОВ и СТАВРОГИН. Вистуют.

Г а г а н о в. Нет-с, меня не проведут за нос!

Вистуют.

Нет-с, господа, меня за нос никто...

Вистуют.

Нет, не проведет.

Ставрогин бросает карты на стол, молча встает, подходит к Гаганову, берет его двумя пальцами за нос и несколько раз наклоняет его из стороны в сторону. После короткой паузы поднимается многоголосый шум. И вот уже, стоя на двух противоположных площадках стола, противники сходятся на дуэли. Выстрел Гаганова. Со Ставрогина слетает шляпа. Ставрогин стреляет в воздух и медленно идет прочь. Его сопровождают голоса. По пути его подхватывает под руку возникший из темноты ВЕРХОВЕНСКИЙ. После каждой последующей реплики он раскладывается перед публикой, словно творец рядом со своим произведением.

Первый голос. Вы слышали?

Второй голос. Да, да! Вчера дрался с этим... Гагановым. И единственно с галантной целью подставить свой лоб человеку взбесившемуся; чтобы только от него отвязаться.

Первый голос. Это в нравах гвардии двадцатых годов.

Второй голос. А что, правда, что его оскорбляет здесь какой-то студент, и он полез от него под стол?

Третий голос. Чего же проще? Разве возможно удивление, что Ставрогин дрался с Гагановым и не отвечал студенту? Не мог же он вызвать на поединок бывшего крепостного своего человека.

Четвертый голос. Вот и говорите про молодежь.

Первый голос. Тут не о молодежи вопрос; тут звезда-с, а не какой-нибудь из молодежи; вот как понимать это надо.

Третий голос. А нам того и надобно; оскудели в людях.

Четвертый голос. Истина! Истина!

СТАВРОГИН, увлекаемый ВЕРХОВЕНСКИМ, исчезает в темноте. Следом за ними спешит вынырнувший неизвестно откуда
ФЕДЬКА КАТОРЖНЫЙ.

А в т о р (*появляясь на авансцене*). Таким образом, когда, наконец, появился сам Николай Всеволодович, все встретили его с самою наивною серьезностью, во всех глазах, на него устремленных, читались самые нетерпеливые ожидания... Одним словом, всё ему удавалось, он был в моде.

Бильярдная в доме Ставровиных. ФЕДЬКА завзятым маркером ставит шары, натирает кии мелом, разливает на боковом столике напитки. В глубине сцены маячат столы-портреты из первой картины. С разных концов комнаты к бильярду подходят ВЕРХОВЕНСКИЙ и СТАВРОГИН и берутся за игру. Верховенский заговорщицки многозначительно кивает на дверь.

С т а в р о г и н (*холодно*). Она никогда не подслушивает.

В е р х о в е н с к и й. То есть если б и подслушивала! Я ничего против этого, я только теперь бежал поговорить наедине. Завтра, может быть, вы явитесь, — а?

С т а в р о г и н. Может быть.

В е р х о в е н с к и й. Разрешите их наконец, разрешите меня! Если б вы знали, что я должен был им наболтать. А впрочем, вы знаете.

С т а в р о г и н. Всего не знаю. Я слышал только от матери, что вы очень... двигались.

В е р х о в е н с к и й. Знаете, я пустил в ход жену Шатова, то есть слухи о ваших связях в Париже, чем и объяснялся, конечно, тот случай в воскресенье... вы не сердитесь?

С т а в р о г и н. Убежден, что вы очень старались.

В е р х о в е н с к и й. Что ж это значит: «очень старались»? Это ведь упрек. Впрочем, вы прямо ставите, я всего больше боялся, идя сюда, что вы не захотите прямо поставить.

С т а в р о г и н. Я ничего и не хочу прямо ставить.

Верховенский. Я не про то; не про то, не ошибитесь, не про то! Я не стану вас раздражать *нашим* делом, особенно в вашем теперешнем положении. Я прибежал только о воскресном случае, и то в самую необходимую меру, потому нельзя же ведь. Я с самыми открытыми объяснениями, в которых нуждаюсь главное я, а не вы, — это для вашего самолюбия, но в то же время это и правда... Ну-с, угодно вам выслушать?

Ставрогин. Гм...

Верховенский. Слушайте же... Отправляясь сюда, то есть вообще сюда, в этот город, десять дней назад, я, конечно, решил взять роль. Самое бы лучшее совсем без роли, свое собственное лицо, не так ли? Ничего нет хитрее, как собственное лицо, потому что никто не поверит. Я, признаться, хотел было взять дурачка, потому что дурачок легче, чем собственное лицо; но так как дурачок все-таки крайность, а крайность возбуждает любопытство, то я и остановился на собственном лице окончательно. Ну-с, какое же мое собственное лицо? Золотая середина: ни глуп, ни умен, довольно бездарен и с луны соскочил, как говорят здесь благоразумные люди, не так ли?

Ставрогин (*насмешливо*). Что ж, может быть и так.

Верховенский. Вам любопытно, почему я так откровенен? Я вдруг переменяю об вас свои мысли. Старый путь кончен совсем; теперь я уже никогда не стану вас компрометировать старым путем, теперь новым путем.

Ставрогин. Переменяли тактику?

Верховенский. Тактики нет. Теперь во всем ваша полная воля, то есть хотите сказать *да*, а хотите — скажете *нет*. Вот моя новая тактика. А о *нашем* деле не заикнусь до тех самых пор, пока сами не прикажете. Вы смеетесь? На здоровье; я и сам смеюсь. Но я теперь серьезно, серьезно, серьезно, хотя тот, кто так торопит-

ся, конечно бездарен, не правда ли? Всё равно, пусть бездарен, а я серьезно, серьезно.

Ставрогин (*задумчиво*). Да... может, так и надо...

Верховенский. Кстати, надо бы к нашим сходить. Да не беспокойтесь, не сейчас, а когда-нибудь. Сейчас дождь идет. Я им дам знать, они соберутся, и мы вечером. Они так и ждут, разиня рты, как галчата в гнезде, какого мы им привезли гостинцу?.. И, знаете, они обижены, что я к ним небрежно и водой их окачиваю, хе-ха! А сходить надо непременно... Вы теперь загадочное и романтическое лицо, пуще чем когда-нибудь — чрезвычайно выгодное положение. Все вас ждут до невероятности. Знаете, они считают вас, кажется, за шпиона? Я поддакиваю, вы не сердитесь?

Ставрогин. Ничего.

Верховенский. Это ничего; это в дальнейшем необходимо. У них здесь свои порядки. Я, конечно, поощряю; Юлия Михайловна во главе, Гаганов — тоже... Вы смеетесь? Да ведь я с тактикой: я вру, вру, а вдруг и умное слово скажу, именно тогда, когда они все его ищут. Они окружают меня, а я опять начну врать. На меня уже все махнули; «со способностями, говорят, но с луны соскочил»... Лембке тоже романы пишет.

Ставрогин. Да?

Верховенский. На русском языке, потихоньку, разумеется. Юлия Михайловна знает и позволяет. Колпак; впрочем, с приемами; у них это выработано. Экая строгость форм, экая выдержанность! Вот бы нам что-нибудь в этом роде.

Ставрогин. Вы хвалите администрацию?

Верховенский. Да еще же бы нет! Единственно, что в России есть натурального и достигнутого... Кстати, я всё ждал, что ваша матушка так вдруг и брякнет мне главный вопрос... Сначала она была страшно угрюма, а вдруг сегодня приезжаю — вся так и сияет. Это что же?

Ставрогин. Это она потому, что я сегодня ей слово дал через пять дней к Лизавете Николаевне посвататься.

Верховенский (*замявшись*). А, ну... да, конечно... Там слухи о помолвке, вы знаете? Верно, однако. Но вы правы, она из-под венца прибежит, стоит вам только кликнуть. Вы не сердитесь, что я так?

Ставрогин. Нет, не сержусь.

Верховенский. Здесь иные считают меня даже вашим соперником у Лизаветы Николаевны... Однако, прощайте... Ровно восемь часов: ну, я в путь. На дворе дождь и темень, у меня, впрочем, извозчик, потому что на улицах здесь по ночам не спокойно... Ах, как кстати: здесь в городе и около бродит теперь один Федька-каторжный, беглый из Сибири, представьте, мой бывший дворовый человек, которого папаша лет пятнадцать тому в солдаты упёк и деньги взял. Очень замечательная личность.

Ставрогин. Вы... с ним говорили?

Верховенский. Говорил. От меня не прячется. На всё готовая личность, на всё; за деньги, разумеется, но есть и убеждения, в своем роде, конечно. Ах да, вот и опять кстати: если вы давеча серьезно о том замысле, помните, насчет Лизаветы Николаевны, то возобновляю вам еще раз, что и я тоже на всё готовая личность, во всех родах, каких угодно, и совершенно к вашим услугам... Что это, вы за палку хватаетесь? Ах нет... Представьте, мне показалось...

Ставрогин. Подите прочь...

Верховенский (*уже от выхода*). Я потому так, что ведь Шатов, например, тоже не имел права рисковать тогда жизнью в воскресенье, когда к вам подошел, так ли? Я бы желал, чтобы вы это заметили.

ВЕРХОВЕНСКИЙ исчезает, увлекая за собой ФЕДЬКУ. Некоторое время Ставрогин остается один. Затем звонит. Входит АЛЕКСЕЙ ЕГОРЫЧ.

Ставрогин. Одеваться.

АЛЕКСЕЙ ЕГОРЫЧ выходит. Ставрогин начинает приводить себя в порядок. Входит с платьем и зонтиком в руках АЛЕКСЕЙ ЕГОРЫЧ.

Алексей Егорыч. По чрезвычайному дождю грязь по здешним улицам нестерпимая.

Ставрогин (*принимая от него фонарик*). Не заметно ли будет?

Алексей Егорыч. Из окошек заметно не будет, окромя того, что заранее всё предусмотрено.

Ставрогин. Матушка почивает?

Алексей Егорыч. Заперлись по обыкновению последних дней ровно в девять часов и узнать теперь для них ничего невозможно. В каком часу вас прикажете ожидать?

Ставрогин. В час, в половине второго, не позже двух.

Алексей Егорыч. Слушаю-с.

Ставрогин. Не заскрипела бы дверь?

Алексей Егорыч (*провожает его*). Если изволили предпринять путь отдаленный, то докладываю, будучи неуверен в здешнем народишке, в особенности по глухим переулкам, а паче всего за рекой.

Ставрогин. Не беспокойся, Алексей Егорыч.

Алексей Егорыч. Благослови вас Бог, сударь, но при начинании лишь добрых дел.

Ставрогин (*пораженный*). Как?

Алексей Егорыч. Благослови вас Бог, сударь, но при начинании лишь добрых дел.

Идет затемнение. По авансцене, держа зонтик над головой, проходит СТАВРОГИН. По пути к нему пристраивается ФЕДЬКА.

Федька. Не позволите ли, милостивый господин, зонтиком вашим заодно позаимствоваться?

Ставрогин. Ты меня знаешь?

Федька. Господин Ставрогин, Николай Всеволодович; мне вас на станции в запрошлое воскресенье

показывали. Окромя того, что прежде были наслышаны.

С т а в р о г и н. Ты... Федька Каторжный?

Ф е д ь к а. Крестили Федором Федоровичем; доселе природную родительницу нашу имеем в здешних краях-с, старушку Божию, к земле растет, за нас ежедневно день и ночь Бога молит, чтобы таким образом своего старушечьего времени даром на печи не терять.

С т а в р о г и н. Ты беглый с каторги?

Ф е д ь к а. Переменил участь. Сдал книги и колокола и церковные дела, потому я был решен вдоль по каторге-с, так очень долго уж сроку приходилось дожидаться.

С т а в р о г и н. Что здесь делаешь?

Ф е д ь к а. Да вот день да ночь — сутки прочь. Дяденька тоже наш на прошлой неделе в остроге здешнем по фальшивым деньгам скончались, так я, по нем поминки справляя, два десятка камней собакам раскидал, — вот только и дела нашего было пока. Окромя того, Петр Степанович паспортом по всей Расее, чтобы, примерно купеческим, облагоденживают, так тоже вот ожидаю их милости. Потому, говорят, папаша тебя в клубе аглицком в карты проиграл; так я, говорят, несправедливым сие бесчеловечие нахожу. Вы бы мне, сударь, согреться, на чаек, три целковых соблаговолили?

С т а в р о г и н. Значит, ты меня здесь стерег; я этого не люблю. По чьему приказанию?

Ф е д ь к а. Чтобы по приказанию, то этого не было-с ничьего, а я единственно человеколюбие ваше знамши, всему свету известное. Так вот, не будет ли вашей милости от щедрот; а у меня тут как раз неподалеку кума поджидает, только к ней без рублей не являйся.

С т а в р о г и н. Тебе что же Петр Степанович от меня обещал?

Ф е д ь к а. Они не то чтобы пообещали-с, а говорили на словах-с, что могу, пожалуй, вашей милости

пригодиться, если полоса такая, примерно, выйдет, но в чем собственно, того не объяснили, чтобы в точности, потому Петр Степанович меня, примером, в терпении казацком испытывают и доверенности ко мне никакой не питают.

С т а в р о г и н. Почему же?

Ф е д ь к а. Петр Степанович — астролом и все Божии планиды узнал, а и он критике подвержен. Петр Степанович — одно, а вы, сударь, пожалуй что и другое. У того коли сказано про человека: подлец, так уж кроме подлца он про него ничего и не ведает. Али сказано — дурак, так уж кроме дурака у него тому человеку и звания нет. А я, может, по вторникам да по средам только дурак, а в четверг и умнее его... Окромья того, больно скуп. Они в том мнении, что я помимо их не посмею вас беспокоить, а я пред вами, сударь, как пред Истинным, — вот уже четвертую ночь вашей милости на сем мосту поджидаю, в том предмете, что и кроме них могу тихими стопами свой собственный путь найти. Лучше, думаю, я уж сапогу поклонюсь, а не лаптю.

С т а в р о г и н. А кто тебе сказал, что я ночью по мосту пойду?

Ф е д ь к а. А уж это, признаться, стороной вышло, больше по глупости капитана Лебядкина, потому что они никак чтоб удержать в себе не умеют... Так три-то целковых с вашей милости, примером, за три дня и три ночи, за скуку придутся. А что одежды промокло, так уж, из обиды одной, молчим.

С т а в р о г и н. Мне налево, тебе направо. Слушай, Федор, нужды в тебе не имею и не буду иметь, а если ты не послушаешься — свяжу и в полицию. Марш!

Ф е д ь к а. Эхма, за компанию по крайности набросьте, веселее было идти-с.

С т а в р о г и н. Пошел!

Ф е д ь к а. Да вы дорогу-то здешнюю знаете ли-с? Ведь тут такие проулки пойдут... я бы мог руководст-

вовать, потому здешний город — это всё равно, что чёрт в корзине нёс, да растряс.

Ставрогин. Эй, свяжу!

Федька. Рассудите, может быть, сударь; сироту долго ли избидеть!

Ставрогин. Нет, ты, видно, уверен в себе!

Федька. Я, сударь, в вас уверен, а не то чтоб очинно в себе.

Ставрогин. Не нужен ты мне совсем, я сказал!

Федька. Да вы-то мне нужны, сударь, вот что-с. Подожду вас на обратном пути, так уж и быть.

Ставрогин. Честное слово даю: коли встречу — свяжу.

Федька (*отставая*). Так я уж и кушачок приготовлю-с. Счастливого пути, сударь, всё под зонтиком сироту обогрели, на одном этом по гроб жизни благодарны будем.

Дождь припускает сильнее. Наступает полная тьма, в которой вскоре зажигается огонек лампадки под образом Спаса. Комната Шатова. ХОЗЯИН склонился над книгой. Легкий стук в дверь. Шатов вопросительно вскидывает голову. Входит СТАВРОГИН.

Ставрогин. Вы примете меня по делу?

Шатов. Войдите... Заприте дверь, постойте, я сам. (*Запирает дверь, бросается к гостю.*) Вы меня измучили. Зачем вы не приходили?

Ставрогин. Вы так уверены были, что я приду?

Шатов. Да, постойте, я бредил... может, и теперь брежу... Постойте. (*Вынимает откуда-то из-под стола револьвер.*) В одну ночь я бредил, что вы придете меня убивать, и утром рано у бездельника Лямшина купил револьвер на последние деньги; я не хотел вам даваться. Потом я пришел в себя... Постойте... (*Он бросается к окну.*) У меня ни пороху, ни пуль.

Ставрогин. Не выкидывайте, зачем? Он денег стоит, а завтра люди начнут говорить, что у Шатова под

окном валяются револьверы. Положите опять, вот так... Я и теперь не примириться пришел, а говорить о необходимом. Разъясните мне, во-первых, вы меня ударили не за связь мою с вашей женой?

Ш а т о в. Вы сами знаете, что нет.

С т а в р о г и н. Стало быть, и я угадал, и вы угадали. Вы правы: Марья Тимофеевна Лебядкина — моя законная, обвенчанная со мною жена, в Петербурге, года четыре с половиной назад. Ведь вы меня за нее ударили?

Ш а т о в. Я угадал и не верил...

С т а в р о г и н. И ударили?

Ш а т о в. Я за ваше падение... за ложь. Я за то, что вы так много значили в моей жизни... Я...

С т а в р о г и н. Понимаю, понимаю, берегите слова. Мне жаль, что вы в жару; у меня самое необходимое дело.

Ш а т о в. Я слишком долго вас ждал... Говорите ваше дело, я тоже скажу... потом...

С т а в р о г и н. По некоторым обстоятельствам я принужден был сегодня же выбрать такой час и идти к вам предупредить, что, может быть, вас убьют.

Ш а т о в. Вам-то почему это может быть известно?

С т а в р о г и н. Потому что я тоже принадлежу к ним, как и вы...

Ш а т о в. Вы... вы член общества?

С т а в р о г и н. Я по глазам вашим вижу, что вы всего от меня ожидали, только не этого. Но позвольте, стало быть вы уже знали, что на вас покушаются?

Ш а т о в (*горячо*). Я их не боюсь! Я с ними разорвал... Что ж, собственно, вам тут известно?

С т а в р о г и н (*холодно*). Вы экзаменуете, что мне известно? Мне известно, что вы вступили в это общество за границей, два года тому назад, и еще при старой его организации, как раз пред вашей поездкой в Америку...

Ш а т о в. Продолжайте, пожалуйста...

С т а в р о г и н. В Америке вы переменяли ваши мысли и, возвратясь в Швейцарию, хотели отказаться. Они вам ничего не ответили, но поручили принять здесь, в России, от кого-то какую-то типографию и хранить ее до сдачи лицу, которое к вам от них явится. Вы же, в надежде или под условием, что это будет последним их требованием и что вас после того отпустят совсем, взялись. Но вот чего вы, кажется, до сих пор не знаете: эти господа вовсе не намерены с вами расстаться.

Ш а т о в. Я объявил честно, что я расхожусь с ними во всем! Это мое право, право совести и мысли... Я не потерплю! Нет силы, которая бы могла...

С т а в р о г и н. Вы не кричите. Этот Верховенский такой человек, что, может быть, нас теперь подслушивает, своим или чужим ухом. Даже пьяница Лебядкин чуть ли не обязан был за вами следить, а вы, может быть, за ним, не так ли?

Ш а т о в. Если б я и был шпион, то кому доносить? Нет, оставьте меня, к чёрту меня! Вы, вы, Ставрогин, как могли вы затереть себя в такую бесстыдную, бездарную лакейскую нелепость!

С т а в р о г и н. Извините, но вы, кажется, смотрите на меня как на какое-то солнце, а на себя как на какую-то букашку сравнительно со мной.

Ш а т о в. Вы... вы знаете... Ах, бросим лучше обо мне совсем, совсем! Если можете что-нибудь объяснить о себе, то объясните...

С т а в р о г и н. С удовольствием. Я отчасти участвовал в переорганизации общества по новому плану, и только. Но они теперь одумались и решили про себя, что и меня отпустить опасно, и, кажется, я тоже приговорен.

Ш а т о в. О, у них всё смертная казнь и всё на предписаниях, на бумагах с печатями, три с половиной человека подписывают. И вы верите, что они в состоянии!

С т а в р о г и н. Тут отчасти вы правы, отчасти нет. Сомнения нет, что много фантазии, как и всегда в этих случаях: кучка преувеличивает свой рост и значение. Что же касается до их здешних намерений, то ведь движение нашей русской организации такое дело темное и почти всегда такое неожиданное, что действительно у нас всё можно попробовать. Заметьте, что Верховенский человек упорный.

Ш а т о в. Этот клоп, невежда, дуралей, не понимающий ничего в России!

С т а в р о г и н. Вы его мало знаете. Он очень в состоянии спустить курок. Они уверены, что я тоже шпион. Все они, от неуменья вести дело, ужасно любят обвинять в шпионстве.

Ш а т о в. Но ведь вы не боитесь?

С т а в р о г и н. Н-нет... Я не очень боюсь... Но ваше дело совсем другое. И не на таких, как мы с вами, у них подымалась рука. А впрочем, четверть двенадцатого. Мне хотелось бы сделать вам один совсем посторонний вопрос.

Ш а т о в *(в волнении)*. Делайте, делайте ваш вопрос, ради Бога. Но с тем, что и я вам сделаю вопрос. Я умоляю, что вы позволите... я не могу... делайте ваш вопрос!

С т а в р о г и н *(после паузы)*. Я слышал, что вы имели здесь некоторое влияние на Марью Тимофеевну... Так ли это?

Ш а т о в. Да...

С т а в р о г и н. Я имею намерение на этих днях публично объявить здесь в городе о браке моем с нею.

Ш а т о в *(почти в ужасе)*. Разве это возможно?

С т а в р о г и н. Тут нет никаких затруднений; свидетели брака здесь. Всё это произошло тогда в Петербурге совершенно законным и спокойным образом, а если не обнаруживалось до сих пор, то потому только, что двое единственных свидетелей брака, Кириллов и Петр Верховенский, и, наконец, сам Лебядкин (которого

я имею удовольствие считать теперь моим родственником) дали тогда слово молчать.

Ш а т о в (*закрывая лицо руками*). Знаете ли, знаете ли вы по крайней мере, для чего вы всё это наделали и для чего решаетесь на такую кару теперь?

С т а в р о г и н. Я с прискорбием вижу, что вы в лихорадке.

Ш а т о в. Я уважения прошу к себе, требую! Оставьте ваш тон и возьмите человеческий. Я не для себя, а для вас. Понимаете ли, что вы должны простить мне этот удар по лицу уже по тому одному, что я дал вам случай познать при этом вашу беспредельную силу... Опять вы улыбаетесь вашею брезгливою светскою улыбкой. О, когда вы поймете меня!

С т а в р о г и н. Позвольте, однако, напомнить, что я начал было целую к вам просьбу насчет Марьи Тимофеевны... И вы мне не дали докончить.

Ш а т о в. Э, ну, вздор, потом!.. Вы атеист? Теперь атеист?

С т а в р о г и н. Да.

Ш а т о в. Если бы веровали!? Не вы ли говорили мне, что если бы математически доказали вам, что истина вне Христа, то вы бы согласились лучше остаться с Христом, нежели с истиной? Говорили вы это? Говорили?

С т а в р о г и н. Но позвольте же и мне, наконец, спросить, к чему ведет весь этот нетерпеливый и... злобный экзамен?

Ш а т о в. Я глуп и неловок, но погибай мое имя в смешном! Дозволите ли вы мне повторить пред вами всю главную вашу тогдашнюю мысль... О, только десять строк, одно заключение.

С т а в р о г и н. Повторите, если только одно заключение...

Ш а т о в (*прямо в зал*). Ни один народ еще не устраивался на началах науки и разума; не было ни разу такого примера, разве на одну минуту, по глупости. Со-

циализм по существу своему уже должен быть атеизмом, ибо именно провозгласил, с самой первой строки, что он установление атеистическое и намерен устроиться на началах науки и разума исключительно. Разум и наука в жизни народов всегда, теперь и с начала веков, исполняли лишь должность второстепенную и служебную; так и будут исполнять до конца веков. Народы слагаются и движутся силой иною, повелевающею и господствующею, но происхождение которой неизвестно и необъяснимо. Эта сила есть сила неутолимого желания дойти до конца и в то же время конец отрицающая. Это есть сила непрерывного и неустанного подтверждения своего бытия и отрицания смерти... «Искание Бога» — как называю я всего проще. Цель всего движения народного, во всяком народе и во всякий период его бытия, есть единственно лишь искание Бога, Бога своего, непременно собственного, и вера в Него как в Единого Истинного. Бог есть синтетическая личность всего народа, взятого с начала его и до конца. Никогда еще не было, чтоб у всех или у многих народов был один общий Бог, но всегда и у каждого был особый. Признак уничтожения народностей, когда боги начинают становиться общими... Чем сильнее народ, тем особеннее его Бог. Никогда не было еще народа без религии, то есть без понятия о зле и добре... Никогда разум не в силах был определить зло и добро, или даже отделить зло от добра, хотя приблизительно; напротив, всегда позорно и жалко смешивал; наука же давала разрешения кулачные. В особенности этим отличалась полунаука, самый страшный бич человечества, хуже мора, голода и войны, не известный до нынешнего столетия. Полунаука — это деспот, каких еще не приходило до сих пор никогда. Деспот, имеющий своих жрецов и рабов, деспот, пред которым всё преклонилось с любовью и с суеверием, до сих пор немислимым, пред которым трепещет даже сама наука и постыдно потакает ему. Всё это ваши собственные слова...

С т а в р о г и н (*после долгой паузы*). Я хотел... узнать: веруете вы сами в Бога или нет?

Ш а т о в (*взволнованно*). Я верую в Россию... Я верую в Тело Христово... Я верую, что новое пришествие совершится в России... Я верую...

С т а в р о г и н (*жёстко*). А в Бога? В Бога?

Ш а т о в (*твёрдо, почти в исступлении*). Я... я буду веровать в Бога. Но погибай мое имя!.. Я человек без таланта и могу только отдать свою кровь и ничего больше, как всякий человек без таланта. Погибай же и моя кровь! Я об вас говорю, я вас два года здесь ожидал... Вы, вы одни могли бы поднять это знамя!..

С т а в р о г и н. Почему это мне все навязывают какое-то знамя? Петр Верховенский тоже убежден, что я мог бы «поднять у них знамя», по крайней мере мне передавали его слова. Он задался мыслию, что я мог бы сыграть для них роль Стеньки Разина «по необыкновенной способности к преступлению», — тоже его слова.

Ш а т о в. Как? «По необыкновенной способности к преступлению»?

С т а в р о г и н. Именно.

Ш а т о в. Вы бледнеете?

С т а в р о г и н. Я, однако, вас не убил... в то утро... а взял обе руки назад...

Ш а т о в. Договаривайте, договаривайте!.. Разве я не буду целовать следов ваших ног, когда вы уйдете? Я не могу вас вырвать из моего сердца, Николай Ставрогин!

С т а в р о г и н (*тихо*). Я к вам больше не приду, Шатов. (*Гасит свечу в его руках.*)

Шаги Ставрогина удаляются в ночи. Дождь всё сильнее. Слышатся разрозненные звуки спящего города. Затем происходит легкая возня в темноте. Свет неожиданно распахнувшейся двери выхватывает из тьмы столкнувшихся вплотную СТАВРОГИНА и ЛЕБЯДКИНА. Дальнейший разговор происходит у дворового столика, на который Лебядкин ставит фонарь.

Лебядкин. Это вы-с? Вы-с?

Ставрогин. Я.

Лебядкин. Наконец-то-с! Пожалуйте зонтичек... милости просим, милости просим.

Ставрогин (*смотрит на часы*). Три четверти первого...

Лебядкин. Часов у меня нет, а из окна одни огороды, так что... отстаешь от событий... но, собственно, не в ропот, а единственно лишь от нетерпения, съедаемого всю неделю...

Ставрогин. Как?

Лебядкин. Судьбу свою услышать, Николай Всеволодович.

Ставрогин. Гм...

Лебядкин. Вот-с, живу Зосимой. Трезвость, уединение и нищета — обет древних рыцарей.

Ставрогин. Вы полагаете, что древние рыцари давали такие обеты?

Лебядкин. Может быть, сбился? Увы, мне нет развития! Всё погубил. А что я был, чем я был? Ночью дюю без ночлега, днем же высунув язык, — по гениальному выражению поэта!.. Не угодно ли будет чаю?

Ставрогин. Не беспокойтесь. Скажите, Марья Тимофеевна...

Лебядкин. Здесь, здесь, угодно будет взглянуть?

Ставрогин. Не спит?

Лебядкин. О нет, нет, возможно ли? Напротив, еще с самого вечера ожидает...

Ставрогин. Как она вообще?

Лебядкин (*сожалительно*). Сами изволите знать, а теперь... теперь сидит в карты гадает...

Ставрогин. Хорошо, потом; сначала надо кончить с вами. Я вижу, что вы вовсе не переменялись, капитан, в эти с лишком четыре года.

Лебядкин. Высокие слова! Вы разрешаете загадку жизни! Вы еще в Петербурге высказали: «Нужно

быть действительно великим человеком, чтобы суметь устоять даже против здравого смысла». Вот-с!

С т а в р о г и н. Ну, равно и дураком.

Л е б я д к и н. Так-с, пусть и дураком, но вы всю жизнь вашу сыпали остроумием, а они? Пусть Петр Степанович хоть что-нибудь подобное изрекут! О, как жестоко поступал со мной Петр Степанович!..

С т а в р о г и н. Но ведь и вы, однако же, капитан, как сами-то вы вели себя?

Л е б я д к и н. Пьяный вид и к тому же бездна врагов моих! Но теперь всё, всё проехало, и я обновляюсь, как змей. Знаете ли, что я пишу мое завещание?

С т а в р о г и н. Любопытно. Что же вы оставляете и кому?

Л е б я д к и н (с *пафосом*). Отечеству, человечеству и студентам. Я прочел в газетах биографию об одном американце. Он оставил всё свое огромное состояние на фабрики, на положительные науки, свой скелет студентам, в тамошнюю академию, а свою кожу на барабан, с тем чтобы денно и ночью выбивать на нем американский национальный гимн. Увы, мы пигмеи сравнительно с полетом мысли Северо-Американских Штатов. Попробуй я завещать мою кожу на барабан, примерно в Акмолинский пехотный полк, в котором имел честь начать службу, с тем чтобы каждый день выбивать на нем пред полком русский национальный гимн, сочтут за либерализм, запретят мою кожу... и потому ограничился одними студентами. Вот-с!

С т а в р о г и н. Вы, стало быть, намерены опубликовать ваше завещание?

Л е б я д к и н. А хоть бы и так? Ведь судьба-то моя какова! Даже стихи перестал писать... Написал только одно стихотворение, как Гоголь «Последнюю повесть». Так и я, пропел, и баста.

С т а в р о г и н. Какое же стихотворение?

Л е б я д к и н. «В случае, если б она сломала ногу»!

С т а в р о г и н. Что-о?

Лебядкин. «В случае, если б она сломала ногу», то есть в случае верховой езды. Фантазия, Николай Всеволодович, бред, но бред поэта...

Ставрогин. Вы, кажется, предлагали себя в женихи?

Лебядкин. Враги, враги и враги!

Ставрогин (*сурово*). Скажите стихи.

Лебядкин (*встает в позу*). «Краса красот сломала член И интересней вдвое стала, И вдвое сделался влюблен Влюбленный уж немало».

Ставрогин. Ну, довольно!

Лебядкин. Мечтаю о Питере, мечтаю о возрождении... Благодетель! Могут ли рассчитывать...

Ставрогин. Ну, нет, уж извините, у меня совсем почти не осталось средств, да и зачем мне вам деньги давать?.. К тому же на днях, может быть даже завтра или послезавтра, я намерен свой брак сделать повсеместно известным, как полиции, так и обществу, а, стало быть, кончится сам собою и вопрос о фамильном достоинстве, а вместе с тем и вопрос о моих вам субсидиях.

Лебядкин (*потерянно*). Но ведь она... полоумная? А я-то как же?

Ставрогин. Ну, разумеется, вы не войдете в дом.

Лебядкин. Вы, может быть, шутите-с, Николай Всеволодович?

Ставрогин. Вы ужасно глупы, капитан.

Лебядкин. Прежде за ее службу там в углах по крайней мере нам квартиру давали, а теперь что же будет, если вы меня совсем бросите?

Ставрогин. Кстати, правда, я слышал, что вы намерены ехать в Петербург с доносом, в надежде получить прощение, объявив всех других?

Лебядкин (*ошарашенно*). Нет-с, ничего не успел и... не думал...

С т а в р о г и н. Если не писали, то не сболтнули ли чего-нибудь кому-нибудь здесь?

Л е б я д к и н (*растерянно*). В пьяном виде Липути-ну... Я открыл ему сердце.

С т а в р о г и н. Сердце сердцем, но не надо же быть и дуралеем. Нынче умные люди молчат, а не разговаривают.

Л е б я д к и н. Николай Всеволодович, посудите, посудите!.. Увлёкся спервоначалу, просто по дружбе, как верный студент, хотя и не будучи студентом. Разбрасывал разные бумажки на лестницах, оставлял десятками у дверей, у звонков, засовывал вместо газет, в театр проносил, в шляпы совал, в карманы пропускал. А потом и деньги стал от них получать, потому что средства-то, средства-то мои каковы-с!.. Здесь провозглашал свободу социальной жены... В июне опять разбрасывал. Говорят, еще заставят... Петр Степанович вдруг дает знать, что я должен слушаться; давно уже угрожает. Ведь как он в воскресенье тогда поступил со мной! Николай Всеволодович, я раб, я червь, но не Бог, тем только и отличаюсь от Державина. Но ведь средства-то, средства-то мои каковы!

С т а в р о г и н. В Петербург вас, конечно, не пустят, хотя б я вам и дал денег на поездку... а впрочем, к Марье Тимофеевне пора.

Л е б я д к и н. Неужели вы меня так и сбросите, как старый изношенный сапог?

С т а в р о г и н (*смеется*). Я посмотрю.

Л е б я д к и н (*воспрянул духом*). Не прикажете ли, я на крыльчке постою-с... чтобы как-нибудь невзначай чего не подслушать...

С т а в р о г и н. Это дело; по стойте на крыльце. Возьмите зонтик.

Л е б я д к и н (*сладко*). Зонтик, ваш... стбит ли для меня-с?

С т а в р о г и н. Зонтика всякий стбит.

Лебядкин (*восторженно*). Разом определяете minimum прав человеческих... Сюда пожалуйте... (*Берет со стола и передает ему фонарь, тут же выпадая из полосы света.*)

Одинокий фонарь некоторое время блуждает в темноте под унылый шум дождя. Затем освещается крохотная комната, где перед зеркалом-столом прихорашивается МАРЬЯ ТИМОФЕЕВНА.

Ставрогин (*входя и ставя фонарь на колченогий стол*). Виноват, напугал я вас, Марья Тимофеевна...

Марья Тимофеевна (*тревожно оборачивается*). Здравствуйте, князь.

Ставрогин (*ласково*). Должно быть, сон дурной видели?

Марья Тимофеевна (*испуганно*). А вы почему узнали, что я про это сон видела?..

Ставрогин. Оправьтесь, полноте, чего бояться, неужто вы меня не узнали?

Марья Тимофеевна. Слушайте, князь... Слушайте, князь, как сказали вы мне тогда в карете, что брак будет объявлен, я тогда же испугалась, что тайна кончится. Теперь уж и не знаю; всё думала и ясно вижу, что совсем не гожусь. Нарядиться сумею, принять тоже, пожалуй, могу: эка беда на чашку чая пригласить, особенно коли есть лакеи. Но ведь все-таки как посмотрят со стороны. Конечно, с графини требуются только душевные качества, — потому что для хозяйственных у ней много лакеев, — да еще какое-нибудь светское кокетство, чтоб уметь принять иностранных путешественников.

Ставрогин (*криво*). Не бойтесь и не тревожьтесь.

Марья Тимофеевна (*словно просыпаясь*). Вы-то, спрашивается, зачем появились, скажите пожалуйста?

Ставрогин. Вы за что-то очень сердитесь, уж не боитесь ли, что я вас разлюбил?

Марья Тимофеевна. Я сама боюсь, чтобы кого очень не разлюбить. (*Задумчиво.*) Виновата я, должно быть, перед *ним* в чем-нибудь очень большом. Вот не знаю только, в чем виновата, вся в этом беда моя век. Молюсь я, бывало, молюсь и всё думаю про вину мою великую пред ним. Ан вот и вышло, что правда была.

Ставрогин. Да что с вами?

Марья Тимофеевна (*снова в полузабытье*). Я прошу вас, князь, встаньте и войдите.

Ставрогин. Как войдите? Куда я войду?

Марья Тимофеевна. Я все пять лет только и представляла себе, как *он* войдет. Встаньте сейчас и уйдите за дверь, в ту комнату. Я буду сидеть, как будто ничего не ожидая, и возьму в руки книжку, и вдруг вы войдите после пяти лет путешествия. Я хочу посмотреть, как это будет.

Ставрогин (*нетерпеливо ударяя ладонью по столу*). Довольно. Прошу вас, Марья Тимофеевна, меня выслушать. Сделайте одолжение, соберите, если можете, всё ваше внимание. Не совсем же ведь вы сумасшедшая! Завтра я объявляю наш брак. Хотите жить со мною всю жизнь, но только очень отсюда далеко?

Марья Тимофеевна (*опять прозревая*). А вы что такое, чтоб я с вами ехала? Ишь подъехал. Нет, не может того быть, чтобы сокол филином стал. Не таков мой князь!

Ставрогин. С чего вы меня князем зовете и... за кого принимаете?

Марья Тимофеевна. Как? разве вы не князь?

Ставрогин. Никогда им и не был.

Марья Тимофеевна. Господи! Всего от врагов *его* ожидала, но такой дерзости — никогда! (*Надвигается на гостя.*) Жив ли он? Убил ты его или нет, признавайся!

Ставрогин. За кого ты меня принимаешь?

Марья Тимофеевна. Весь ваш обман насквозь вижу, всех вас, до одного, понимаю!.. Похож-то ты очень похож. Только мой — ясный сокол и князь, а ты — сыч и купчишка! Мой-то и Богу, захочет, поклонится, а захочет, и нет, а тебя Шатушка (милый он, родимый, голубчик мой!) по щекам отхлестал. Как увидела я твое низкое лицо, когда упала, а ты меня подхватил, — точно червь ко мне в сердце заполз: не он, думаю, не он! О Господи! да я уж тем только была счастлива, что сокол мой где-то там, за горами живет и летает, на солнце взирает... Говори, самозванец, много ли взял? За большие ли деньги согласился? Я бы гроша тебе не дала. Ха-ха-ха! Прочь, самозванец! Я моего князя жена! *(Надвигаясь на него, Марья Тимофеевна задевает ветхий стол, валит его, свет гаснет. И уже в полной тьме она исступленно кричит.)* Гришка От-репьев а-на-фе-ма!

КАРТИНА ЧЕТВЕРТАЯ

У ЮРОДИВОГО

Губернское общество почти в полном составе; мы видим ВСЕХ ОСНОВНЫХ ГЕРОЕВ спектакля, сидящих, словно в седлах, на кончиках перевернутых вверх ножками столов; они скачут по кругу сцены, сопровождаемые зычным басом ФЛИБУСТЬЕРОВА: «Посторони-ись! Посторони-ись! Посторони-ись». Яркая кавалькада исходит праздничным возбуждением.

А в т о р *(выделяясь из общего строя)*. Два дня спустя все отправлялись за реку, в дом купца Севостьянова, у которого во флигеле, вот уж лет с десять, проживал на покое, в довольстве и в холе, известный не только у нас, но и по окрестным губерниям и даже в столицах Семен Яковлевич, наш блаженный и пророчествующий.

БЕСЫ

Пестрая ватага вваливается в комнату ЮРОДИВОГО. Тот сидит на полу, поджав под себя ноги, в клетушке, отгороженной тремя поставленными «на попу» столами. Вокруг него, прислуживая ему, вертится ФЕДЬКА КАТОРЖНЫЙ в монашеском одеянии.

Ю л и я М и х а й л о в н а. Семен Яковлевич, скажите мне что-нибудь, я так давно желала с вами познакомиться.

Ю р о д и в ы й (*тычет в нее пальцем*). Внакладку!

Ю л и я М и х а й л о в н а (*пьет поднесенный ей Федькой стакан, давится*). Господи!

Ю р о д и в ы й. Еще сахару!

На помощь губернаторше спешит одна из дам.

Д а м а. Батюшка! Семен Яковлевич! Благодати ожидаю. Изреките!

Ю р о д и в ы й (*Федьке*). Спроси.

Ф е д ь к а. Исполнили ли то, что приказал в прошлый раз Семен Яковлевич?

Д а м а. Исполнила, батюшка.

Ю р о д и в ы й. Дать ей.

Федька бросается исполнять приказание, принося и подавая даме целую голову сахара.

Д а м а. Куда мне столько!

Ю р о д и в ы й. Еще, еще!

Федька обкладывает даму сахарными головами.

Д а м а. Да уж не пророчество ли какое?..

П е р в ы й г о л о с. Так и есть, пророчество.

В т о р о й г о л о с. Господи, Господи! Видимое пророчество!

Ю р о д и в ы й. Еще ей фунт, еще!

Т р е т ь и й г о л о с. Усладите вперед сердце ваше добротой и милостию... вот что, должно полагать, означает эмблема сия.

Ю р о д и в ы й. Одну отнять, отними!

Федька исполняет приказ.

Ю р о д и в ы й. Гони, гони!

Выталкиваемый остальными, вперед выдвигается ЛЯМШИН.

Л я м ш и н. Семен Яковлевич, видел я во сне птицу, галку, вылетела из воды и полетела в огонь. Что сей сон значит?

Ю р о д и в ы й (не замечая его, тычет пальцем в сторону стоящего у двери Флибустьерова). Спроси!

Ф е д ь к а (скаля зубы, подступает к приставу). Чем согрешили? И не велено ль было чего исполнить?

Ф л и б у с ь е р о в (угрюмо). Не драться, рукам воли не давать.

Ф е д ь к а. Исполнили?

Ф л и б у с ь е р о в. Не могу выполнить, собственная сила одолевает.

Ю р о д и в ы й. Гони, гони! Метлой его, метлой!

Флибустьерова заталкивают в толпу.

Ф е д ь к а (поднимает с полу монету). На месте златницу оставили.

Ю р о д и в ы й (указывает на Липутина). Вот кому!

Ф е д ь к а (прячет монету за пазуху). Злато к злату.

Ю р о д и в ы й (кивает на Автора). А этому внакладку.

Федька бросается исполнять распоряжение, но в это время вперед протискивается ВИРГИНСКАЯ.

В и р г и н с к а я. Семен Яковлевич, неужто не «изречёте» и мне чего-нибудь? А я так много на вас рассчитывала.

Ю р о д и в ы й. Кол в тебя, мать твою так!..

Поднимается визг и шум, дамы бросаются к выходу, мужчины торопятся следом за ними. Последними у выхода оказываются Ставрогин и Лиза. На пороге они сталкиваются, некоторое время смотрят друг на друга, Лиза поднимает руку словно для удара, но в последнее мгновение Николай Всеволодович перехватывает ее руку и приникает губами к тыльной стороне ладони.

Ю р о д и в ы й (в наступающей темноте). Миловзоры, миловзоры!.. К морозу это! Гони их, Федька!

Грохочет гром, и затем молния рассекает темь. Слышен гул грозового ливня.

Г о л о с (читает из «Откровения святого Иоанна Богослова»). Побеждающий наследует всё, и буду ему Богом, и он будет Мне сыном; боязливых же и неверных, и скверных и убийц, и любодеев и чародеев, и идолослужителей и всех лжецов — участь в озере, горящем огнем и серою; это — смерть вторая.

Ч А С Т Ь В Т О Р А Я

КАРТИНА ПЯТАЯ

У Н А Ш И Х

Трубит петух на монастырской башне. Медленно освещается перспектива лубочного города. В глубине затемненной сцены, каждый за своим столиком, сидят основные герои романа: МАРЬЯ ТИМОФЕЕВНА, ШИГАЛЕВ, КИРИЛЛОВ, ВИРГИНСКИЙ, ВИРГИНСКАЯ, ТОЛКАЧЕНКО, ЛЯМШИН, ЛЕБЯДКИН, ОБА ЛЕМБКЕ, ЛИПУТИН, ПЕТР ВЕРХОВЕНСКИЙ, СТАВРОГИН и другие. По просцениуму, под немецкий строевой марш, движется торжественная процессия: ФЕДЬКА КАТОРЖНЫЙ, в солдатской форме, толкает впереди себя тачку, нагруженную рукописями и книгами, покрытыми сверху фартуком, за ним — ФЛИБУСТЬЕРОВ, замыкает шествие БЛЮМ с конторской папкой под мышкой. Как только ОНИ исчезают, появляется СТЕПАН ТРОФИМОВИЧ. Изумленно озираясь, ОН спешит следом за ними. В глубине сцены загорается свет над столиком АВТОРА.

А в т о р (читает раскрытое перед ним Евангелие). «Тут на горе паслось большое стадо свиней, и они просили Его, чтобы позволил им войти в них. Он позволил им. Бесы, вышедши из человека, вошли в свиней; и бросилось стадо с крутизны в озеро и потонуло. Пастухи, уви-

дя случившееся, побежали и рассказали в городе и по деревням. И вышли *жители* смотреть случившееся и, пришедши к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисусовых одетого и в здравом уме, и ужаснулись. Видевшие же рассказали им, как исцелился бесновавшийся».

Вполне допустимо, чтобы фоном авторскому чтению служила немая кинохроника, склеенная из современной документалистики.

Степан Трофимович. *Сher!* (*Бросается к Автору.*) Я к вам к одному... и никто ничего не знает. Надо велеть запереть двери и не впускать никого... Меня описали!

А в т о р. Не Блюм ли?

Степан Трофимович. Блюм. Именно он так и назвался... Я спал еще, и, вообразите, он попросил меня «взглянуть» на мои книги и рукописи... Он меня не арестовал, а только книги... Само собою, я тотчас всё понял. Я ему отпер все ящики и передал все ключи... Из книг он взял заграничные издания Герцена, переплетенный экземпляр «Колокола», четыре списка моей поэмы... Затем бумаги и письма... Солдат в тачке сvez и фартуком накрыли... Боже мой, фартуком!

А в т о р. Степан Трофимович, ведь это сон, что вы рассказываете!

Степан Трофимович (*всплескивая руками*). Вот придут, возьмут, и фью — исчез человек!

А в т о р. Господи! Кто придет? Кто вас возьмет!

Степан Трофимович (*словно не слыша*). Тут, наверно, телеграмма из Петербурга была.

А в т о р. Телеграмма! Про вас? Это за сочинения-то Герцена да за вашу поэму, с ума вы сошли, да за что тут арестовывать?

Степан Трофимович (*загадочно*). Кто может знать в наше время, за что его могут арестовать?

А в т о р (*горячо*). Степан Трофимович, скажите мне, как другу, как истинному другу, я вас не выдам:

принадлежите вы к какому-нибудь тайному обществу или нет?

Степан Трофимович (с важной таинственностью). Ведь как это считать...

Автор. Как «как считать»?

Степан Трофимович (гордо). Когда принадлежишь всем сердцем прогрессу и... кто может заручиться: думаешь, что не принадлежишь, ан, смотришь, окажется, что к чему-нибудь и принадлежишь.

Автор. Как это можно, тут — да или нет?

Степан Трофимович (вспоминавая). Когда-то мы с нею хотели там основать журнал. Вот где корень. Мы тогда ускользнули, и они нас забыли, а теперь вспомнили. Cher, cher, разве вы не знаете! У нас возьмут, посадят в кибитку, и марш в Сибирь на весь век, или забудут в каземате...

Свет над ним гаснет. Автор снова остается наедине с залом.

Автор. Скажу прямо: Степан Трофимович постоянно играл между нами некоторую особую и, так сказать, гражданскую роль и любил эту роль до страсти, — так даже, что, мне кажется, без нее и прожить не мог. Не то чтоб уж я его приравнивал к актеру на театре: сохрани Боже, тем более что сам его уважаю. Тут всё могло быть делом привычки, или, лучше сказать, беспрерывной и благородной склонности, с детских лет, к приятной мечте о красивой гражданской своей постановке. Он, например, чрезвычайно любил свое положение «гонимого» и, так сказать, «ссылного»... В свое время в Москве схвачена была поэма Степана Трофимовича, ходившая по рукам, в списках, между двумя любителями и у одного студента. Я в прошлом году предлагал Степану Трофимовичу ее напечатать, за совершенную ее, в наше время, невинностью, но он отклонил предложение с видимым неудовольствием. Мнение о совершенной невинности ему не понравилось, и я даже приписываю тому некоторую холодность его со мной, продолжавшуюся целых два месяца. И что же? Вдруг, и

почти тогда же как я предлагал напечатать здесь, — печатают нашу поэму там, то есть за границей, в одном из революционных сборников, и совершенно без ведома Степана Трофимовича. Он был сначала испуган, бросился к губернатору и написал благороднейшее оправдательное письмо в Петербург, читал мне его два раза, но не отправил, не зная, кому адресовать. Одним словом, волновался целый месяц; но я убежден, что в таинственных изгибах своего сердца был польщен необыкновенно. Он чуть не спал с экземпляром доставленного ему сборника, а днем прятал его под тюфяк и даже не пускал женщину перестилать постель, и хоть ждал каждый день откуда-то какой-то телеграммы, но смотрел свысока. Телеграммы никакой не пришло. Тогда же он и со мной примирился, что и свидетельствует о чрезвычайной доброте его тихого и незлопамятного сердца... Мало-помалу около него утвердился кружок приятелей, впрочем, постоянно небольшой. Одно время в городе передавали о нас, что кружок наш — рассадник вольнодумства, разврата и безбожия; да и всегда крепился этот слух. А между тем у нас была одна самая невинная, милая, вполне русская веселенькая либеральная болтовня. На освещенную середину сцены Липутин выдвигает свой столик, утверждает за ним.

Л и п у т и н (указательным пальцем проводит вокруг своей шеи). А жаль, если господам помещикам бывшие их крепостные и в самом деле нанесут на радостях некоторую неприятность.

С т е п а н Т р о ф и м о в и ч (вплотную придвигая свой столик к авторскому). Я в Бога верую, я верую, как в Существо, Себя лишь во мне сознающее. Не могу же я веровать, как моя Настасья (служанка)...

Ш а т о в (присоединяясь к ним). Вот почему и вы все и мы все теперь — или гнусные атеисты, или равнодушная, развратная дрянь, и ничего больше!

К и р и л л о в (тоже присоединяясь). Если Бог есть,

то вся воля Его, и из воли Его я не могу. Если нет, то вся воля моя, и я обязан заявить своеволие.

Лебядкин (*вполъяна, придвигая свой столик*). Если Бога нет, то какой же я капитан!

Постепенно из придвигаемых вплотную столиков образуется один большой стол. По обе стороны сцены, друг против друга, высвечиваются фигуры Петра Верховенского и Ставрогина. Тем временем стол посреди площадки всё увеличивается.

Верховенский (*комментируя появление каждого нового действующего лица*). Горячий народ. Книжки вынули, спорить собираются. Виргинский (*Тот кланяется в зрительный зал.*) — общечеловек. Липутин (*Делает то же самое.*) — фурьерист, при большой склонности к полицейским делам; а тот (*В сторону Шигалева.*), с длинными ушами, тот свою собственную систему прочитает... Ну, об остальных сами узнаете...

Ставрогин (*брезгливо*). Вы там каким-нибудь шефом меня представили?

Верховенский (*со смешком*). Нет, покамест не из высшей полиции. Довольно, пришли. Сочините-ка вашу физиономию, Ставрогин; я всегда сочиняю, когда к ним вхожу. Побольше мрачности, и только, больше ничего не надо; очень нехитрая вещь.

ОБА исчезают. Вынырнувший из темноты ФЕДЬКА КАТОРЖНЫЙ, всё в той же солдатской форме, накрывает сдвинутые в один столики ярко-кумачовой скатертью, ставит фонарь, отступает в полумрак. Мы почти не замечаем, как постепенно ступиваются, отступают на задний план, все недавние члены кружка Степана Трофимовича вместе со своим маститым наставником. Новые люди и новые лица теснятся вокруг стола, над которым виснет сизый папиросный дым. Входят ВЕРХОВЕНСКИЙ и СТАВРОГИН. Эркель мгновенно вытягивается по стойке «смирно».

Виргинская (*обозначаясь на председательском месте, к вошедшим гостям*). Ставрогин, до вас тут кричали сейчас о правах семейства, — вот этот офицер. (*Ки-*

вает на родственника своего, майора.) И уж, конечно, не я стану вас беспокоить таким старым вздором, давно порешенным. Но откуда, однако, могли взяться права и обязанности семейства в смысле того предрассудка, в котором теперь представляются? Вот вопрос. Ваше мнение?

Ставрогин (ошарашенно). Как откуда могли взяться?

Студентка (вскакивая и краснея от волнения). То есть мы знаем, например, что предрассудок о Боге произошел от грома и молнии. Но откуда произошел предрассудок о семействе? Откуда могло взяться само семейство?

Офицер (стукнув кулаком по столу, к Ставрогину). Вот все они так! Нет-с, позвольте, я либерализм и современность люблю и люблю послушать умные разговоры, но, предупреждаю — от мужчин. Но от женщин, но вот от современных этих разлетаек — нет-с, это боль моя!

Виргинская (оскорбленно поджимая губы). Вы только мешаете другим, а сами ничего не умеете сказать.

Офицер (с горячностью). Нет, уж я выскажу! Я на вас, господин Ставрогин, как на нового вошедшего человека рассчитываю, хотя и не имею чести вас знать. Без мужчин они пропадут, как мухи, — вот мое мнение. Весь их женский вопрос это — один только недостаток оригинальности... Вот-с, я ее на руках носил, с ней, десятилетней, мазурку танцевал, сегодня она приехала, натурально лечу обнять, а она мне со второго слова объявляет, что Бога нет. Да хоть бы с третьего, а не со второго, а то спешит! Ну, положим, умные люди не веруют, так ведь это от ума, а ты-то, говорю, пузырь, ты что в Боге понимаешь? Ведь тебя студент научил, а научил бы лампадки зажигать, ты бы и зажигала... Дурьнда!

Студентка. А вы дурак.

Офицер. Ругайся!

Л и п у т и н. Но позвольте, Капитон Максимович, ведь вы сами же говорили мне, что в Бога не веруете.

О ф и ц е р. Что ж, что я говорил, я другое дело! я, может, и верую, но только не совсем. Я хоть и не верую вполне, но все-таки не скажу, что Бога расстрелять надо. Я, еще в гусарах служба, насчет Бога задумывался. Во всех стихах принято, что гусар пьет и кутит; так-с, я, может, и пил, но, верите ли, вскочишь ночью с постели в одних носках и давай кресты крестить пред образом, чтобы Бог веру послал, потому что я и тогда не мог быть спокойным: есть Бог или нет? До того оно мне со-лоно доставалось! Утром, конечно, развлечешься, и опять вера как будто пропадает, да и вообще я заметил, что днем всегда вера несколько пропадает.

В е р х о в е н с к и й *(перебивает его, к хозяйке)*. А не будет ли у вас карт?

В и р г и н с к а я *(со значением)*. Теряется золотое время, слушая глупые разговоры.

С т у д е н т к а *(уничтожающе в сторону офицера)*. Я хотела заявить собранию о страдании и о протесте студентов, а так как время тратится в безнравственных разговорах...

Г и м н а з и с т *(вскакивает)*. Ничего нет ни нравственного, ни безнравственного!

С т у д е н т к а *(высокомерно)*. Это я знала, господин гимназист, гораздо прежде, чем вас тому научили.

В и р г и н с к а я *(устало, к мужу)*. Кончится ли это когда-нибудь?

В и р г и н с к и й. Господа, если бы кто пожелал начать о чем-нибудь более идущем к делу или имеет что заявить, то я предлагаю приступить, не теряя времени.

С т у д е н т к а. Я приехала заявить о страданиях несчастных студентов и о возбуждении их повсеместно к протесту... *(Осекается, заметив, что ее никто не слушает.)* У меня всё.

Ш и г а л е в (*поднимаясь на противоположном конце стола*). Прошу слова.

В и р г и н с к и й (*окончательно заняв место председателяствующего*). Имеете.

Ш и г а л е в. Господа! Посвятив мою энергию на изучение вопроса о социальном устройстве будущего общества, которым заменится настоящее, я пришел к убеждению, что все созидатели социальных систем, с древнейших времен до нашего года, были мечтатели, сказочники, глупцы, противоречившие себе, ничего ровно не понимавшие в естественной науке и в том странном животном, которое называется человеком. Платон, Руссо, Фурье, колонны из алюминия — всё это годится разве для воробьев, а не для общества человеческого... Когда все мы, наконец, собираемся действовать, чтоб уже более не задумываться, то я и предлагаю собственную мою систему устройства мира. Выходя из безграничной свободы, я заключаю безграничным деспотизмом. Прибавлю, однако ж, что кроме моего разрешения общественной формулы не может быть никакого.

Смех.

Г о л о с а. «Что он, помешанный, что ли?», «Довольно!», «Пусть продолжает, господа, это любопытно!», «Вотируем!»

Л я м ш и н (*поднимает руку, требуя тишины*). Тут, господа, не то-с. Господин Шигалев слишком серьезно предан своей задаче и притом слишком скромнен. Мне книга его известна. Он предлагает, в виде конечного разрешения вопроса — разделение человечества на две неравные части. Одна десятая доля получает свободу личности и безграничное право над остальными девятью десятыми. Те же должны потерять личность и обратиться вроде как в стадо и при безграничном повиновении достигнуть рядом перерождений первобытной невинности, вроде как бы первобытного рая, хотя, впрочем, и будут работать. Можно не согласиться с иными выводами, но в уме и знаниях автора усумниться трудно.

Ш и г а л е в. Я предлагаю рай, земной рай, и другого на земле быть не может!

Л я м ш и н. А я бы вместо рая взял бы этих девять десятых человечества, если уж некуда с ними деваться, и взорвал их на воздух, а оставил бы только кучку людей образованных, которые и начали бы жить-поживать по-ученому.

В е р х о в е н с к и й (*демонстративно чистит ногти, со значением поглядывая в сторону Ставрогина*). Однако порядочный вздор!

Л я м ш и н. Почему же вздор-с? Господин Шигалев отчасти фанатик человеколюбия.

В е р х о в е н с к и й (*отмахивается от него*). Ну, да я не для рассуждений приехал!

Л и п у т и н. Трудно осуществить, как и переделать мир пропагандой. Даже, может быть, и труднее, особенно если в России.

О ф и ц е р (*угрюмо*). На Россию-то теперь и надеются.

Л и п у т и н. Начнешь пропагандировать, так еще, пожалуй, язык отрежут.

В е р х о в е н с к и й (*жёстко*). Вам непременно отрежут. Но все-таки, если, несмотря на все явные невыгоды, которые вы предчувствуете, солдат на общее дело является всё больше и больше с каждым днем, то и без вас обойдется. Тут, батюшка, новая религия идет взамен старой, оттого так много солдат и является, и дело это крупное.

Происходит некоторое замешательство: повеяло важной новостью. Затем наступает настороженное молчание.

Л я м ш и н (*взрывается*). Нет-с, мы еще, может быть, и не уедем от общего дела! Это надо понимать-с...

В е р х о в е н с к и й (*резко*). Как так, вы разве пошли бы в пятерку, если б я вам предложил?

Л я м ш и н. Всякий чувствует себя честным человеком и не уклонится от общего дела, но...

Верховенский. Нет-с, тут уж дело не в но! Я объявляю, господа, что мне нужен прямой ответ. Я слишком понимаю, что я, прибыв сюда и собрав вас сам вместе, обязан вам объяснениями, но я не могу дать никаких, прежде чем не узнаю, какого образа мыслей вы держитесь. Минуя разговоры — потому что не тридцать же лет опять болтать, как болтали до сих пор тридцать лет, — я вас спрашиваю, что вам милее: медленный ли путь, состоящий в сочинении социальных романов и в канцелярском предрешении судеб человеческих на тысячи лет вперед на бумаге, или вы держитесь решения скорого... Я согласен совершенно, что либерально и красноречиво болтать чрезвычайно приятно, а действовать немного кусается... Ну, да впрочем, я говорить не умею; я прибыл сюда с сообщениями, а потому прошу всю почтенную компанию не то что вотировать, а прямо и просто заявить, что вам веселее: черепаший ли ход в болоте, или на всех парах через болото?

Гимназист (*в восторге*). Я положительно за ход на парах!

Лямшин. Я тоже.

Эркель (*жестко*). В выборе, разумеется, нет сомнения.

Офicer. Я, признаюсь, более принадлежу к решению гуманному, но так как уж все, то и я со всеми.

Верховенский. Господа, я вижу, что почти все решают...

Голоса:

— Все!

— Конечно, все!

— Конечно!

Верховенский. Господа, если так, то предложу ответить на один вопрос, разумеется, если захотите. Вся ваша полная воля.

Голоса:

— Какой вопрос?

— Вопрос?

— В чем дело?

Верховенский. А такой вопрос, что после него станет ясно: оставаться нам вместе или молча разобрать наши шапки и разойтись в свои стороны.

Г о л о с а :

— Вопрос!

— Просим вопрос!

Верховенский. Если бы каждый из нас знал о замышленном политическом убийстве, то пошел ли бы он донести, предвидя все последствия, или остался бы дома, ожидая событий? Ответ на вопрос скажет ясно — разойтись нам или оставаться вместе, и уже далеко не на один вечер. (К Лямшину.) Позвольте обратиться к вам первому?

Л я м ш и н (*растерянно*). Почему же ко мне первому?

Верховенский (*небрежно*). Впрочем, как хотите; ваша полная воля.

Л я м ш и н. Извините, но подобный вопрос даже обиден.

Верховенский (*грубо*). Нет уж, нельзя ли точнее.

Л я м ш и н. Агентом тайной полиции никогда не бывал-с.

Верховенский (*еще грубее*). Сделайте одолжение, точнее, не задерживайте. Да или нет? Донесли бы или не донесли?

Л я м ш и н (*почти кричит*). Разумеется, не донесу!

Г о л о с а :

— И никто не донесет!

— Разумеется, никто!

— Конечно!

Верховенский (*к офицеру*). Позвольте обратиться к вам, господин майор, донесли бы вы или не донесли? И заметьте, я нарочно к вам обращаюсь.

О ф и ц е р. Не донесу-с.

Г о л о с а :

— Напрасный вопрос!

— У всех один ответ.

— Здесь не доносчики.

С т у д е н т к а (*в сторону Шатова*). Отчего встает этот господин?

В и р г и н с к а я. Это Шатов. Отчего вы встали, Шатов?

Верховенский (*предостерегающе*). Шатов, ведь это для вас же невыгодно!

Ш а т о в (*уже при выходе, надевая шапку*). Зато тебе выгодно, как шпиону и подлецу! (*Выходит.*)

Г о л о с а:

— Вот она, проба-то!

— Пригодилась!

— Не поздно ли пригодилась-то?

— Кто его приглашал?

— Кто принял?

— Кто таков?

— Кто такой Шатов?

— Если бы доносчик, он бы прикинулся, а то он наплевал да и вышел.

С т у д е н т к а (*испуганно*). Вот и Ставрогин встает, Ставрогин тоже не отвечал на вопрос!

В и р г и н с к а я (*резко*). Позвольте, господин Ставрогин, мы все здесь ответили на вопрос, между тем как вы молча уходите?

С т а в р о г и н (*с откровенной издевкой*). Я не вижу надобности отвечать на вопрос, который вас интересует.

В и р г и н с к и й. Но мы себя компрометировали, а вы нет!

С т а в р о г и н (*со смехом*). А мне какое дело, что вы себя компрометировали?

Г о л о с а:

— Как какое дело?

— Как какое дело?

Л я м ш и н. Позвольте, господа, позвольте, ведь и господин Верховенский не отвечал на вопрос, а только его задавал!

Э р к е л ь (*заслоняя собою Ставрогина, к Верховенскому*). Петр Степанович, они не надежны.

Ставрогин издевательски хохоча выходит, за ним спешит Верховенский. Поднимается страшный гвалт. Федька Каторжный мгновенно схватывает со стола фонарь, стаскивает со стола скатерть, исчезает. Каждый поднимает свой столик, затем гости выстраиваются в цепочку и, двигаясь по кругу, выстраивают из столиков нечто вроде тротуара. Сразу же после этого отступают в темноту. По этой импровизированной дорожке, всё еще хохоча, идет Ставрогин. Внизу, как бы с обочины, следом за ним семенит Верховенский. С внутренней ее стороны Федька Каторжный подсвечивает Ставрогину дорогу.

Верховенский (*то и дело пытается вскочить на тротуар и пойти рядом со Ставрогиным, но тот, словно бы невзначай, всякий раз сталкивает его обратно*). Что вы со мной делаете? Что вы со мной делаете?.. Нам надо договориться... Мне необходимо, необходимо!

Ставрогин (*в очередной раз сбрасывает его на обочину*). Мне нет необходимости.

Верховенский (*хватает его за руку*). Ставрогин, вам есть необходимость!

Ставрогин (*вырывая руку, останавливаясь*). Ну?

Верховенский. Этот Шатов сделает как пописанному. Уверяю вас, что он, может быть, завтра же пойдет к Лембке.

Ставрогин. Ну и пусть идет.

Верховенский. А, вы шутить начинаете...

Ставрогин (*презрительно*). Я вам давеча сказал, для чего вам Шатова кровь нужна. Вы этой мазью ваши кучки слепить хотите. Сейчас вы отлично выгнали Шатова: вы слишком знали, что он не сказал бы: «Не донесу», а солгать пред вами почел бы низостью. Но я-то, я-то для чего вам теперь понадобился? Вы ко мне

пристаете почти что с заграницы. То, чем вы объяснили мне до сих пор, один только бред. Меж тем вы клоните, чтоб я отдав деньги Лебядкину, дал тем случай Федьке его зарезать. Я знаю, у вас мысль, что мне хочется зарезать заодно и жену. Связав меня преступлением, вы, конечно, думаете получить надо мною власть, ведь так? Для чего вам власть? На кой чёрт я вам понадобился? Раз навсегда рассмотрите ближе: ваш ли я человек, и оставьте меня в покое.

Верховенский *(одышливо)*. К вам Федька сам приходил?

Ставрогин. Да, он приходил... Да вот он сам подтвердит, вон стоит...

Федька выявляется из темноты, вытягивается во фронт, скалит зубы.

Он здесь у вас припасен, вероятно, чтобы слышать наш торг или видеть даже деньги в руках, ведь так? *(Намеревается идти дальше.)*

Верховенский *(в истерике)*. Стой! Ни шагу! *(Умоляюще цепляясь.)* Помиримтесь, помиримтесь!.. Слушайте, я вам завтра же приведу Лизавету Николаевну, хотите? Нет? Что же вы не отвечаете? Скажите, чего вы хотите, я сделаю. Слушайте: я вам отдам Шатова, хотите?

Ставрогин *(вновь останавливаясь)*. Стало быть, правда, что вы его убить положили?.. Да что с вами?

Верховенский *(словно в бреду)*. Помиримтесь! Слушайте, у меня в сапоге, как у Федьки, нож припасен, но я с вами помирюсь.

Ставрогин. Да на что я вам, наконец, чёрт! Тайна, что ль, тут какая? Что я вам за талисман достался?

Верховенский. Слушайте, мы сделаем смуту... Вы не верите, что мы сделаем смуту? Мы сделаем такую смуту, что всё поедет с основ. Кармазинов прав,

что не за что ухватиться. Кармазинов очень умен. Всего только десять таких же кучек по России, и я неуловим.

С т а в р о г и н. Это таких же всё дураков?

В е р х о в е н с к и й (с жаром). О, будьте поглупее, Ставрогин, будьте поглупее сами! Знаете, вы вовсе ведь не так и умны, чтобы вам этого желать: вы боитесь, вы не верите, вас пугают размеры. И почему они дураки? Они не такие дураки; нынче у всякого ум не свой. Нынче ужасно мало особливых умов. Виргинский — это человек чистейший, чище таких, как мы, в десять раз; ну и пусть его, впрочем. Липутин мошенник, но я у него одну точку знаю. Нет мошенника, у которого бы не было своей точки. Один Лямшин безо всякой точки, зато у меня в руках. Еще несколько таких кучек, и у меня повсеместно паспорта и деньги, хотя бы это? Хотя бы это одно? И сохранные места, и пусть ищут. Одну кучку вырвут, а на другой сядут. Мы пустим смуту... Неужто вы не верите, что нас двоих совершенно достаточно?

С т а в р о г и н. Возьмите Шигалева, а меня бросьте в покое...

В е р х о в е н с к и й. Шигалев гениальный человек! Он выдумал «равенство». У него хорошо в тетради, у него шпионство. У него каждый член общества смотрит за другим и обязан доносом. Каждый принадлежит всем, а все каждому. Все рабы и в рабстве равны. В крайних случаях клевета и убийство, а, главное — равенство. Первым делом понижается уровень образования, наук и талантов. Высокий уровень наук и талантов доступен только высшим способностям, не надо высших способностей! Высшие способности всегда захватывали власть и были деспотами. Высшие способности не могут не быть деспотами и всегда развращали более, чем приносили пользы; их изгоняют или казнят. Цицерону отрезывается язык, Копернику выкалывают глаза. Шекспир побивается камнями — вот шигалевщина! Рабы должны быть равны: без деспотизма еще не бывало ни свободы, ни равенства, но в стаде должно быть равен-

ство, и вот шигалевщина! Ха-ха-ха, вам странно? Я за шигалевщину!

Ставрогин. Вот и примитесь за него.

Верховенский. Слушайте, Ставрогин: горы сравнять — хорошая мысль, не смешная. Я за Шигалева! Не надо образования, довольно науки! И без науки хватит материалу на тысячу лет, но надо устроиться послушанию. В мире одного только недостает: послушания. Жажда образования есть уже жажда аристократическая. Чуть-чуть семейство или любовь, вот уже и желание собственности. Мы уморим желание: мы пустим пьянство, сплетни, донос; мы пустим неслыханный разврат; мы всякого гения потушим в младенчестве. Все к одному знаменателю, полное равенство... Необходимо лишь необходимое — вот девиз земного шара отселе. Но нужна и судорога; об этом позаботимся мы, правители. Полное послушание, полная безличность, но раз в тридцать лет Шигалев пускает и судорогу, и все вдруг начинают поедать друг друга, до известной черты, единственно, чтобы не было скучно. Скука есть ощущение аристократическое; в шигалевщине не будет желаний. Желание и страдание для нас, а для рабов шигалевщина.

Ставрогин. Довольно! *(Стряхивает с себя его руку.)* Отстаньте от меня, пьяный человек!

Верховенский. Ставрогин, вы красавец! Знаете ли, что вы красавец! В вас всего дороже то, что вы иногда про это не знаете... Я люблю красоту. Я нигилист, но люблю красоту. Разве нигилисты красоту не любят?.. Вы мой идол! К вам никто не подойдет вас потрепать по плечу. Вы ужасный аристократ. Аристократ, когда идет в демократию, обаятелен! Вам ничего не значит пожертвовать жизнью, и своею и чужою. Вы именно таков, какого надо. Мне, мне именно такого надо, как вы. Я никого, кроме вас, не знаю. Вы предводитель, вы солнце, а я ваш червяк... *(Порывисто целует у него руку.)*

С т а в р о г и н. Помешанный!

В е р х о в е н с к и й. Может, и брежу, может, и брежу! Но я выдумал первый шаг. Много Шигалевых! Но один, один только человек в России изобрел первый шаг и знает, как его сделать. Этот человек я. Мне вы, вы надобны, без вас я нуль. Без вас я муха в стклянке, Колумб без Америки.

С т а в р о г и н *(качает головой)*. Положительно помешанный.

В е р х о в е н с к и й. Одно или два поколения разврата теперь необходимо; разврата неслыханного, подленького, когда человек обращается в гадкую, трусливую, жестокую, себялюбивую мразь, — вот чего надо! А тут еще «свеженькой кровушки», чтоб попривык. Чего вы смеетесь? Я себе не противоречу. Я только филантропам и шигалевщине противоречу, а не себе. Я мошенник, а не социалист. Ха-ха-ха! Жаль только, что времени мало. Я Кармазинову обещал в мае начать, а к Покрову кончить. Скоро? Ха, ха!

С т а в р о г и н. Ну, Верховенский, я в первый раз слушаю вас, и слушаю с изумлением. Вы, стало быть, и впрямь не социалист, а какой-нибудь политический... честолюбец?

В е р х о в е н с к и й. Мошенник, мошенник! Недаром жé я у вас руку поцеловал. Но надо, чтоб и народ уверовал... Эх, кабы время! Мы провозгласим разрушение... Мы пустим легенды... Ну-с, и начнется смута! Раскачка такая пойдет, какой еще мир не видал... Ну-с, тут-то мы и пустим... *(Хитро.)* Кого?

С т а в р о г и н. Кого?

В е р х о в е н с к и й. Ивана-царевича.

С т а в р о г и н. Кого-о?

В е р х о в е н с к и й. Ивана-царевича; вас, вас!

С т а в р о г и н *(задумчиво)*. Самозванца? Э! так вот, наконец, ваш план.

В е р х о в е н с к и й. Мы скажем, что он «скрывается». Знаете ли вы, что значит это слово: «Он скры-

ваются»? Но он явится, явится. О, какую легенду можно пустить! А главное — новая сила идет. Ну что в социализме: старые силы разрушил, а новых не внес. А тут сила, да еще какая, неслыханная!

Ставрогин. Так это вы серьезно на меня рассчитывали?

Верховенский. Слушайте, я вас никому не покажу, никому: так надо. Он есть; но никто не видал его, он скрывается. А знаете, что можно даже и показать из ста тысяч одному, например. И пойдет по всей земле: «Видели, видели». Вы красавец, гордый как бог, ничего для себя не ищущий, с ореолом жертвы, «скрывающийся». Главное, легенду!

Ставрогин. Неистовство!

Верховенский. Почему, почему вы не хотите? Бойтесь? *(Устремляясь следом за ним.)* Слушайте, я вам без денег; я кончу завтра с Марьей Тимофеевной... и завтра же приведу к вам Лизу. Хотите Лизу, завтра же?

Ставрогин *(через плечо устало)*. Зачем?

Верховенский. Охоты нет, так я и знал! *(Срываясь.)* Врете вы, дрянной, блудливый, изломанный барчонок, не верю, аппетит у вас волчий!.. *(Отставая.)* Поймите же, не могу я от вас отказаться! Нет на земле иного, как вы! Я вас с заграницы выдумал. *(Вслед скрывшемуся в темноте Ставрогину.)* Ставрогин! даю вам день... ну два... ну три; больше трех не могу, а там — ваш ответ! *(К Федьке.)* Говори, виделся ты сегодня со Ставрогиным?

Федька Каторжный. Это ты никогда не смеешь меня чтобы допрашивать. Ты меня дерзнул.

Верховенский. Деньги ты получишь, в Петербурге, на месте, все целиком, и еще получишь.

Федька Каторжный. Ты любезнейший, врешь, и смешно мне тебя даже видеть, какой ты есть легковверный ум. Господин Ставрогин перед тобою как на лестнице состоит, а ты на них снизу как глупая со-

БЕСЫ

бачонка тьявкаешь, тогда как они на тебя сверху и плюнуть-то за большую честь почитают. *(Победоносно.)* Вот вам, берите меня! *(Исчезает.)*

Верховенский *(один)*. Нет-с, господин Ставрогин, не отвертеться вам от меня, счет у вас уж слишком велик теперь!

Наплывает тьма, в которой чеканно звучат строки из «Откровения святого Иоанна Богослова».

Г о л о с: «И стал я на песке морском и увидел выходящего из моря зверя с семью головами и десятью рогами: на рогах его было десять диадим, а на головах его имена богохульные».

КАРТИНА ШЕСТАЯ

П Р А З Д Н И К

На освещенной авансцене появляются СТЕПАН ТРОФИМОВИЧ и АВТОР. Оба крайне взволнованы. За сценой слышится гул разъяренной толпы, в котором то и дело выделяются крики: «Господи!», «Ваше превосходительство... рядили по сороку...», «Ты не моги говорить!», «Флибустьеры!», «Розог!», «Бунт!», «Осади назад!»

А в т о р *(пытаясь увлечь за собою спутника)*. Домой, домой, если нас не прибили, то, конечно, благодаря Лембке.

С т е п а н Т р о ф и м о в и ч. Идите, друг мой, я виновен, что вас подвергаю. У вас будущность и карьера своего рода, а я конченный человек. *(Вырывается.)*

А в т о р *(бросается следом за ним)*. Куда же вы?

С т е п а н Т р о ф и м о в и ч. К губернатору, а от туда — куда Бог даст!

ОБА исчезают. Появляется красочная компания ЮЛИИ МИХАЙЛОВНЫ. Радужной вереницей, смеясь и дурачась, друзья губернаторши тянутся вдоль сцены.

Ю л и я М и х а й л о в н а. За мной, господа, за мной, я знаю молодежь и молодежь знает меня!

Л я м ш и н (в голос). Отречемся от старого ми-ира-а, отряхнем его прах с наших но-о-ог...

Л и п у т и н. Это со всемирно-человеческого языка будет перевод-с, вот что-с...

К а р м а з и н о в. В Карлсруэ я готов ползти даже на карачках!

Л и з а. Я барышня, мое сердце в опере воспитывалось...

В а р в а р а П е т р о в н а. Я узнаю эту молодость!

О ф и ц е р. Я, еще в гусарах служба, насчет Бога задумывался.

П е р в а я д а м а. Военные — моя слабость. Виват эмансипация!

В т о р а я д а м а. Вотируем!

Скрываются за кулисой. На сцену врывается всклокоченный ЛЕМБКЕ.

Л е м б к е. Флибустьеры! Розог!

За ним, сдерживая напирющую толпу, показываются ФЛИБУСТЬЕРОВ, БЛЮМ, ФЕДЬКА КАТОРЖНЫЙ в полицейской форме. Среди простонародных чуек мелькают лица ЛЕБЯДКИНА, ТОЛКАЧЕНКИ, ВЕРХОВЕНСКОГО, МАНЬЯКА...

Ф л и б у с т ь е р о в. Осади назад!.. Осади назад, говорю!... Не положено!.. Не положено, говорю!

Толпа напирает, одолевая заслон. ЛЕМБКЕ спешит за сцену, всё тонет во тьме и крике. В глубине площадки загорается свет, выявляя перед нами огромную приемную Губернатора. Распахивается входная дверь, пропуская сюда СТЕПАНА ТРОФИМОВИЧА и АВТОРА.

С т е п а н Т р о ф и м о в и ч (продолжая начатый на улице разговор). Нет, нет, cher ami, мой долг испить свою чашу до дна!

А в т о р. Опомнитесь, Степан Трофимович, вы в жару!

Врывается ошалевший ЛЕМБКЕ в сопровождении ФЛИБУСТЬЕРОВА и БЛЮМА. Степан Трофимович заступает ему дорогу.

Л е м б к е (испуганно оборачивается к Флибустьерову). Кто это?

Степан Трофимович (с достоинством). Отставной коллежский асессор, ваше превосходительство.

Л е м б к е (умоляюще к Блюму). О чем?

Степан Трофимович. Был сегодня подвергнут домашнему обыску чиновником, действовавшим от имени вашего превосходительства; потому желал бы...

Л е м б к е. Имя? имя? (Вспомнил.) А-а-а! Это тот самый рассадник... Милостивый государь, вы заявили себя с такой точки... Вы профессор? Профессор?

Степан Трофимович. Когда-то имел честь прочесть несколько лекций юношеству столичного университета.

Л е м б к е. Ю-но-шеству! Я, милостивый государь мой, этого не допущу-с. Я юношества не допускаю. Это всё прокламации. Это наскок на общество, милостивый государь, морской наскок, флибустьерство... О чем изволите просить?

Степан Трофимович. Напротив, ваша супруга просила меня читать завтра на ее празднике. Я же не прошу, а пришел искать прав моих...

Л е м б к е. На празднике? Праздника не будет. Я вашего праздника не допущу-с! Лекций? лекций?

Степан Трофимович. Я бы очень желал, чтобы вы говорили со мной повежливее, ваше превосходительство, не топали ногами и не кричали на меня, как на мальчика.

Л е м б к е. Вы, может быть, понимаете, с кем говорите?

Степан Трофимович. Совершенно, ваше превосходительство.

Л е м б к е. Я ограждаю собою общество, а вы его... разрушаете! Вы... Я, впрочем, об вас припоминаю: это

вы состояли гувернером в доме генеральши Ставрогиной?

Степан Трофимович. Да, я состоял... гувернером... в доме генеральши Ставрогиной.

Лембке. И в продолжение двадцати лет составляли рассадики всего, что теперь накопилось... все плоды... Кажется, я вас сейчас видел на площади. Бойтесь, однако, милостивый государь, бойтесь; ваше направление мыслей известно. Будьте уверены, что я имею в виду. Я, милостивый государь, лекций ваших не могу допустить, не могу-с. С такими просьбами обращайтесь не ко мне.

Степан Трофимович. Повторяю, что вы изволите ошибаться, ваше превосходительство: это ваша супруга просила меня прочесть — не лекцию, а что-нибудь литературное на завтрашнем празднике. Но я и сам теперь от чтения отказываюсь. Покорнейшая просьба моя объяснить мне, если возможно: каким образом, за что и почему я подвергнут был сегодняшнему обыску? У меня взяли некоторые книги, бумаги, частные, дорогие для меня письма и повезли по городу в тачке...

Лембке *(словно очнувшись от забытья)*. Кто обыскивал? *(Поворачивается к Флибустьерову)*. Вы?

Степан Трофимович *(в сторону Блюма)*. А вот этот самый чиновник.

Лембке *(окончательно приходя в себя и краснея)*. Извините... Это всё... всё это была одна лишь, вероятно, неловкость, недоразумение... одно лишь недоразумение. Это, конечно, очень смешно... *(Вдруг всплеснув руками и закрывая ими лицо)*. Но... но неужели вы не видите, как я сам несчастен?

Степан Трофимович *(после красноречивой паузы, растроганно и виновато)*. Ваше превосходительство, не беспокойте себя более моею сварливою жалобой и велите только возвратить мне мои книги и письма...

Делает шаг навстречу Губернатору, но в этот момент в приемную шумно вваливается компания Юлии Михайловны с НЕЮ самой во главе.

Ю л и я М и х а й л о в н а (*чуть не с порога бросается к Степану Трофимовичу*). Господи, какими судьбами!

Степана Трофимовича мгновенно окружают, наперебой стараясь высказать ему свое расположение.

К а р м а з и н о в (*сюсюкает*). Сколько лет, сколько зим!

А в т о р (*в зал*). Вечером того же дня он говорил мне: «Я подумал в ту минуту: кто из нас подлее? Он ли, обнимающий меня с тем, чтобы тут же унижить, я ли, презирающий его и его щеку и тут же ее лобызающий, хотя и мог отвернуться... тьфу!»

К а р м а з и н о в. Ну расскажите же, расскажите всё. (*К Юлии Михайловне*.) Да отведите же нас поскорее к себе... он там сядет и всё расскажет.

А в т о р (*в зал*). «А между тем я с этою раздражительною бабой никогда и близок-то не был, трясясь от злобы, всё тогда же вечером, продолжал мне жаловаться Степан Трофимович. — Мы были почти еще юношами, и уже тогда я начинал его ненавидеть... равно как и он меня, разумеется...»

К а р м а з и н о в (*тут же забыв о Степане Трофимовиче*). Что до меня, то я на этот счет успокоен и сижу вот уже седьмой год в Карлсруэ. И когда прошлого года городским советом положено было проложить новую водосточную трубу, то я почувствовал в своем сердце, что этот карлсруйский водосточный вопрос милее и дороже для меня всех вопросов моего милого отечества... за всё время так называемых здешних реформ.

С т е п а н Т р о ф и м о в и ч. Принужден сочувствовать, хотя бы и против сердца.

Ю л и я М и х а й л о в н а (*восторженно*). Вам, вероятно, известно, Степан Трофимович, что завтра мы

будем иметь наслаждение услышать прелестные строки... одно из самых последних изящнейших беллетристических вдохновений Семена Егоровича, оно называется «Merci». Он объявляет в этой пиесе, что писать более не будет, не станет ни за что на свете, если бы даже ангел с неба или, лучше сказать, всё высшее общество его упрашивало изменить решение. Одним словом, кладет перо на всю жизнь, и это грациозное «Merci» обращено к публике в благодарность за тот постоянный восторг, которым она сопровождала столько лет его постоянное служение честной русской мысли.

Кармазинов. Да, я распрощаюсь; скажу свое «Merci» и уеду, и там... в Карлсруэ... закрою глаза свои.

Автор (в зал). Как многие из наших великих писателей (а у нас очень много великих писателей), он не выдерживал похвал и тотчас же начинал слабеть, несмотря на свое остроумие. Но я думаю, что это простительно. Говорят, один из наших Шекспиров прямо так и брякнул в частном разговоре, что «дескать, нам, великим людям, иначе и нельзя» и т. д. да еще и не заметил того.

Кармазинов. Там, в Карлсруэ, я закрою глаза свои. Нам, великим людям, остается, сделав свое дело, поскорее закрывать глаза, не ища награды. Сделаю так и я.

Юлия Михайловна (Степану Трофимовичу). Я надеюсь, что вы... не обманете наших лучших ожиданий и не лишите нас наслаждения услышать ваше чтение на литературном утре.

Степан Трофимович. Я не знаю, я... теперь...

Юлия Михайловна (к Варваре Петровне). Право, я так несчастна, Варвара Петровна... я так жаждала поскорее узнать лично одного из самых замечательных и независимых русских умов, и вот вдруг Степан Трофимович изъявляет намерение от нас удалиться.

Влетает ПЕТР СТЕПАНОВИЧ ВЕРХОВЕНСКИЙ. За его спиной маячит фигура СТАВРОГИНА. Войдя в приемную, он мгновенно выделяет взглядом Лизу. Та, в свою очередь, делает непроизвольное движение к нему навстречу, но тут же замирает.

Верховенский (с порога). Да вы его избалуйте! Я только лишь взял его в руки, и вдруг в одно утро — обыск, арест, полицейский хватает его за шиворот, а вот теперь его убаюкивают дамы в салоне градоправителя! Да у него каждая косточка ноет теперь от восторга; ему и во сне не снился такой бенефис. То-то начнет теперь на социалистов доносить!

Юлия Михайловна. Быть не может, Петр Степанович. Социализм слишком великая мысль, чтобы Степан Трофимович не сознавал того.

Она протягивает Степану Трофимовичу руку для поцелуя, но в это мгновение случается неожиданное. Молчавший до сих пор Лембке вдруг выступает вперед, хватая руку Степана Трофимовича, энергически сжимает ее в своей.

Лембке (в трансe). Довольно! Довольно, флибустьеры нашего времени определены. Ни слова более. Меры приняты...

Всеобщее замешательство. Затем суматоха отступает на задний план, в наступающей темноте высвечиваются лишь две, стоящие друг против друга, фигуры СТАВРОГИНА и ЛИЗЫ.

Лиза (громко, с вызовом). Николай Всеволодович, мне какой-то капитан, называющий себя вашим родственником, братом вашей жены, по фамилии Лебядкин, всё пишет неприличные письма и в них жалуется на вас, предлагая мне открыть какие-то про вас тайны. Если он в самом деле ваш родственник, то запретите ему меня обижать и избавьте от неприятностей.

Ставрогин (твердо). Да, я имею несчастье состоять родственником этого человека. Я муж его сестры, урожденной Лебядкиной, вот уже скоро пять лет. Будьте уверены, что я передам ему ваши требования в

самом скорейшем времени, и отвечаю, что более он не будет вас беспокоить.

Отступают в темноту. АВТОР выводит на авансцену растерянную ВАРВАРУ ПЕТРОВНУ и СТЕПАНА ТРОФИМОВИЧА.

Степан Трофимович (Автору). Cher ami, я двинулся с двадцатипятилетнего места и вдруг поехал, куда — не знаю, но я поехал...

В полной тьме раздается голос Юлии Михайловны: «Господа! Начинаем день увеселений, по подписке в пользу гувернанток нашей губернии. Оркестр — бал!» Зажигается свет. Основные герои спектакля движутся по сценическому кругу. В руках у них — маски собственных лиц, они то и дело обмениваются ими, примеривают, вновь передают друг другу. Постепенно из темноты, молчаливо обтекая сценический круг, выявляется разношерстная толпа. По ходу действия она — эта толпа — густеет и расширяется. Карусель маскарадного увеселения продолжает свое движение по кругу.

Лебядкин (примеряя маску Кармазинова).

Здравствуй, здравствуй, гувернантка!
Веселись и торжествуй,
Ретроградка иль жорж-зандка,
Всё равно теперь ликуй!

Учишь ты детей сопливых
По-французски букварю
И подмигивать готова,
Чтобы взял, хоть понмарю!

Но в наш век реформ великих
Не возьмет и пономарь:
Надо, барышня, «толиких»,
Или снова за букварь.

Но теперь, когда, пируя,
Мы собрали капитал,
И приданое, танцуя,
Шлем тебе из этих зал, —

Ретроградка иль жорж-зандка,
Всё равно теперь ликуй!
Ты с приданным, гувернантка,
Плюй на всё и торжествуй!

Первый голос из толпы. Да он пьян!
Второй голос. Капитана Лебядкина не знаете!

Третий голос. Отдает!

Четвертый голос. Тише, господа, сам Кармазинов!

Кармазинов (*выплывая из темноты*). Да, друг-читатель, прощай! Прощай, читатель; даже не очень настаиваю на том, чтобы мы расстались друзьями: к чему в самом деле тебя беспокоить? Даже брани, о, брани меня, сколько хочешь, если тебе это доставит какое-нибудь удовольствие. Но лучше всего, если бы мы забыли друг друга навеки. И если бы все вы, читатели, стали вдруг настолько добры, что, стоя на коленях, начали упрашивать со слезами: «Пиши, о, пиши для нас, Кармазинов — для отечества, для потомства, для лавровых венков», то и тогда бы я вам ответил, разумеется поблагодарив со всею учтивостью: «Нет уж, довольно мы повозились друг с другом, милые соотечественники, merci! Пора нам в разные стороны! Merci, merci, merci».

Первый голос. Господи, какой вздор!

Второй голос. Метил в ворону, а попал в корову!

Третий голос. И вовсе никто не будет стоять на коленях, дикая фантазия.

Четвертый голос. Экое ведь самолюбие!

Пятый голос. Это только юмор.

Первый голос. Нет, уж избавьте от вашего юмора.

Третий голос. Однако ведь это дерзость, господа.

Второй голос. По крайней мере теперь-то хоть кончил.

Четвертый голос. Эк скуки натащили!

Юлия Михайловна (*передавая Кармазинову венок*). Не обращайтесь внимания, дорогой мэтр!

Кармазинов. Лавры! Я, конечно, тронут и принимаю этот заготовленный заранее, но еще не успевший увянуть венок с живым чувством; но уверяю вас, mesdames, я настолько вдруг сделался реалистом, что считаю в наш век лавры гораздо уместнее в руках искусного повара, чем в моих...

Первый голос. Да повара́-то полезнее!

Второй голос. Я за повара теперь еще три целковых придам.

Третий голос. И я.

Четвертый голос. И я.

Пятый голос. Да неужели здесь нет буфета?

Первый голос. Господа, это просто обман...

В фокусе света показываются Автор и Степан Трофимович.

Автор. Умоляю вас, Степан Трофимович, не надо, уйдемте!

Степан Трофимович. Почему же вы считаете меня, милостивый государь, способным на подобную низость?

Автор. Знаете, по многим примерам, если читающий держит публику более двадцати минут, то она уже не слушает. Полчаса никакая даже знаменитость не продержится...

Степан Трофимович (*высокомерно*). Не беспокойтесь. (*Выходит на авансцену.*) Я объявляю, что Шекспир и Рафаэль — выше освобождения крестьян, выше народности, выше социализма, выше юного поколения, выше химии, выше почти всего человечества, ибо они уже плод, настоящий плод всего человечества и, может быть, высший плод, какой только может быть! Форма красоты уже достигнутая, без достиже-

ния которой я, может, и жить-то не соглашусь... Без хлеба можно, без одной только красоты невозможно, ибо совсем нечего будет делать на свете! Вся тайна тут, вся история тут! Сама наука не простоит минуты без красоты, — знаете ли вы про это, смеючися, — обратится в хамство, гвоздя не выдумаете!.. Не уступлю!

Первый голос. Хорошо вам на всем на готовом, баловники!

Второй голос. Степан Трофимович! Здесь в городе и в окрестностях бродит теперь Федька-каторжный, беглый с каторги. Он грабит и недавно еще совершил новое убийство. Позвольте спросить: если б вы его пятнадцать лет назад не отдали в рекруты в уплату за карточный долг, то есть попросту не проиграли в картишки, скажите, попал бы он на каторгу? резал бы людей, как теперь, в борьбе за существование? Что скажете, господин эстетик?

Степан Трофимович (*почти рыдая*). Отрясаю прах ног моих и прокливаю... Конец... конец... (*Скрывается.*)

Первый голос. Господа, он оскорбил общество!

Второй голос. Это донос!

Третий голос. Долой!

При всеобщем гвалте на середину авансены выскакивает
МАНЬЯК.

Маньяк (*восторженно поднимая кулак*). Господа! Двадцать лет назад, накануне войны с пол-Европой, Россия стояла идеалом в глазах всех статских и тайных советников. Патриотизм обратился в дранье взяток с живого и с мертвого. Не бравшие взяток считались бунтовщиками, ибо нарушали гармонию. Березовые рощи истреблялись на помощь порядку. Европа трепетала... Но никогда Россия, во всю бестолковую тысячу лет своей жизни, не доходила до такого позора...

Первый голос. Вот это дело!

Второй голос. Вот так дело!

Третий голос. Ура!

Четвертый голос. Нет, это уж не эстетика!

Маньяк (*еще восторженнее*). С тех пор прошло двадцать лет. Университеты открыты и приумножены. Шагистика обратилась в легенду; офицеров недостает до комплекта тысячами. Железные дороги поели все капиталы и облегли Россию как паутиной, так что лет через пятнадцать, пожалуй, можно будет куда-нибудь и съездить. Мосты горят только изредка, а города сгорают правильно, в установленном порядке по очереди, в пожарный сезон. Моря и океаны водки испиваются на помощь бюджету, а в Новгороде, напротив древней и бесполезной Софии — торжественно воздвигнут бронзовый колоссальный шар на память тысячелетию уже минувшего беспорядка и бестолковщины. Европа хмурится и вновь начинает беспокоиться... Пятнадцать лет реформ! А между тем никогда Россия, даже в самые карикатурные эпохи своей бестолковщины, не доходила...

Первый голос. Довольно!

Второй голос. Лучше ничего не скажете!

Третий голос. Господа, ура!

В поднявшейся суматохе в центре внимания оказывается СТУДЕНТКА, распатланная, в полурастерзанном состоянии.

Студентка. Господа, я приехала, чтоб заявить о страданиях несчастных студентов и возбудить их повсеместно к протесту!

Она тут же тонет в водовороте толпы, из которой сразу же выплескивается истошный крик: «Пожар!», «Все Заречье горит!», «Поджог!» Сцена озаряется багровым светом. В глубине сцены возникает фигура МАРЬИ ТИМОФЕЕВНЫ, объятая пламенем.

Марья Тимофеевна. Опять ворон соколом прикинулся! Опять обманул! Где же ты, сокол мой ненаглядный, князь брильянтовый!

Пламя заливает сцену. Перед нами множество заполнивших пространство лиц, охваченных этим пламенем.

КАРТИНА СЕДЬМАЯ

ЗАКОНЧЕННЫЙ РОМАН

Утро в Скворешниках. Большая зала в доме озарена отблесками далекого пожара. ЛИЗА перед зеркалом приводит себя в порядок. СТАВРОГИН взволнованно мечется из угла в угол.

Ставрогин. Я отправил нарочного верхом, через десять минут всё узнаем, а пока люди говорят, что сгорела часть Заречья, ближе к набережной, по правую сторону моста. Загорелось еще в двенадцатом часу; теперь утихает.

Лиза (с досадой). По календарю еще час тому должно светать, а почти как ночь.

Ставрогин. Все врут календари. По календарю жить скучно, Лиза.

Лиза (криво усмехаясь). Успокойтесь, вы сказали кстати: я всегда живу по календарю. Каждый мой шаг рассчитан по календарю. Вы удивляетесь? (Отходит к окну.) Нам недолго быть вместе, и я хочу говорить всё, что мне угодно... Почему бы и вам не говорить всё, что вам угодно?

Ставрогин (подходя к ней и беря ее за руку). Что значит этот язык, Лиза? Откуда он вдруг? Что значит «нам немного быть вместе»? Вот уже вторая фраза загадочная в полчаса, как ты проснулась.

Лиза (горько смеется). Вы принимаетесь считать мои загадочные фразы? А помните, я вчера, входя, мертвецом отрекомендовалась? Вот это вы нашли нужным забыть. Забыть или не приметить.

Ставрогин. Не помню, Лиза. Зачем мертвецом? Надо жить...

Л и з а. И замолчали? У вас совсем пропало красноречие. Я прожила мой час на свете, и довольно.

С т а в р о г и н. Лиза, клянусь, я теперь больше люблю тебя, чем вчера, когда ты вошла ко мне!

Л и з а. Какое странное признание! Зачем тут вчера и сегодня, и обе мерки?

С т а в р о г и н. Ты не оставишь меня. Мы уедем вместе, сегодня же, так ли? Так ли?

Л и з а. Ай, не жмите руку так больно! Куда нам ехать вместе сегодня же? Куда-нибудь опять «воскресать»? Нет, уж довольно проб... да и медленно для меня; да и не способна я; слишком для меня высоко. Если ехать, то в Москву, и там делать визиты и самим принимать — вот мой идеал, вы знаете; я от вас не скрыла, еще в Швейцарии, какова я собою. Так как нам невозможно ехать в Москву и делать визиты, потому что вы женаты, так и нечего о том говорить.

С т а в р о г и н. Лиза! Что же такое было вчера?

Л и з а. Было то, что было.

С т а в р о г и н. Это невозможно! Это жестоко!

Л и з а. Так что ж что жестоко, и снесите, коли жестоко.

С т а в р о г и н. Вы мстите мне за вчерашнюю фантазию...

Л и з а. Какая низкая мысль!

С т а в р о г и н. Так зачем же вы дарили мне... «столько счастья»? Имею я право узнать?

Л и з а. Нет, уж обойдитесь как-нибудь без прав; не завершайте низость вашего предположения глупостью. Вам сегодня не удастся. Кстати, уж не боитесь ли вы и светского мнения и что вас за это «столько счастья» осудят? О, коли так, ради Бога не тревожьте себя. Вы ни в чем тут не причина и никому не в ответе. Когда я отворяла вчера вашу дверь, вы даже не знали, кто это входит. Тут именно одна моя фантазия, как вы сейчас выразились, и более ничего. Вы можете всем смело и победоносно смотреть в глаза!

С т а в р о г и н. Твои слова, этот смех, вот уже час, насылают на меня холод ужаса. Это «счастье», о котором ты так неистово говоришь, стоит мне... всего. Разве могу я теперь потерять тебя? Клянусь, я любил тебя вчера меньше. Зачем же ты у меня всё отнимаешь сегодня? Знаешь ли ты, чего она стоила мне, эта новая надежда?

Л и з а. Тут нет ничего, что может растерзать ваше самолюбие, и всё совершенная правда. Началось с красивого мгновения, которого я не вынесла. Третьего дня, когда я вас всенародно «обидела», а вы мне ответили таким рыцарем, я приехала домой и тотчас догадалась, что вы потому от меня бегали, что женаты, а вовсе не из презрения ко мне, чего я в качестве светской барышни всего более опасалась. Я поняла, что меня же вы, безрассудную, берегли, убегая. Видите, как я ценю ваше великодушие... А так как я и без того давно знала, что меня всего на один миг только хватит, то взяла и решилась. Ну вот и всё, и довольно, и пожалуйста больше без объяснений. Пожалуй, еще поссоримся. Никого не бойтесь, я всё на себя беру. Я дурная, капризная, я оперною ладьей соблазнилась, я барышня... Я ужасно люблю плакать «себя жалеючи». Ну, довольно, довольно. Я ни на что не способна, и вы ни на что не способны; два щелчка с обеих сторон, тем и утешимся. По крайней мере самолюбие не страдает.

С т а в р о г и н. Сон и бред! Лиза, бедная, что ты сделала над собою?

Л и з а. Обожглась на свечке и больше ничего. Уж не плачете ли и вы? Будьте приличнее, будьте бесчувственнее...

С т а в р о г и н. Зачем, зачем ты пришла ко мне?

Л и з а. Но вы не понимаете, наконец, в какое комическое положение ставите сами себя пред светским мнением такими вопросами?

С т а в р о г и н. Зачем ты себя погубила, так уродливо и так глупо, и что теперь делать?

Л и з а. И это Ставрогин! Слушайте, я ведь вам уже сказала: я разочла мою жизнь на один только час и спокойна. Разочтите и вы так свою... впрочем, вам не для чего; у вас так еще много будет разных «часов» и «мгновений».

С т а в р о г и н. Столько же, сколько у тебя; даю тебе великое слово мое, ни часу более, как у тебя! Если бы ты знала цену моей теперешней *невозможной* искренности, Лиза, если б я только мог открыть тебе...

Л и з а. Открыть? Вы хотите мне что-то открыть? Сохрани меня Боже от ваших открытий!.. Берегитесь мне открывать, если правда: я вас засмею. Я буду хотать над вами всю вашу жизнь... Ай, вы опять бледнеете? Не буду, не буду, я сейчас уйду.

С т а в р о г и н. Мучь меня, казни меня, срывай на мне злобу. Ты имеешь полное право! Я знал, что я не люблю тебя, и погубил тебя. Я не мог устоять против света, озарившего мое сердце, когда ты вчера вошла ко мне, сама, одна, первая. Я вдруг поверил... Я, может быть, верую еще и теперь.

Л и з а. За такую благородную откровенность отплачу вам тем же: не хочу я быть вашею сердобольною сестрой. Пусть я, может быть, и в самом деле в сиделки пойду, если не сумею умереть кстати сегодня же; но хоть пойду, да не к вам, хотя и вы, конечно, всякого безногого и безрукого стоите. Мне всегда казалось, что вы заведете меня в какое-нибудь место, где живет огромный злой паук в человеческий рост, и мы там всю жизнь будем на него глядеть и его бояться. В том и пройдет наша взаимная любовь. *(В сторону двери.)* Ай, кто это?

В дверь просовывается голова ВЕРХОВЕНСКОГО.

В е р х о в е н с к и й. Не пугайтесь, это всего только я. Здравствуйте, Лизавета Николаевна; во всяком случае с добрым утром. Так и знал, что найду вас обоих в этой зале. Я совершенно на одно мгновение, Нико-

лай Всеволодович, — во что бы то ни стало спешил на пару слов... необходимейших... всего только на парочку!

Ставрогин (*Верховенскому*). Погодите. (*Тот скрывается.*) Если сейчас что-нибудь услышишь, Лиза, то знай: я виновен.

Лиза (*идя к выходу*). Знаете, Николай Всеволодович, я, пока у вас, убедилась, между прочим, что вы ужасно ко мне великодушны, а я вот этого-то и не могу у вас выносить. (*Выходит.*)

Ставрогин (*бросается за ней*). Лиза! (*Но дороге ему заступает вскользнувший сюда Верховенский.*) Ну?

Верховенский. То есть если вы уже знаете, то, разумеется, никто из нас ни в чем не виноват, и прежде всех вы, потому что это такое стечение... совпадение случаев... одним словом, юридически до вас не может коснуться, и я летел предупредить.

Ставрогин. Сгорели? Зарезаны?

Верховенский. Зарезаны, но не сгорели, это и скверно, но я вам даю честное слово, что я тут не виновен, как бы вы ни подозревали меня, — потому что, может быть, подозреваете, а?.. Но вот какое совпадение обстоятельств: я из своих (слышите, из своих, ваших не было ни рубля, и, главное, вы это сами знаете) дал этому пьяному дурачине Лебядкину двести тридцать рублей... Заметьте, я говорю серьезно... так как всё это вредит моим планам, то я и дал себе слово спроводить Лебядкиных во что бы ни стало и без вашего ведома в Петербург, тем более что и сам он туда порывался. Одна ошибка: дал деньги от вашего имени; ошибка или нет? Может, и не ошибка, а? (*Хватает Ставрогина за лацкан сюртука.*) Слушайте же теперь, слушайте, как это всё обернулось...

Ставрогин (*стряхивает его руку с себя*). Руки!.. Руки!..

Верховенский. Ну чего ж вы... полноте... этак руку ломаете... тут главное в том, как это обер-

нулось. Я с вечера выдаю деньги, с тем, чтоб он и сестрица завтра чем свет отпраплялись; поручаю это дельцо подлецу Липутину, чтобы сам посадил и отправил. А Липутин у него вынимает тихонько двести рублей, оставляя мелочь. Но, к несчастью, оказывается, что тот уже утром эти двести рублей тоже из кармана вынимал, хвастался и показывал где не следует. А так как Федька того и ждал, а у Кириллова кое-что слышал, то и решился воспользоваться. Вот и вся правда. Я рад по крайней мере, что Федька денег не нашел, а ведь на тысячу подлец рассчитывал! Торопился и пожара, кажется, сам испугался... Верите, мне этот пожар как поленом по голове. Нет, это чёрт знает что такое! Это такое самовластие... Вот видите, я перед вами, столько от вас ожидая, ничего не потею: ну да, у меня уже давно эта идея об огне созревала, так как она столь народна и популярна; но ведь я берег ее на критический час, на то драгоценное мгновение, когда мы все встанем и... Нет, это такое самовластие!.. Вот видите, что значит хоть капельку распустить!.. Но во всяком случае, хоть там теперь и кричат во все трубы, что Ставрогину надо было жену сжечь, для того и город сгорел, но...

Ставрогин. А уж кричат во все трубы?

Верховенский. То есть еще вовсе нет, и признаюсь, я ровно ничего не слышал, но ведь с народом что поделаешь, особенно с погорелыми: глас народа — Божий глас. Долго ли глупейший слух по ветру пустить?.. Но ведь в сущности вам ровно нечего опасаться. Юридически вы совершенно правы, по совести тоже, — ведь вы не хотели же? Не хотели? Улик никаких, одно совпадение... Разве вот Федька припомнит... но ведь это вовсе ничего не доказывает, а Федьку мы сократим. Я сегодня же его сокращаю...

Ставрогин. А трупы совсем не сгорели?

Верховенский. Нимало; эта каналья ничего не сумела устроить как следует. Но я рад по крайней

БЕСЫ

мере, что вы так спокойны... потому что хоть вы и ничем тут не виноваты, ни даже мыслью, но ведь всё-таки. И притом согласитесь, что всё это отлично обертывает ваши дела: вы вдруг свободный вдовец и можете сию минуту жениться на прекрасной девице с огромными деньгами, которая, вдобавок, уже в ваших руках. Вот что может сделать простое, грубое совпадение обстоятельств — а?

Ставрогин. Вы угрожаете мне, глупая голова?

Верховенский. Ну полноте, полноте, уж сейчас и глупая голова, и что за тон? Чем бы радоваться, а вы... Я нарочно летел, чтобы скорей предупредить... Да и чем мне вам угрожать? Очень мне вас надо из-за угрозы-то! Мне надо вашу добрую волю, а не из страху. Вы свет и солнце... Это я вас изо всей силы боюсь, а не вы меня!

Ставрогин. Чтобы заставить меня жену убить?

Верховенский. Во-от, да разве вы убили? Что за трагический человек!

Ставрогин. Всё равно, вы убили.

Верховенский. Да разве я убил? Говорю же вам, я тут ни при капле. Однако вы начинаете меня беспокоить...

В дверях показывается ЛИЗА.

Лиза. Кто убит?

Верховенский. А! вы подслушивали?

Лиза. Вы сказали «убит»... Кто убит?

Ставрогин. Убита только моя жена, ее брат Лебядкин и их служанка.

Верховенский *(бросается к ней)*. Зверский, странный случай, Лизавета Николаевна, глупейший случай грабежа, одного грабежа, пользуясь пожаром; дело разбойника Федьки Каторжного и дурака Лебядкина, который всем показывал свои деньги... я с тем и летел... как камнем по лбу. Ставрогин едва устоял, когда я сообщил. Мы здесь советовались: сообщить вам сейчас или нет?

Лиза. Николай Всеволодович, правду он говорит?

Ставрогин. Нет, неправду.

Верховенский. Как неправду! это еще что!

Лиза. Господи, я с ума сойду!

Верховенский. Да поймите же по крайней мере, что он сумасшедший теперь человек! Ведь все-таки жена его убита. Видите, как он бледен... Ведь он с вами же всю ночь пробыл, ни на минуту не отходил, как же его подозревать?

Лиза. Николай Всеволодович, скажите как пред Богом, виноваты вы или нет, а я, клянусь, вашему слову поверю, как Божьему, и на край света за вами пойду, о, пойду! Пойду, как собачка...

Верховенский. Из-за чего же вы терзаете ее, фантастическая вы голова! Лизавета Николаевна, ей-ей, столкните меня в ступе, он невинен, напротив, сам убит и бредит, вы видите. Ни в чем, ни в чем, даже мыслью невинен!.. Все только дело разбойников, которых, наверно, через неделю разыщут и накажут плетьюми... Тут Федька Каторжный... об этом весь город трещит, потому и я.

Лиза. Так ли? Так ли?

Ставрогин. Я не убивал и был против, но я знал, что они будут убиты, и не остановил убийц. Ступайте от меня, Лиза.

ЛИЗА закрывает лицо руками, спешит к двери, на пороге останавливается, словно решившись что-то сказать, но затем, так ничего и не вымолвив, выходит. Верховенский бросается было за нею, но вдруг вновь поворачивается к Ставрогину.

Верховенский. Так вы так-то? Так вы так-то? Так вы ничего не боитесь? Пропали вы, что ли? Так вы вот за что принялись? На всех донесете, а сами в монастырь уйдете или к чёрту... Но ведь я вас всё равно укокошу, хоть бы вы и не боялись меня!

Ставрогин (*отсутствующе улыбаясь*). А, это вы трещите?.. Если бы вы не такой шут, я бы, может, и сказал теперь: да... Если бы только хоть каплю умнее...

Верховенский. Я-то шут, но не хочу, чтобы вы, главная половина моя, были шутом! Понимаете вы меня?

Ставрогин. Ступайте от меня к чёрту.

Верховенский. Да? Да?

Ставрогин. Почему я знаю!.. К чёрту, к чёрту!

ВЕРХОВЕНСКИЙ исчезает. Ставрогин остается один. Шаг за шагом он отступает в глубину сцены, как бы окаменевая на ходу, лицо его постепенно превращается в мертвую маску, над которой медленно меркнет свет. Сумеречный свет над мертвой маской.

Г о л о с (*читает из «Откровения святого Иоанна Богослова»*). И поклонились зверю, говоря: кто подобен зверю сему и кто может сразиться с ним?

КАРТИНА ВОСЬМАЯ

МНОГОТРУДНАЯ НОЧЬ

Ночь. Ротонда в саду перед прудом в Скворешниках. Вокруг стола, на котором горит фонарь, почти все «наши»: ВИРГИНСКИЙ, ЛИПУТИН, ЛЯМШИН, ТОЛКАЧЕНКО, ЭРКЕЛЬ. В центре — ВЕРХОВЕНСКИЙ.

Верховенский. Позвольте узнать, с какой стати вы изволили зажечь город без позволения?

Липутин. Это что!

Виргинский. Мы, мы город зажгли?

Лямшин. Вот уж с больной-то головы!

Верховенский. Я понимаю, что вы уж слишком заигрались, но ведь это не скандальчики с Юлией Михайловной. Я собрал вас сюда, господа, чтобы разъяснить вам ту степень опасности, которую вы так глупо

на себя натащили и которая слишком многому и кроме вас угрожает.

В и р г и н с к и й. Позвольте, мы, напротив, вам же намерены были сейчас заявить о той степени деспотизма и неравенства, с которыми принята была, помимо членов, такая серьезная и вместе с тем странная мера.

В е р х о в е н с к и й. Итак, вы отрицаете? А я утверждаю, что сожгли вы, вы одни и никто другой. Господа, не лгите, у меня точные сведения. Своеволием вашим вы подвергли опасности даже общее дело. Вы всего лишь один узел бесконечной сети узлов и обязаны слепым послушанием центру. Между тем трое из вас подговаривали к пожару рабочих с фабрики, не имея на то ни малейших инструкций, и пожар состоялся.

Л и п у т и н. Кто трое?

Т о л к а ч е н к о. Кто трое из нас?

В е р х о в е н с к и й. Третьего дня в четвертом часу ночи вы, Толкаченко, подговаривали Фомку Завьялова в «Незабудке».

Т о л к а ч е н к о. Помилуйте, я едва одно слово сказал, да и то без намерения, а так, потому что его утром секли, и тотчас бросил, вижу — слишком пьян. Если бы вы не напомнили, я бы совсем и не вспомнил. От слова не могло загореться.

В е р х о в е н с к и й. Вы похожи на того, который бы удивился, что от крошечной искры взлетел на воздух весь пороховой завод.

Т о л к а ч е н к о. Я говорил шепотом и в углу, ему на ухо, как могли вы узнать?

В е р х о в е н с к и й. Я там сидел под столом. Не беспокойтесь, господа, я все ваши шаги знаю. Вы ехидно улыбаетесь, господин Липутин? А я знаю, например, что вы четвертого дня исщипали вашу супругу, в полночь, в вашей спальне, ложась спать.

А в т о р *(неожиданно показываясь из-за кулисы)*. Потом стало известно, что он о подвиге Липутина узнал от Агафьи, липутинской служанки, которой с самого

начала платил деньги за шпионство, о чем только после разъяснилось. *(Исчезает.)*

Верховенский. Вам, кажется, всем уже теперь известно, что Шатов в свое время принадлежал делу. Я должен открыть, что, следя за ним чрез лиц, которых он не подозревает, я к удивлению узнал, что для него не тайна и устройство сети, и... одним словом, всё. Чтобы спасти себя от обвинения в прежнем участии, он донесет на всех. До сих пор он всё еще колебался, и я щадил его. Теперь вы этим пожаром его развязали: он потрясен и уже не колеблется. Завтра же мы будем арестованы, как поджигатели и политические преступники.

Лямшин. Верно ли?

Липутин. Почему Шатов знает?

Верховенский. Всё совершенно верно. Я не вправе вам объявить пути мои и как открывал, но вот что покамест я могу для вас сделать: чрез одно лицо я могу подействовать на Шатова, так что он, совершенно не подозревая, задержит донос, — но не более как на сутки. Дальше суток не могу. Итак, вы можете считать себя обеспеченными до послезавтраго утра.

Толкаченко. Да отправить же его, наконец, к чёрту!

Лямшин. И давно бы надо сделать!

Липутин. Но как сделать?

Верховенский делает знак. Все склоняются к нему. Мгновенно прогоняется лента магнитофонной скороговорки. Все разгибаются.

Лямшин. Всё так, но так как опять... новое приключение в том же роде... то слишком уж поразит умы...

Верховенский. Без сомнения, но и это предусмотрено. Есть средство вполне отклонить подозрение. *(Снова делает знак, и снова все склоняются к нему.)*

Вновь звучит шепотная скороговорка.

Верховенский *(разгибаясь)*. Впрочем, действуйте как вам угодно. Если вы не решитесь, то союз расторгнут, — но единственно по факту вашего непос-

лушания и измены. Таким образом мы с этой минуты все врозь. Но знайте, что в таком случае вы, кроме неприятности шатовского доноса и последствий его, навлекаете на себя и еще одну маленькую неприятность, о которой было твердо заявлено при образовании союза. Что до меня касается, то я, господа, не очень-то вас боюсь... Не подумайте, что я уж так с вами связан... Впрочем, это всё равно.

Л я м ш и н. Нет, мы решаемся.

Т о л к а ч е н к о. Другого выхода нет...

В и р г и н с к и й. Я против; я всеми силами души моей протестую против такого кровавого решения!

В е р х о в е н с к и й. Но?

В и р г и н с к и й. Что *но*?

В е р х о в е н с к и й. Вы сказали *но* ... и я жду.

В и р г и н с к и й. Я, кажется, не сказал *но* ... Я только хотел сказать, что если решаются, то...

В е р х о в е н с к и й. То?

Э р к е л ь. Я думаю, можно пренебрегать собственной безопасностью жизни, но если может пострадать общее дело, то, я думаю, нельзя сметь пренебрегать собственной безопасностью жизни...

В и р г и н с к и й. Я за общее дело.

Все вытягиваются по стойке «смирно». Верховенский гасит фонарь. Освещается стол в комнате Кириллова. Посреди стола, четко выделяясь на его белизне, лежит револьвер. По обе стороны, друг против друга, — КИРИЛЛОВ и ВЕРХОВЕНСКИЙ.

В е р х о в е н с к и й. Я за тем самым.

К и р и л л о в. Сегодня?

В е р х о в е н с к и й. Завтра... около этого времени.

К и р и л л о в. Ставрогин уехал?

В е р х о в е н с к и й (*делает выразительный жест вокруг шеи*). Уехал.

К и р и л л о в (*не замечает*). Я сдержу свое слово. Только скверно, что в ту минуту будет подле меня гадина, как вы.

Верховенский *(спокойно смотрит на часы)*. Я ничего никогда не понимал в вашей теории, но знаю, что вы не для нас ее выдумали, стало быть и без нас исполните.

Кириллов *(грубо)*. Довольно... уходите.

Верховенский. Как? Вот обидчивость! Э, да мы в ярости? В такой момент нужно бы скорее спокойствие. Лучше всего считать теперь себя за Колумба, а на меня смотреть как на мышь и мной не обижаться.

Кириллов. Я определил в эту ночь, что мне всё равно.

Верховенский. Однако о деле-то? Так мы не отступим, а? *(Вынимает лист бумаги, кладет перед ним.)* Я продиктую. Вам ведь всё равно. Неужели вас могло бы беспокоить содержание в такую минуту?

Кириллов. Не твое дело.

Верховенский. Не мое, конечно. Впрочем, всего только несколько строк: что вы с Шатовым разбрасывали прокламации, между прочим с помощью Федьки, скрывавшегося в вашей квартире. Этот последний пункт о Федьке и о квартире весьма важный, самый даже важный. Видите, я совершенно с вами откровенен.

Кириллов. Шатова? Зачем Шатова? Ни за что про Шатова. Ты убил его!.. И я это вчера предвидел!

Верховенский. Еще бы не предвидеть?

Кириллов. Молчи! Это ты его за то, что он тебе в Женеве плюнул в лицо!

Верховенский. И за то и еще за другое. За многое другое; впрочем, без всякой злобы. Чего же вскакивать? Чего же фигуры строить?

Кириллов хватает со стола револьвер, наводит на него.

Ого! Да мы вот как!..

Кириллов. Я застрелю тебя... Но я тебя не застрелю... хотя... хотя... *(Бессильно опускает револьвер.)*

Верховенский (облегченно). Поиграли и довольно. Я так и знал, что вы играете; только, знаете, вы рисковали.

Кириллов. Ты подлец и ты ложный ум. Но я такой же, как и ты, и застрелю себя, а ты останешься жив.

Верховенский. То есть вы хотите сказать, что я так низок, что захочу остаться в живых.

Кириллов. Обезьяна, ты поддакиваешь, чтобы меня покорить. Молчи, ты не поймешь ничего. Если нет Бога, то я бог.

Верховенский. Вот я никогда не мог понять у вас этого пункта: почему вы-то бог?

Кириллов. Если Бог есть, то вся воля Его, и из воли Его я не могу. Если нет, то вся воля моя, и я обязан заявить своеволие.

Верховенский. Своеволие? А почему обязаны?

Кириллов. Потому что вся воля стала моя. Неужели никто на всей планете, кончив Бога и уверовав в своеволие, не осмелится заявить своеволие, в самом полном пункте? Это так, как бедный получил наследство и испугался и не смеет подойти к мешку, почитая себя малосильным владеть. Я хочу заявить своеволие. Пусть один, но сделаю.

Верховенский. И делайте.

Кириллов. Я обязан себя застрелить, потому что самый полный пункт моего своеволия — это убить себя самому.

Верховенский. Да ведь не один же вы себя убиваете; много самоубийц.

Кириллов. С причиною. Но безо всякой причины, а только для своеволия — один я.

Верховенский. Знаете что, я бы на вашем месте, чтобы показать своеволие, убил кого-нибудь другого, а не себя.

Кириллов (с жаром указывая в сторону образа, возникающего в глубине сцены). Ничего нет тайного, что бы не сделалось явным. Вот Он сказал.

Верховенский. В Него-то, стало быть, всё еще веруете и лампадку зажгли; уж не на «всякий ли случай»? Знаете что, по-моему, вы веруете, пожалуй, еще больше по па.

Кириллов. В кого? В Него? Слушай большую идею: был на земле один день, и в середине земли стояли три креста. Один на кресте до того веровал, что сказал другому: «Будешь сегодня со мною в раю». Кончился день, оба померли, пошли и не нашли ни рая, ни воскресения. Не оправдалось сказанное. Слушай: Этот Человек был высший на всей земле, составлял то, для чего ей жить. Вся планета, со всем, что на ней, без этого Человека — одно сумасшествие. Не было ни прежде, ни после Ему такого же, и никогда, даже до чуда. В том и чудо, что не было и не будет Такого же никогда. А если так, если законы природы не пожалели и Этого, даже чудо свое же не пожалели, а заставили и Его жить среди лжи и умереть за ложь, то, стало быть, вся планета есть ложь и стоит на лжи и глупой насмешке. Стало быть, самые законы планеты — ложь и диаволов водевил. Для чего же жить, отвечай, если ты человек?

Верховенский. Это другой оборот дела. Мне кажется, у вас тут две разные причины смешались; а это очень неблагонадежно. Но позвольте, ну, а если вы бог? Если кончилась ложь и вы догадались, что вся ложь оттого, что был прежний Бог?

Кириллов. Наконец-то ты понял! Стало быть, можно же понять, если даже такой, как ты, понял! Понимаешь теперь, что всё спасение для всех — всем доказать эту мысль. Кто докажет? Я! Я не понимаю, как мог до сих пор атеист знать, что нет Бога, и не убить себя тотчас же? Сознать, что нет Бога, и не сознать в тот же раз, что сам богом стал — есть нелепость, ина-

че непременно убьешь себя сам. Если сознаешь — ты царь и уже не убьешь себя сам, а будешь жить в самой главной славе. Но один, тот, кто первый, должен убить себя сам непременно, иначе кто же начнет и докажет? Это я убью себя сам непременно, чтобы начать и доказать. Я еще только бог поневоле и я несчастен, ибо *обязан* заявить своеволие. Все несчастны потому, что все боятся заявлять своеволие. Человек потому и был до сих пор так несчастен и беден, что боялся заявить самый главный пункт своеволия и своевольничал с краю, как школьник. Я ужасно несчастен, ибо ужасно боюсь. Страх есть проклятие человека... Но я заявляю своеволие, я обязан уверовать, что не верую. Я начну, и кончу, и дверь отворю. И спасу. Только это одно спасет всех людей и в следующем же поколении переродит физически; ибо в теперешнем физическом виде, сколько я думал, нельзя быть человеку без прежнего Бога никак. Я три года искал атрибут божества моего и нашел: атрибут божества моего — *Своеволие!* Это всё, чем я могу в главном пункте показать непокорность и новую страшную свободу мою. Ибо она очень страшна. Я убиваю себя, чтобы показать непокорность и новую страшную свободу мою.

Верховенский. Занятно.

Кириллов (*в решительном вдохновении*). Давай перо! Диктуй, всё подпишу. И что Шатова убил подпишу. Диктуй, пока мне смешно. Не боюсь мыслей высокомерных рабов! Сам увидишь, что всё тайное станет явным. А ты будешь раздавлен... Верую! Верую!

Лихорадочно пишет на подсунутой ему Верховенским бумаге. Придвигает написанное гостю. Тот берет, читает, складывает листок вчетверо и, не прощаясь, выходит. Кириллов, оставшись один, хватает со стола револьвер и целит ему вслед, но уже в следующее мгновение опускает руку. Затем медленно подносит дуло к виску, уже в полном безумии.

Я — бог. (*Стреляется.*)

Затемнение, в котором слышится шепот, чертыхание, возня. Затем зажигается фонарь в руках ВЕРХОВЕНСКОГО. Он по очереди подносит его к лицам собравшихся: ЛИПУТИН, ЭРКЕЛЬ, ЛЯМШИН, ВИРГИНСКИЙ, ТОЛКАЧЕНКО. Столы, составленные замкнутым коленом, образуют собой подобие берега вокруг пруда, около которого и теснятся в эту минуту действующие лица.

Верховенский. Лямшина нет?

Лямшин *(выступая из темноты)*. Я здесь.

Верховенский. Стало быть, только Липутина нет? *(Фонарь его освещает лицо Липутина.)* Зачем вы туда забились, почему не выходили?

Липутин. Я полагаю, что мы все сохраняем право свободы...

Верховенский *(презрительно морщится; в его сторону и сразу ко всем)*. Господа, вы, я думаю, хорошо понимаете, что нам нечего теперь размазывать. Вчера всё было сказано и пережевано, прямо и определено. Но, может быть, как я вижу по физиономиям, кто-нибудь хочет что-нибудь заявить; в таком случае, прошу поскорее. Чёрт возьми, времени мало...

Эркель. Я полагаю действовать, как задумано.

Верховенский. Я надеюсь, однако, господа, что всякий исполнит свой долг... Шатов считает этот донос своим гражданским подвигом, самым высшим своим убеждением. Этакой уже ни за что не откажется.

Лямшин. Но ведь никто не видал доноса.

Верховенский *(почти кричит)*. Донос видел я!

Виргинский. А я, я протестую!... протестую изо всех сил... Я хочу... Я вот что хочу: я хочу, когда он придет, все мы выйдем и все его спросим: если правда, то с него взять раскаяние, и если честное слово, то отпустить. Во всяком случае — суд; по суду. А не то чтобы всем спрятаться, а потом кидаться.

Верховенский. На честное слово рисковать общим делом — это верх глупости! Чёрт возьми, как

это глупо, господа, теперь! И какую вы принимаете на себя роль в минуту опасности?

Виргинский. Я протестую, я протестую...

Верховенский. Ни один из вас не имеет права оставить дело! Вы можете с ним хоть целоваться, если хотите, но предать на честное слово общее дело не имеете права! Так поступают свиньи и подкупленные правительством!

Липутин. Кто же здесь подкупленные правительством?

Верховенский. Вы, может быть. Вы бы уж лучше молчали, Липутин, вы только так говорите, по привычке. Подкупленные, господа, все те, которые трусят в минуту опасности. *(Обрывает себя на полуслове, прислушивается.)* Кажется, идет...

Появляется ШАТОВ. Ни с кем не здороваясь, по кругу обходит берег, около Верховенского останавливается. Тот толкает его. Шатов отскакивает к Липутину, от Липутина к Лямшину, затем к Эркелю. Толкаченко молча отшвыривает его от себя в пруд. Участники убийства одновременно спрыгивают с берега в темноту и сдвигают над жертвой образующие берег столы. В крошечной тьме слышится истошный шепот Виргинского: «Это не то, не то! Нет, это совсем не то!»

Свет гаснет. Вслед за этим возникает обстановка картины «Иван-царевич», с той лишь разницей, что по тротуару шагает теперь ВЕРХОВЕНСКИЙ, а ЭРКЕЛЬ семенит по обочине. Под ногами у Верховенского стелется хлам минувшего маскарада: бумажные ленты, конфетти, блёстки. Верховенский то и дело брезгливо останавливается перед лужами и колодбинами. Эркель с набором масок действующих лиц в руках услужливо подсовывает их, одну за другой, ему под ступни. Хрустят маски под ногами Верховенского.

Эркель. Ах, Петр Степанович, лучше, если бы вы не уезжали!

Верховенский. Да ведь я только на несколько дней; я мигом назад.

Эркель. Петр Степанович, хотя бы вы и в Петербург. Разве я не понимаю, что вы делаете только необходимое для общего дела.

Верховенский. Я меньшего и не ждал от вас, Эркель. Если вы догадались, что я в Петербург, то могли понять, что не мог же я сказать им вчера, в тот момент, что так далеко уезжаю, чтобы не испугать. Вы видели сами, каковы они были. Но вы понимаете, что я для дела, для главного и важного дела, для общего дела, а не для того, чтоб улизнуть, как полагает какой-нибудь Липутин.

Эркель. Петр Степанович, да хотя бы и за границу, ведь я пойму-с; я пойму, что вам нужно сберечь свою личность, потому что вы всё, а мы — ничто. Я пойму, Петр Степанович.

Верховенский. Благодарю вас, Эркель... Но я вам положительно говорю еще раз, что в Петербург я только пронюхать и даже, может быть, всего только сутки, и тотчас обратно сюда.

Эркель. Но зачем же объяснять мне, Петр Степанович, я ведь пойму, я всё пойму, Петр Степанович! До свидания, Петр Степанович.

Верховенский (*растворяясь во мгле, с издевкой*). До свидания, Эркель.

Раздается паровозный гудок, затем — стук колес отходящего поезда. Эркель остается один, поворачивается в профиль к залу. Лик его медально каменеет. В глубине сцены возникает объятое пламенем огромное Распятие. Пространство начинают заполнять обрывки знакомых нам мелодий «Марсельезы», «Интернационала», «Варшавянки», модных сегодняшних шлягеров.

Голос Великого Инквизитора (*обращенный к Распятю*). Ты хочешь идти в мир и идешь с голыми руками, с каким-то обетом свободы, которого они, в простоте своей и в прирожденном бесчинстве своем, не могут и осмыслить, которого боятся они и стра-

шатся, — ибо ничего и никогда не было для человека и для человеческого общества невыносимее свободы!.. Мы заставим всех работать, но в свободные от труда часы мы устроим им жизнь как детскую игру, с детскими песнями, хором, с невинными плясками. О, мы разрешим им и грех, они слабы и бессильны, и они будут любить нас, как дети, за то, что мы им позволим грешить. Мы скажем им, что всякий грех будет искуплен, если сделан будет с нашего позволения; позволяем же им грешить потому, что их любим... И не будет у них никаких от нас тайн. Мы будем позволять или запрещать им жить с их женами и любовницами, иметь или не иметь детей — всё судя по их послушанию — и они будут нам покоряться с весельем и радостью. Самые мучительные тайны их совести — всё, всё понесут они нам, и мы всё разрешим, и они поверят решению нашему с радостью, потому что оно избавит их от великой заботы и страшных теперешних мук решения личного и свободного... Завтра же ты увидишь это послушное стадо, которое по первому мановению моему бросится подгрести горячие угли к костру Твоему, на котором сожгу Тебя за то, что пришел нам мешать. Ибо если был, кто всех более заслужил наш костер, то это Ты... Аминь!

Горит Распятие. На фоне багрового пламени фигура Эркеля постепенно превращается в монумент, в котором нами прозреваются черты многих «ниспровергателей» будущего, от комиссаров Временного правительства до сталинских палачей. Здесь, в этот момент, тоже вполне допустимо использование современной кинохроники, соответствующей замыслу спектакля.

А в т о р (*смыкая занавес за собою, печально*). «И увидел я новое небо и новую землю; ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет».

1973 г.

* * *

Август, осени посредник!
Сверху пламя, снизу тьма.
Кто твой нынешний наследник?
Поле? Колокол? Зима?
Или просто я сама?
Август — хлебник, август — требник,
Август — медленный лечебник,
Дань сошедшему с ума.
Ой светла моя тюрьма.
Снизу — пламя, сверху — тьма.

11. 12. 70

* * *

И даты вспять бежали, как солдаты,
И падали, вмерзая в черный снег,
И встанет век на век, как брат на брата,
И в Боге усомнится человек...

Огонь погас, но дух самосожженья,
Как душный хмель, еще гуляет в нас,
И как полки в слепом пылу сраженья,
Сошлись века невидимо для глаз.

21. 1. 70

* * *

Как робок смех, как шёпот жарок,
Как поступь горняя легка!
Огнепоклонниц и дикарок
Проворный бег через века!

Одна — неведомо откуда
Возникла над рекой Москвой,
И солнце, полное, как блюдо,
Она несла над головой.

Рукою нежной и крестьянской
Она крестила Божий храм?
Или душой дохристианской
Молилась солнечным богам?

Огонь! Дитя! Душа пещеры!
Что ты нашептывала нам,
Клонясь с новозаветной верой
К семи языческим холмам?

И с изначальным любопытством
Круглилась, выси веселя,
Как грудь, не знавшая бесстыдства,
Румяно-смуглая земля.

22. 7. 71

* * *

Ну что ж, берите, Бога ради,
О чем бы кто ни попросил...
И лишь со строчкой из тетради
Расстаться не хватает сил.

Кружу под тем же снегопадом,
Как кто-то до меня кружил,
Дружу я с тем же, с кем не надо,
Как кто-то до меня дружил.

И тот же край зову в молитвах,
И тот же край зову тюрьмой,
И участь узкая, как бритва,
Вот так же срежет голос мой.

Иль мы в огне не ищем брода?
Но вновь плывут, как облака,
Всё те же воды, те же годы,
Кресты, и вёрсты, и века.

* * *

А кукушка куковала, куковала,
Малых деток отдавала, отдавала,
Над чужим гнездом летала, куковала,
Всё бездомней, всё бездомней тосковала.

Этот зов ее понесся над лесами,
Этот зов ее и вы слышали сами,
Мерили непрожитые годы
Бременем непрощенной свободы.

* * *

Мы смотрим из разных окón
Один недосмотренный сон.
Мы строим из разных домов
Один недостроенный кров.
Мы ловим (полезных не счесть!)
Одну бесполезную весть.
Мы ищем из многих причин
Одну — по которой молчим.

* * *

Аты-баты, шли солдаты...
Считалка

Аты-баты, где вы, латы,
Храп крылатого коня?
Где ты, всадник огневатый,
Неподкупнее булата
Ратник праведного дня?

Аты-баты, он какой?
Аты-баты, золотой.
Аты-баты, сколько стоит?
Аты-баты, сто рублей.

То-то ночкой вороватой
И цепочкой узловатой
По базарам, аты-баты,
Самоварами гремя,
По задворкам бородатым,
По заборам по горбатым,
Левой-правой, аты-баты,
Шли солдаты на меня.

Аты-баты, век какой?
Аты-баты, золотой.
Аты-баты, сколько стоит?
Аты-баты, сто веков!

* * *

Хоть наг и бос, не безголос
Твой крестный ход, моя Россия!
Не в каждом воине — Христос,
Но в каждой матери — Мария.

Дай силы волею любви
Исполнить заповедь свободы
И милостью одушеви
Немилосердную природу.

Иль нет ни окон, ни дверей
В ее обители железной,
И слезы смертных матерей
Стучат в бунтующую бездну?

* * *

*Всё бьётся человеческий гений.**В. Ходасевич*

И вдовый стон, и горький дух гонений,
 И лязг, и скрежет волчьих поселений —
 Не зря слезам не верила Москва! —
 А всё же бьётся человеческий гений,
 И остается без поминовений
 В сырой земле, не помнящей родства.
 И та же пляска обгаренных душ —
 Юродивых, насильников, кликуш,
 Святых чертей, пророков бесноватых,
 Пустых колóссов, странников горбатых,
 Уставивших глазницы в никуда...
 Россия, долго ль будешь виновата?
 Иль впрямь, многоповинная, права ты
 До лучших дней — до Страшного Суда?
 Еще не все отстроены остроги,
 Еще не все раздроблены пороги,
 Не все еще размыты берега...
 К ненастью дело. Месяц, вновь пологий,
 Глядит на потемневшие дороги,
 Нацелив вверх зеленые рога.

* * *

*Ты возьмешь этой крапивы...
 сплетишь одиннадцать рубашек-панци-
 рей и накинешь их на лебедей; тогда
 колдовство исчезнет.*

*Ганс-Христиан Андерсен,**«Дикие лебеди»*

Обернется лебедь — братом,
 Лебединым станом — стая,
 Пламенем весны крылатым,
 Знаменем войны блистая.

Погорельцы ль мы? Скитальцы?
Духу ль телом быть спаленным,
Коль изнеженные пальцы
Вам плетут булат калёный?

Руки стебли вяжут в нити,
Жжёт огонь следы босые...
Братья-лебеди, летите
На ладонь мою, Россию!

А у Бога я просила,
Чтоб послал он мне удачу:
Чтоб крапивы мне хватило.
А от боли я не плачу.

* * *

Ни обрывистых скал, ни отвесных дорог —
Завернулся Урал в оренбургский платок.

Спи, твой дом подметает мужичка-судьба
И по голой степи намечает гроба.

Спи, — подзоры, герань, чаепитья на лад,
Скоро черная рань да дубленый бушлат.

Отпусти-ка, беда, самогона глоток
И вагоны туда, на восток, на восток...

И плетется земля, цепенея, шажком,
За крутым, даровым, ломовым мужичком.

Предатель

Роман

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

*«Отколе начну плакать грехам
моим?»*

Великопостный канон

Труд египетских рабов не был бессмысленным: они строили пирамиды.

И которое уже тысячелетие эти геометрические горы прорезают вечность, вращаясь вокруг земной оси вместе с мертвым песком Сахары. Они будут вращаться до века, до исхода земной истории, ненужные и величественные.

Наш труд лишен всякого величия. Мы составляем рапортчики и сводки, которые ничему не соответствуют, мы строим бараки и вышки, которые сами же носим, мы прокладываем тракты и уничтожаем лес, распиливаем его на бревна и гоним прочь из России. Мы строим канал имени Сталина. Но ведь в его власти назвать своим именем всё, что угодно, весь наш могущественный ГУЛАГ и все земли, которые мы осваиваем, всех нас, с нашими котелками и ложками, изломанными ногтями, вшивым бельем и ненасытным желудком. Зачем же рыть? Почему не сложить пирамиду из стали, гораздо больше египетских?

Пирамида из нержавеющей стали и надписи, выложенные черепами:

«СЛАВА ВЕЛИКОМУ СТАЛИНУ!»

«ТРУД — ДЕЛО ЧЕСТИ, ДЕЛО СЛАВЫ, ДЕЛО ДОБЛЕСТИ И ГЕРОЙСТВА!»

Вот это простояло бы века. А канал, по которому гонят лес и тянутся баржи, переименуют через пару десятков лет.

В противоположность рабам фараонов наш труд бессмыслен.

Но мы всё те же, мы даже еще древнее. Наша жизнь допирамидна, пещерна. В наших бараках, землянках и шалашах простота первобытного коммунизма.

Летом на лесосплаве, под голой луной, в голых сумерках белой ночи мы мелькаем в косматых лохмотьях, раздуваем костры над болотом, помешиваем вариво в котелках, выбрасываем из гортаней редкие невнятные слова, жёсткие, как перебранка. Мы вдыхаем колючий северный воздух, доносящий лесные шумы: хрусты, трески и шелесты ищущих пищу зверей, всплески рыб, шлепанье гадов, чавканье человеческих ртов.

Тысячелетия таких вечеров позади и впереди нас, и мы здесь, как тысячи лет назад, снова в пещерном веке, под заревом первых костров, над первой собранной пищей собрались, как первое племя, не знающее, что творится за лесом, кто живет на другом берегу реки.

И мы не хотим этого знать. Какое нам дело до Парандова, до Медгоры, до Ленинграда? Какое нам дело до других людей, других работяг, других командировок? Какое нам дело до потерянных лет, до дальней страны, где строят дома и рождаются дети, где на окна ставят герань и выращивают столетники?

Мы катаем круглые бревна-баланы, стаскиваем их в реки, толкаем баграми, гоним и тянем, куда прикажут. У нас болят руки и спины, лупится вспухшая цыпками кожа.

Зато в обед и вечером нам дают горьковатую пшённую жижу, а кто половчее и посчастливее — умеет словить себе рыбину, подхватить десяток грибов, набрать

ПРЕДАТЕЛЬ

горсть малины или морошки... Мы — примитивные добытчики и собиратели, главный орган нашего тела — брюхо. Мы мучаемся и жрем, а нажравшись, не смотрим в небо. Нажравшись, мы спим, у нас делаются лица идиотов, и домашние насекомые — вши и клопы — безнаказанно питаются нашей кровью.

А как первобытно одинок каждый из нас! Толпа одиноких самцов. Каждый сам по себе; каждый сам за себя. Среди нас нет ни самок, ни детенышей. И когда мы тянем балан («раз-два-взяли!») мы делаем это каждый для себя, для своей нормы, для своей каши. А кому посчастливится ухватить боровик, тот торопливо прячет его себе. Себе одному.

Мы не чешемся и не моемся. Выг холодный, и утром над гладкой водой туман, в который дрожко спускаться. Мы пьем разогретую воду, когда она называется «чай», но мыться... нет, мыться противно.

Мы скручиваем собачьи и козьи ножки, рожки из обрывков мятой бумаги, подхватываем с бурых ладоней махорку и затягиваемся жадно, как опиум, кашляем с густой мокротой, харкаем и принимаемся за работу. Бригада к бригаде, плечо к плечу; «раз-два-взяли!» И горе филонам и слабосилке, не умеющей «взять». Мы присматриваемся и поднимаем крик. У нас не словчишь. Мы идем на ударный котел, мы ведем борьбу за сытое брюхо. Хочешь жрать: давай вкальвай. Нет сил — иди к доходягам. На тебя работать не будем!

И разминаются руки и спины, срываются корки с царапин, смачиваются белой сукровицей. Ладони у нас, как подошвы, спины у нас, как ладони. И килограмм хлеба в день, приварок (каша и рыба), жар костров и белые ночи, шапки сосен, туман от реки и сон, как смерть, как отсутствие чего бы то ни было.

Миллионы отработанных человеко-дней, одинаковых, как доисторические века.

Если кто-то из нас освобождается из лесной бригады, ему нечего рассказать. Годы для него — ноль. Они смяты в сплошные сутки. Памяти о них нет, потому что нет душ, с какими живут на воле. У нас разные силы, но души у нас одинаковые. Мы — спаянный коллектив: каждый за себя, каждый за свой кусок.

**
*

Когда лето проходит, мы складываем свои пожитки и уходим, куда прикажут. Мы номады, кочевники. Мы идем туда, где есть пища, бараки и стрелки вохра. Мы питаемся милостями беспощадного начальства и перемещаемся вслед за источником пищи. Зимой пища нам особенно нужна. Зимой холодно и нет ни грибов, ни ягод. Зимой мы производим лесоповал с вывозкой на лошадях и вручную. Выполнить норму вручную нельзя. Вот почему так жалко, когда умирает лошадь.

Друг друга мы не жалеем. Нас очень много, и смерть человека — личное дело каждого. Невыполняющий нормы лишь захламляет лагерь. Лошадь же — друг работяги. Вот почему так запомнились лошади Гнедка и Серка, с которыми мы работали.

.

Если хочешь иметь настоящего друга, заведи собаку или лошадь. Ты от них не услышишь упрека. Преданность их беспредельна. Дружба их бескорыстна и необидчива. Ты можешь их бить, если хочешь. Ты для них божество, и унижить их ты не можешь. Твоя ласка дорога им, как тебе — вдохновенье. С ними ты не будешь одинок: они любят тебя любого и не ждут от тебя справедливости.

А когда ты привыкнешь к лошади, ты узнаешь, что лошадь красивее всех на свете. Работяга жрет, как шакал, а у лошади мягкие губы; лошадь пьет, как целует воду.

Гнедка и Серка прибыли на лесосплав в мае месяце, когда появляются травы и мы отвлекаемся от работы в поисках щавеля, восхитительно кислого, снимающего зимний авитаминоз, излечивающего от кровотечения десен, от куриной слепоты, от звона в ушах, от ночного недержания мочи. Пожирание щавеля — это пункт в великой программе «ВЫЖИТЬ!», главной цели нашего существования.

Гнедка и Серка прибыли к щавелю, к богатой траве на лугу у Выга и вышли сразу на этот луг, а через три недели отдыха (начальство допускает лошадиный отдых) превратились из жутких одров в работоспособных лошадок. Всё лето они трудились и ели. По ночам был слышен их сочный хруст, работу старательных лошадиных зубов, срывающих и пережёвывающих пищу. И всё лето два подкулачника, два классовых врага, осужденных за бандитизм, умоляли лагерное начальство выдать им хоть косу, хоть серп, накосить, наготовить сена к зиме, обеспечить Гнедку и Серку.

Не выдали. Отвечали, что сено будет, как запланировано по норме. Филонить нечего. Баланы надо катать, а не в траве возиться. И с приходом зимы гладкие наши лошадки стали быстро терять травяную силу, худеть, грызть кормушку оскаленными зубами и горестно ржать, просить пищи.

Враги убивались. Кончив норму, шли к слабосильным придуркам, обязанным готовить веточный корм, мелко рубить и распаривать в кадках концы березовых веток, и мучительно материли их, доказывая, что корм плохой: очень крупные сучья и нарублены не как следует.

Началась зимняя лошадиная трагедия.

Заглавие: «БОРЬБА ЗА НОРМЫ» (у нас всегда за что-нибудь «борьба»).

Содержание: две душераздирающие сцены.

В первой — враги рабочего класса уныло переминаются перед начальством, не зная, куда сунуть мо-

золистые руки, и однообразно повторяют, что лошадь — рабочая скотина, а потому нужно сено, а если нет сена — солома, а веточный корм не годится, в нем силы нету. Начальство кричит на них громким голосом, доказывает про строительство, вскрывает их кулацкое нутро, борется за лошадиные нормы вывозки.

Во второй — изнемогающие возницы лично включаются в борьбу за нормы. Подпирая балан плечом, они хрипло вопят «но! но-о!», топчутся сами, как кони, мельтешат ногами на подъеме и, наконец, останавливаются, еле переводя дыхание, снимают шапки, оттирают пот и (в который уже раз, о Господи!) вдруг с отчаянием понимают, что с такими одрами никакой нормы не выполнишь.

О, раздутые веточным кормом барабанные лошадиные животы! О, истощенный животный мат, захлебывающийся отчаянием! О, звериная тоска по сытости, в которой несчастный возница в непременно выдать норму всё свирепей, всё яростней хлещет одра хворостинкой не по громоздким мослам худобы, не по раскоряченным ребрам, а сладострастно выбирая места, еще способные чувствовать, стараясь заехать под живот, под пах, по губам, по глазам, по тем самым «тоскующим кротким глазам», именно по тоскующим, именно по кротким и именно по глазам, смотрящим на него без упрёка!

О, бедные, бедные лошади! Хорошо бы упасть. Струйка крови из лопнувшей жилы, и глаз мутнеет: прости, хозяин, мне жаль, что я не могу.

О, бедные голодающие возницы! Те самые, которые в эпилоге трагедии освобожденным уже по ветосмотру, осужденным уже, списанным уже лошадям лениво, с подчеркнутой неохотой и как бы совершенно между прочим продолжают подбрасывать веточный корм, пока не придут к ним с ножом, не перережут горло и не упадут они набок, беспомощно растянув-раскинув костистые ноги с большими рабочими копытами, подбра-

ПРЕДАТЕЛЬ

сывать из той простодушной жалости, которую знаю по детству, которую испытывал к отставному плюшевому мишке.

(Это даже тетя позволяла. Я спал тогда с мишкой (не с лиловым, а с настоящим бурым, каких дарили хорошим детям в доброй царской России), а когда подрос, стал стесняться и не хотел брать его под одеяло, в то же время жалея, что ему одиноко и холодно. Я долго потом, раздеваясь, укладывал его в кресло возле постели и, будто случайно, накрывал снятой с себя одеждой. И всегда, чтобы у него нос торчал, а то душно.)

**
*

У Доктора удивительные руки.

Простодушные, жалостливые и властные, они заживают любые раны. Они ощупывают больное тело, выслушивают его и врачуют. Они уверенно ложатся на язву и выдавливают из нее гной. Они смешивают и подают лекарство, как священный целительный дар. А пока Доктор говорит, они покоятся у него на коленях, на столе или на краю постели и ждут, когда надо будет действовать. В них живая деятельная доброта, какой не бывает в лице и в голосе. Такие руки были у апостолов, у Николая-угодника, вероятно, у Дон-Кихота.

Эти руки положили меня в стационар, постучали по моей спине и груди, пощупали мой живот, помяли под худыми ребрами, а потом, словно благословляя, откинули мне со лба грязные волосы.

.

Доктор сказал:

— Пожаляуста. Лежите и отдыхайте. Ви не есть больной. Ви — истощений дистрофик. Вам нужно только три вещи: питание, отдых и еще раз питание. Ви здорови и только слишком истощени немножко. К счастью, ми имеем замечательный препарат из лёшадиной

печени и крови. Ви знаете, ми полючаем иногда умирающий лёшади и пользуем их для наших дистрофиков. Сегодня ми полючаль одну такой лёшадь и завтра будем сделять препарат из лёшадиной печени плюс витяжка от елёвой хвои и немножко рибий жир. Это ви принимайте три раза в день по столёвой лёжке, лежите и отдыхайте. Через неделю печени больше не будет, но будем продольжать витяжка плюс рибий жир и питание, как можно лючше. Обед не всегда вкусно: очень много крапива. Но ви постарайтесь скушать. Ви прибил очень удачно: лёшадиный бульон с крапивой и жарений лёшадиный мясо. Жарений лёшадь замечательно хорошо; варений — хуже, но бульон из костей это для вас как бальзам, все нужние вещества. Еше ви полючите здесь, на столик, солений гриби и квас. Гриби — это фосфор, бельки, железо. Бельки от грибов плёхо усваиваются, но железо вам очень полезно. Плёхо, что много соли, но ми будем делять бальянс и давать суп немножко мале солений. Квас от брусники и клюквы это витамин «с», но витамин «с» тоже очень много есть в хвойной витяжке. Квас, пожалюста, пейте не больше как три стакана в день. Много жидкость вам вредно.

Я не задавал Доктору никаких вопросов. Я стеснялся его задерживать. Но он сидел и болтал, словно я был единственной его заботой. Доктор был мал ростом, коренаст и совершенно лыс. Он смотрел на меня узко посаженными круглыми, живыми глазами и смеялся, обнажая редкие желтые зубы. Великолепный орлиный нос и большие сочные уши придавали его лицу что-то еврейское. Но он не был еврей, он был немец, откуда-то из Саксонии, попавший в Галиции в плен и увлекшийся коммунизмом. Доктор был знаком с Джоном Ридом, лично видел когда-то Ленина, ездил потом в Китай по заданию Коминтерна, встречался с Сун Ят-сеном и Чан Кай-ши, отчитывался перед Зиновьевым и теперь сидел за троцкизм. У него была чешская, очень смешная на русское ухо фамилия: Попросил. По имени-отчеству,

— Готлиб Францевич, — его никто не называл. Все говорили о нем просто «Доктор»: «Доктор сказал», «Доктор велел», «топай до Доктора». Его авторитет в сангородке был непререкаем. Исполнялись не только его распоряжения, но и его запреты, даже непонятные работягам, как, например, запрещение матерщины, которой я не слышал ни разу в его присутствии.

— Конечно, вам можно вставать с постели и немножко гулять по палате, — продолжал он свои наставления. — Но лучше лежать и думать. Ваша душа тоже очень устала и не хочет разговаривать с другими больными. Пожалуйста, вспоминайте вашу жизнь, какая она была, и если хочется плякать — пожалуйста. Плякать вам очень хорошо. Душа есть сухая земля и хочет пить ваши слёзы.

.....

Он встал и чудотворной своей рукой провел по моим глазам, и они заплакали сладко, вспоминая всю жизнь, какая она была, утоляя жажду души, восстанавливая память.

.....

Я ведь сказал уже.

О лагерях нет памяти. О них есть только воспоминания, яркие, как сны, и сны, яркие, как воспоминания. И нельзя отличить одного от другого. В них Парандово, Медгора, Попов остров вобрали в себя всё, что было, срослись в единство и стали просто *лагпункт*, отвлеченная идея, общее понятие, собирательный образ, сновидение-символ всего, с чем нельзя примириться, сродниться, сжиться, что нельзя полюбить, к чему можно только привыкнуть, как к уродству и к одиночеству, как зверь привыкает к неволе, горбун — к взглядам прохожих.

На Поповом острове я был два раза. В первый раз в пурге, в метели, в буране. Второй раз по кольцевому маршруту. Там носилась еще тень Курилки, там еще шептали друг другу:

— Вишь камень в море? На него босыми ногами ставили. Кого на час, а кого на всю ночь. Кто на камне стоял, тому своими ногами не выйти.

— Про «здра!» слышал? Это его приветствовали. До тыщи раз. Кто «здра!» кричал, своим голосом не поговорит.

— Дрына не пробовал? Это палка такая, для боя. Кто дрыном бит, в том до смерти испуг сидит.

Лагерные воспоминания, как кольцевой маршрут: вставай, потопали! А кольцевой маршрут я знаю, пережил. Вошел и вышел. Вошел самоуверенным, гордым, крепким, в бушлате первого срока, в валенках на кожаном ходу и с килограммом сахара в карманах. Вышел, как и положено, тяжким дистрофиком-доходягой с пересохшей душой и полным воды животом.

И под ласковой сенью Доктора лежу с сырыми глазами сутки, неделю, месяц, почему я знаю? Глотаю спасительный препарат из хвои и рыбьего жира, пью бульон из лошадиных костей и возвращаюсь к жизни, складываю в единство разрозненные воспоминания, просматриваю картину за картиной и удивляюсь: Господи, я ли это?

**
*

Потому что опять.

Снег. Снег. Снег. Метель. Пурга. Буран.

В метели тюремный двор. В метели Октябрьский вокзал. В метели Москва-Товарная.

В метели рассвет.

В метели глаза. Глаза ПРОВОЖАЮЩИХ в лагерь.

В сторонке — где можно — откуда видно — где с вечера стояли-ожидали.

Голубые, полные слёз.

Воспаленные серые. Возмущенные карие. Обезумелые черные. С правого края — спокойно стальные — сухие — тетины родные глаза.

ПРЕДАТЕЛЬ

За последним свиданием — последний взгляд.
(Перед отправкой в лагерь родным разрешается свидание с осужденным.)

Вызывают: «без вещей», «на свидание». Проводят по коридору и

.

Вижу тетю, какая она была, какой пришла ко мне в последний час перед отправкой в лагерь. Какой явилась в легендарные Бутырки, в камеру свиданий, спокойная, как всегда, с редкими, с проседью, на прямой пробор волосами, с маленьким тугим узлом на затылке. Губы приспущены к углам рта, сжаты плотно, лишнего слова не выронят.

Видно, расстроилась моим жалким видом, но промолчала. Принесла вещи, как положено, ни мало, ни много, в узком длинном мешке, чтоб удобно просунуть в окошко. Спросила, будет ли обыск, и тихо, чтобы не слышал дежурный:

— В булке — разлочишь, найдешь — советскими тысяча; в ватнике — николаевский золотой. Крестик вот мамин: целуй. С собой не дам. Носить ведь не станешь, а продавать — грех. Дай перекрещу на дорогу. Я тебя вырастила, мне за тебя и ответ держать. Прощай. Да нечего-нечего, реветь я тебя не учила. Какой вышел, такой и живи. Там тоже не все помирают, авоська еще вернешься.

И ушла. Прямая, суровая, в тяжелых ботах, в старомодном сером пальто, нелюбимая родная тётя.

И повернувшись лицом к стене, умираю от благодарности, от любви, которую уже не выразишь, от стыда за свою бесчувственность. Плачу о равнодушии сердца, не сумевшего даже заметить для него же живущей жизни.

Тётя моя, безупречная моя воспитательница! Ну как можешь ты за меня непутевого свой строгий держать ответ? Разве мало ты драла меня отцовским ремнем, разве мало томила над букварем, разве мало вну-

шала, что жить надо правильно, честно и строго, по Библии и по бухгалтерской книге, добросовестно подводя баланс и равнодушно отворачиваясь от соблазнов?

Ты-то верно и сейчас сидишь над чужим грессбухом, постукиваешь на счётах, подводя чужие итоги. А расписавшись в получке, тратишь ее расчётливо, без баловства, на хлеб, на капусту, чтобы осталось и на чёрный день, и на праздник моего возвращения.

Столетники на твоём окне пришлось, верно, переставить в горшки побольше. И чистота у тебя, и лампадка горит всю ночь. И лежишь ты с тонкой косой по рубашке на высокой твоей постели и думаешь о моей несправедности.

И напрасно, закусив грязный рукав бушлата, плачу о твоих горьких мыслях.

— Теперь ревешь, небось, раскаиваешься, а что толку? Шел бы прямо, как я учила, был бы настоящим человеком. А реветь нечего, нечего. Слезами горю не поможешь.

И лежишь ты с сухими глазами, и не догадываешься даже, что нужен был тебе другой племянник, болтливый и ласковый, как девочка, умеющий обнять тебя за шею и выпросить всё, что ты накопила.

Ах, бедная моя тетя, прости, что я не был таким!

**
*

Из воспоминаний складывается память. В памяти хранится история. Не на мы, а на я. Не наше всеобщее, слитое в одиночестве, вываливающееся из памяти прозябание, а моя жизнь, моя биография, мое место в мире — не найденное, нестоющее, ненужное.

Три курса медфака Второго МГУ, 1929—1933 гг.

Арест по обвинению в организации анархо-монархотроцкистского блока с целью реставрации капитализма. Тюремная камера и

.

ПРЕДАТЕЛЬ

Он лежал мундштуком ко мне, едва надкуренный, сухой, красивый. Дымок поднимался от него стройным дрожащим столбиком, вытекал двумя параллельными струйками, одна потемнее, другая посветлее, и так, вместе с этими струйками, в десяти, может быть, пятнадцати сантиметрах высоты, колебался, вибрировал, словно кто-то снизу, по столбику посылал ему всё учащавшиеся толчки. Потом закручивался в спираль, образовывал шапку и быстро редел и рассеивался, распространяя восхитительный пьянящий аромат, куда более желанный, чем глоток воды или ломоть хлеба.

.

Когда, воровато оглянувшись на дверь, я протянул руку к окурку, я следовал зову желания. Надо было успеть затянуться до возвращения следователя — вот и всё. Я вовсе не боролся ни с каким искушением, и когда он вернулся, совершенно сознательно и довольно ловко бросил окурочек обратно в пепельницу. Я уже достаточно огрубел в камере, около параши, и если бы следователь обложил меня матом или ударил, я бы принял это как должное. Я сидел в тюрьме и вел себя как заключенный. Только трусишка на моем месте упустил бы возможность затянуться. А следователь — чёрт с ним, пусть думает и делает, что хочет. Всё идет, как положено, как я представлял себе в камере.

Только сам следователь не укладывался в мои представления. В нем было что-то дворянское: небольшая изящная рука с перстнем, ладная подтянутость движений, выправка, которая продолжала чувствоваться, когда он сидел и перебирал бумаги. Гимнастерка чекиста сидела на нем, как офицерский мундир. Он был начисто выбрит, а виделось, будто на верхней губе у него стрелки узеньких усиков. Он даже подносил к ним руку, точно пощипывая. Провокация, которую он мне устроил с окурком, была острая, как эти усики.

— Ба-ба-ба! Да вы докуриваете мой окурочек! Дорогой мой, зачем же? Вот папиросы. И как это я не поду-

мал вам предложить! Пока вы здесь, у меня, пожалуйста, курите, сколько хотите. В камеру дать не могу. Не имею права. А здесь — пожалуйста!

Мы закурили, и мне стало стыдно. Вместе с душистым дымом в меня вошла благодарность: какой человек! Как тактично, как по-товарищески он сумел дать мне нестыдный выход! Каким простым жестом, вовремя вытянутой коробкой папирос вернул атмосферу любезности, дружелюбия, атмосферу, в которой хотелось поговорить, обменяться мыслями, разузнать об ожидавшей меня судьбе!

— Всего пару лет тому назад, в эпоху нэпа, вы, конечно, помните, — говорил он мне, — создавалось впечатление, будто вся Россия ждет не дождется социализма. Мы накручивали себя дискуссиями, ложась спать, подкладывали под голову «Коммунистический манифест», а просыпаясь, снова начинали галдеть о формах и принципах, о промышленной революции, сопротивлении эксплуататорских классов и союзе с крестьянством. А теперь вот оказывается, что это самое крестьянство, исторический союзник пролетариата, — попросту вековые русские мужики с топорами — проламывают черепа тем из нас, кого партия направила строить колхозы. Вы бывали в деревне? Видели? Ведь это, действительно, чёрт знает что! Вспомнишь двадцатые годы, и сердце сжимается. Пустые поля: никто не хочет работать. Забитые избы: кто может, уходит в город. А что в городе? Видели, конечно, на Каланчевской площади? И добро бы кулацкие жены, нет! Середняк. Середняк сидит на мешке, доглаживает последний сухарь... Кстати, у вас в камере насчет сухарей тоже не густо. У меня сейчас время поесть. Я приказал и для вас. За компанию. Знаю, что не откажетесь. Вполне приличный ужин, вполне приличный. Вероятно, уже готово.

Он позвонил, и действительно принесли ужин. Крепкий горячий чай, французские булочки, как те, за

которыми именно в эпоху нэпа бегали в школьные перемены. Яички, сваренные мягко, в мешочек. Розоватая ароматная колбаса, «московская чайная», такая, как тоже в эпоху нэпа подавали в деревне Подушкино, куда мы ходили ликвидировать вековую безграмотность.

Там, в чайной, где мы брали эту колбасу, висел плакат, творение районного грамотея-художника: над черной, очень большой и очень страшной мухой, похожей больше на речного рака, занесена мозолистая рука с хлопущей и надпись:

ТОВАРИЩ! МУХ УНИШТОЖАЙ! СОЦИАЛИЗМУ ПРИБЛЕЖАЙ!

Под плакатом подушкинские середняки с полотенцами на шеях преспокойнейше дули чай с баранками, а нормальные мелкие мухи порхали вокруг безобидными стайками, угощались колотым сахаром, путались в бородах и скользили по потным лысынам.

.....

Это мушиное воспоминание заставило меня заговорить. Захотелось рассказать о мухах. Рассказать так, чтобы мой новый приятель понял, что я его понимаю, чтобы мы вместе разобрались в наших мыслях, оценили происходящее, решили бы занимающий нас обоих вопрос: что же делать?

Мы оба чувствовали эпоху, переломные тридцатый и тридцать первый годы, шесть условий Сталина и лозунг о ликвидации кулака как класса. Страна голодала, и в Москве это тоже сказывалось. Рабочие получали на день по восьмисот граммов хлеба, служащие и иждивенцы — по четыреста. В буфете нашего института давали, кроме того, бутерброды с баклажанной и лебцово-икрой, которые брали ради тонкого ломтика хлеба, икру же сцарапывали и бросали. Сырой, просолившийся от мерзкой смазки хлеб запивали мутным, невесь из чего приготовленным чаем без всяких признаков сахара. В обед получали костлявый кусок соленого леща и ложку пшенной или ячневой каши (ячкаша!), сорной,

перемешанной с каким-то песком. За этим обедом стояли очереди. Стоишь возле столика с талоном в руке и ждешь, пока освободится место, а люди едят, и кажется, что им вкусно.

По всей Каланчевской площади (именно тогда ее переименовали в Комсомольскую), особенно же под Южным мостом, да и кругом в переулках, сидели на мешках беглецы из деревни. Можно было видеть, как они развязывали узлы, доставали оттуда свое хозяйство. Есть большинству было нечего. Деревенские ребяташки болтались по всей Москве, клянчили довески у хлебопекарен, теряли родителей, учились понемногу воровать и превращались в беспризорных, хоть, правда, не в тех лихих оборванцев, что, подходя к трамвайному буферу, по-хозяйски говорили: «пацан, слазь!», и мы, тоже не барчата, безмолвно слезали и оставались ждать следующего вагона. Нет, беспризорные сталинской пятилетки были унылые. Глаза их блестели голодным блеском, животы пучились, лексикон был слаб и беспомощен, а уворованное они пожирали мгновенно, почти не таясь: отбежит в ближайшую подворотню и ест. Это был чуждый советскому строю, нежизнеспособный элемент, кулацкие дети. Милиция забирала их пачками и распределяла по детдомам, где они погибали. Настоящих урок из них получилось мало. Я это точно знаю по лагерям.

Лес и хлеб, золото и пушнину, картины ленинградского Эрмитажа и продукты питания — всё, что партия умела вырвать у собственной бесхозяйственности, направлялось по бросовым ценам заграничным капиталистам. Мы покупали машины и оборудование, мы перевыполняли пятилетний план, мы догоняли Америку, мы строили социализм в предельно сжатые сроки. Мы неблагодарно уничтожали старую русскую жизнь, ласковую и дикую.

Россия стонала и выла под кнутом второй революции. Народное хозяйство было взорвано пятилеткой.

Народная жизнь перепахана коллективизацией. Время нэпа, с его бесчисленными артелями, белым пушистым хлебом, бубликами, подсолнушками, ирисками, нэпманами в бобрах и каракулях, извозчичьими биржами и базарами, торопливо богатееющей деревней и всеобщей жаждой учиться и творить новое, провалилось в дореволюционное прошлое, оказалось чуть ли не в царской России, в России крестьян и мещан, рабочих и служащих, сытой, истовой, законопослушной, с удивлением взирающей на причуды своих новых хозяев, на их небарские аллюры, на лефы, ликбезы и пролеткульты, на их ходульную агитацию, на непонятную озабоченность судьбой Чемберлена и английских шахтеров, на культармейцев и синеблузников, на комсомольскую молодежь, — что же спорить, — свою, но какую-то ошалелую и крайне подозрительную.

Время нэпа как корова языком слизнула: мы его просто не помнили. Мы раскололись: комсомольский актив пополнился армией энтузиастов пятилетки, другие отшатнулись с ужасом. Страна покорилась с озлоблением. О власти, которой первоначально сочувствовали за пролетарское ее происхождение, за простоту, за хождение в народ, стали говорить: ОНИ. Одна группа фанатиков боролась за власть. Другая воображала, что строит социализм. Остальные старались приспособиться и устроиться: надо же как-то жить.

Наше поколение (молодежь) по-прежнему сбивалось в кружки, но кружки эти приняли другой характер. Наш школьный класс, прежде дружный весь в целом и сохранявший эту дружбу и после выпуска, уже зимой тридцатого года распался на группки по несколько человек. Наш комсорг, Тоня Котова, кстати, очень славная девушка, с которой мы отлично ладили, вдруг исчезла с моего пути. Мы ничуть не поссорились, но ни она, ни другие из комсомольцев больше не искали с нами встреч. Их как отрезало. Я даже не знаю, куда они подевались. Не думаю, чтобы они все умчались строить

свой Комсомольск-на-Амуре. Кружки из комсомольцев и кружки с комсомольцами просто перестали существовать. Существование их было бы бессмысленным. Дискуссии кончились. Та, которую мы вели со следователем, продолжалась потом в камере № 13. На воле это больше никого не интересовало.

Я рассказал обо всем этом следователю. Он меня понял. Он ведь и начал с того, что сам стал смотреть на жизнь другими глазами. Нам обоим было уже не до «Коммунистического манифеста». И я рассказывал дальше:

— Вот вы сказали про середняка, как он сидит и доглядывает последний сухарь. Я вас понял. Я ведь живу в Лосиноостровской, это по Северной, и я каждый день тогда проходил мимо. Все мы проходили. И все эти бывшие кулаки, вернее, их жены и дети, были привычной картиной, и, если смотреть снаружи, пожалуй, покажется, что никому и в голову не приходит удивляться или негодовать: бегут из деревни, ну что ж, строим социализм.

А в душе у меня, и у вас, и у каждого — революция. У меня, например, из-за мухи. Вы представьте себе: вот сидит на рогожном куле деревенская женщина, до глаз повязанная платком. Возле нее спит младенец лет четырех, прямо на мостовой. Головка запрокинута назад, на шейке выступила голубая жилка, на щечках размоины, вокруг приоткрытого ротика налипла гадость. Несколько разной величины мух толкаются на этой гадости, ощупывают ее расплюснутыми книзу хоботками. А мать сидит возле и смотрит выцветшими глазами, не оботрет гадость, не поправит головку, не свернет хоть тряпку вместо подушечки, словно и не ее ребенок. И мух не отгонит.

Я хорошо рассмотрел тогда этих мух, их жадные хоботки с присосочками, их мерзкую деловитую толкотню. Вот почему — мушиный плакат с хлопущей.

ПРЕДАТЕЛЬ

Тогда, в эпоху плакатов, мухи были нормальные, ели сахар и ползали по лысынам. А теперь плакатная злая муха, с клешнями, как у речного рака, села на мальчика, выбросила шляпкой вниз отвратительный грибообразный хоботок и попрессовала-пососала им гадость, покушала, сыта и довольна.

В песнях поется о воронах, что слетаются клевать мертвую человечину. На Комсомольскую в ту осень слетались мухи. У мух не клювы, а хоботки; они не клюют, а сосут.

Сталин назвал это ликвидацией кулачества как класса. Троцкий — феодальной эксплуатацией крестьянства. О мухах они не думали. А я рассматривал муху, как на плакате. А сидевшая возле крестьянка рассматривала отчаяние.

Я не видел другого грудного младенца в тряпках на руках у матери. А он запищал вдруг негромко, нетребовательно, лишь бы не всё время молчать. И мать сразу со злобой, словно этот слабый писк пронзал ей уши, выпростала сухую грудь, встряхнула ею и стала совать в беззубый ротик сиреневый сосок на мешке морщинистой кожи:

— На! На, соси! Нет у меня молока! На, соси! Может, кровушку присосешь! Соси кровушку, нет у меня молока!

«Прыжок из царства необходимости в царство свободы». «Преимущества коллективного хозяйства». «Светлые вершины коммунизма»... Пусть отсохнет язык у того, кто скажет, что я не виноват. Все мы, и я, и вы, все мы виноваты!

Моя, нестерпимо моя вина за сухую грудь, за это «пей кровушку!», за бабье бессилье хоть мух отогнать от сына, за наше ликбезничество и синеблужничество, за мои книжки и университеты, за мою почти сытую беззаботность торопливо открыла студенческий мой портфелишко и, дрожа от взволнованной жалости, выложила из него полдюжины соевых батончиков, банку

баклажанной икры, три огурца в газетной бумаге, вынула из моего кармана бумажник и, стыдясь и смертельно боясь, что несчастная станет отказываться и придется унижительно уговаривать ее взять, осторожно начала с денег:

— Вот деньги — совсем мало, двадцать рублей. Возьмите, пожалуйста. На них можно купить толокна. Там, в бакалейке, — вы знаете, — иногда бывает толокно. Оно хорошее. Вы его где-нибудь сварите. Даже варить не надо. Просто обдать кипятком и кушать. Кипяток ведь есть на вокзале. Толокно вкусное. Пожалуйста, возьмите. Я его тоже ем. Хлеба ведь не хватает. Четыреста граммов мне тоже мало. А толокно — хорошо. Толокно очень хорошо, если голодный. Толокно — из овса. Знаете, овес — обдирают и мелют. Получается мука — овсяная мука — толокно. Питательно, даже питательней хлеба. Лошади сильные, потому что едят овес. Мальчику вашему дайте овса. Он поправится. Будет сильный, и вы будете рады. Вы не обижайтесь на меня, гражданка-баба. Я, извиняюсь, даю, что могу. От души. И — пожалуйста — это не жалость — нет. Это — дружеская услуга.

И вот еще карточка — продовольственная — второй категории — работники умственного труда — служащие — бухгалтеры — студенты. Я — студент — в МГУ — Московский Государственный Университет. Я по медицине. Думаю стать психиатром. Знаете, — доктор. Лечит душевные заболевания — душа болит — травмы — маниакальные состояния. Возьмите карточку, возьмите-возьмите. Это каждый день четыреста граммов и еще что-нибудь. Что? Я? Я обойдусь, мне не надо. Я толокна куплю. И у меня еще есть и тетя. Берите-берите...

Так умоляя ее любезными словами, неизбывная моя вина высыпала ей всё на колени и увлекла меня прочь, не оглядываясь, словно от каменного идола, которому я принес свою жертву.

**
*

Эта история с бабой была, конечно, контрреволюция. И чёрт меня дернул выкладывать душу следователю!

Меня увели в камеру абсолютно сбитого с толку и привели на другой вечер абсолютно ни к чему не подготовленным. Ясно было одно: я контрреволюционер и судят меня за бабу, за отданную кулачке трудовую карточку, и за всё, что за этим последовало.

Последовало же оформление контрреволюции в лице хрупкого юноши с черными ожидающими глазами, самозабвенного и застенчивого.

Юноша подошел ко мне на Комсомольской. Тут же, едва я отошел от бабы.

— Извиняюсь, я видел, что вы лишили себя вашей продовольственной карточки, и считаю долгом, извиняюсь, считаю честью пригласить вас на ужин. На скромный ужин. На толокно. У меня дома целый мешок толокна и есть немного какао. Сварим и будем ужинать. Какао даст аромат. Толокно и какао вместе — ароматно и очень вкусно. Пожалуйста, не отказывайтесь. Очень обидели бы. Я и живу неподалеку. На Краснопрудной. Я — Федор. А как ваше имя?

В начале Краснопрудной, кажется, как раз на углу Комсомольской, в то время была пивная. Из открытой двери обтрепанно мотался хвост очереди. Спустившись четыре ступенки в полуподвал, люди проходили к стойке, за которой узкогрудый насосник, с гнилыми зубами и бородавкой на кончике тонкого носа, открывал и закрывал медный край соснового бочонка и, скинув деревянной лопаткой пену, вручал покупателю полупустую кружку.

— Сдачи не сдаю, мелочи не имею. Прощу уплачивать не отходя от стойки!

Ему без протестов платили лишнее и, на ходу захватывая из картонной коробки несколько соленых горошин, отходили к мокрым пахучим столикам. Стоя около них, совещались о качествах пива, жигулевского и трехгорного: многие утверждали, что могут определить процент алкоголя в мутной прокисшей жиже.

Пиво было не горькое, а кислое. В кружке, если взглянуть в нее на свет, было видно, как оседает муть. Эту муть пили с вожделием, становясь по несколько раз в очередь, переходя из пивной в пивную и постоянно хмелея икающим невеселым хмелем.

Когда мы вышли, впереди нас шло двое. Трогательно обнявшись, они, почти не мешая друг другу, пели «Во субботу», любимую песню пьяных. Федор нагнал их и, подойдя сначала справа, а потом слева, сунул каждому в карман пиджака по бумажке. Одна была плохо сложена, и из надорванного кармана выглядывало заглавие, написанное от руки, но печатными буквами: «БЛАГОВЕСТ СВОБОДЫ». Федор подошел еще раз и поправил.

— Люблю, когда поют, — сказал он, — хотя бы и пьяные. И песня хорошая. Там потом про зеленый сад. Люблю сады. Хотел бы стать садоводом. А вы любите?

— Да, если не слишком много крапивы. — Дружелюбная вежливость Федора всё больше меня смущала. — Но больше люблю луга, а еще больше медицину. То есть, собственно, психологию. Я учусь на психиатрическом. А вы?

— Я не учусь. Я лишенец, — ответил Федор так, будто хорошо быть лишенцем. — У меня отец в Соловках.

— Так как же вы живете без карточек?

— А вот скоро узнаете. Вы же свою отдали, а месяц только в самом начале.

— Ну это что: один месяц. Обедать буду в столовке, а ужинать как-нибудь. Тетка вот будет ругаться. Но не так важно. А за что вашего отца посадили?

ПРЕДАТЕЛЬ

— За принадлежность к ВДА — Великому Движению Анархистов!

И я понял, что, кроме садов, Федор любит еще и идею и, пожалуй, окажется толстовцем вроде нашего преподавателя ручного труда Льва Анатольевича. Ну, с тем я умел говорить.

— Я думаю, вряд ли есть Бог. Во-первых, несовместимо с наукой, а во-вторых, если б Он был, то не могло бы быть советской власти.

— Вы думаете? Вот мы и пришли. — Федор повернул во двор и повел меня вниз по подвальной лестнице. — А я так не думаю, потому что Бог есть свобода. Вас интересует вопрос о Боге?

— Нет. Просто мне показалось, что вы толстовец. Я знаю тут одного. Всё толкует про анархизм и неппротивление злу. Он это от Бога выводит. Здорово скучно.

— А я в Бога верую, — ответил Федор, употребив слово «верую», а не «верю», так, словно вера от него зависела. — Но я не толстовец. Непротивление злу силой — печальное заблуждение. Я — за сопротивление злу. Особенно потому, что главное зло есть ложь.

Мы стали варить толокно, в разговоре о добре и зле перейдя на ты и перестав стесняться друг друга. Кроме толокна, у Федора ничего не оказалось. То есть какао у него было, но не больше столовой ложки, бесследно растворилось оно в большой кастрюле. Аромата не получилось.

— Откуда берется свобода? — спрашивал Федор. — Наука в этом вопросе бессильна, и это дает мне право веровать, что свобода есть Бог. Не тот, что прощает грешников, — такого бога нет, и молиться ему бессмысленно, — и не отвлеченный разум философов, — этот разум просто псевдоним необходимости. Я имею право веровать и верую, что неуловимая, но сущая свобода и есть безначальный Бог-Анархос.

Ты знаешь по-гречески? Нет? Архи — начало и власть. В русском языке тоже так: властвующий = на-

чальник. Я греческий знаю, потому что сам полугрек. Моя мама даже плохо говорила по-русски. Не думай, что от образования. Образования у меня нет, но читал кое-что. Частица «а» или «ан» — отрицание. Анархия — безначалие, — то есть свобода полная и неограниченная. Бог-Отец недаром называется безначальным («со безначальным Твоим Отцем»). И в христианстве и в других религиях Божество несотворенно, безначально и беспредельно. Это верно, как верно, что Бог есть дух. Но слова «Бог» и «дух» сами по себе ничего не значат. Мы же говорим: Бог есть дух, а дух есть свобода, и даем Ему греческое имя Анарх — безначальный, безвластный, несотворенный.

Христос знал о свободе, но и Он признавал над Собой власть Отца. Пророки же знали только Творца, демиурга. Их Бог — всемогущий создатель необходимости, основатель принуждения и закона, начало власти. Наследники пророков, ученые, разглядели ошибку: необходимость — не Бог, и власть ее не от Бога. Создатель необходимости сам отказывается от власти, подпадает под принуждение, теряет силу. Создание необходимости — самоубийство Творца. Богу нет места в мире, подвластном необходимости. Ты правильно сказал, что понятие Бога несовместимо с наукой. Та наука, которую ты имеешь в виду, изучает последствия, принудительно вытекающие из причин, то есть как раз несвободу, необходимость. Разве не так?

— Чудак ты, — перебил я Федора, — не признаешь ни науку, ни религию, совершенно сам по себе. Этак можно поставить себя вне общества. Так можешь получить не по карточке, а в самом деле лишенец.

Федор подумал и сказал:

— А отдавши карточку бабе, ты разве не приравнял себя к лишенцу?

**
*

Если дружба между мужчинами основана на общей правде, она неповторима по целомудрию. Чистота ее разумеется сама собой и расцветает духовностью и свободой. Она идилична, и радости ее бескорыстны. В ней нет места пошлому панибратству со скверными анекдотцами и жеребиным ржанием при встречах. В ней нет назойливого наперсничества, требующего изливания чувств и бичующего самоанализа. В ней нет и приятности; она много выше приятности. В ней любовь, братство в духе, гармония душ. Да-да, именно гармония.

.

В тот самый момент, когда Федор подошел ко мне на Комсомольской и стал сбивчиво приглашать на толокно, я почувствовал, что он меня уважает (за Поступок!), а когда я влюбился в его Анарха и наши мысли стали сливаться в одно русло, и мы поплыли рядом, несомые общим течением, переключаясь, как на купанье в золотой летний день, я полюбил его навсегда, мне понравился разом он весь, без остатка, во всей его удивительной цельности. Мне нравились его черные ожидающие глаза, его лицо, мрачное только на первый взгляд, освещенное изнутри тихим неторопливым светом; я полюбил застенчивость его улыбки, его мягкие беспомощные руки, слабенькую фигурку и ровный незвучный голос. Его философия была моей философией и не умрет во мне, хоть теперь я отлично знаю, сколько в ней ошибок и заблуждений.

.

Есть знание и есть вера. Есть мертвое и есть живое.

Над мертвым властвует необходимость. Живое дышит свободой.

Причинность, материя, пространство и время — признаки смерти. Живое несет в себе смысл и ценность.

В мертвом всё можно свести к количеству, взвесить,

смерить и повторить. Жизнь же и дух безмерны, неповторимы и невесомы: они чистейшее качество.

Федор первый объяснил мне бессилие науки перед непостижимостью духа, перед капризной его неуловимостью. Наш Анарх был блистательным беглецом, про скальзывающим сквозь сети необходимости, лучом света, скачущим, где ему любо, веселым бунтарем, выхватывающим из царства смерти то ли облако, озаренное вечерним солнцем, то ли поляну в лесной глуши, то ли бедную нашу душу, внезапно из глубины свободы решающуюся на Поступок.

Поступком мы переступаем порог, отделяющий Ананкэ от Анарха, время от вечности, необходимость от свободы. Совершивший Поступок причастился Богу-Анарху. Путь к Поступку проложен Христом. Обезьяну сделала необходимость. Адама создал Творец. Вечный Змий выманил Адама из рая и предал работе, подзаконной необходимости. Христос же, Сын Человеческий, пренебрег искусителем, а горькую боль сомненья познал лишь в саду Гефсиманском.

Сомнения суть родовые схватки веры. Сомнение — всегда боль. (Федор любил громоздить греческие слова на русские и выражать свои мысли в образах. Его язык был торжественней и церковней, чем его вера). Верородительное сомнение толкает к решению о вере, но в страхе перед сомнением вера теряет свободу, а с нею и свой предмет. Непостижимый Анарх ускользает, и ветхий Адам в отчаянии догматизирует символы и легенды, рождает поколения пророков, чей Бог — закон и порядок, безжизненная оболочка свободы.

Ученые же рассматривают оболочку и с непреложностью устанавливают, что она, как кожа змеи, валяется в камнях необходимости и не содержит в себе ничего, кроме омертвелых клеток.

Невозможно для человека верить без доказательств и сомнения. Ибо ветхий Адам несет в себе растительную

ПРЕДАТЕЛЬ

мощь жизни и убедительную силу чувственности. Анарх же не только безмощен, но и великолепно бесчувствен. Он неуловимо пронизает (Федор говорил не «пронизывает», а «пронизает») мировую материю, одухотворяя ее, но глаз и рука хватают только причинность и необходимость. Анарх истаивает в апейроне, в беспредельном безначалии, в непостижимом небытии, в несотворенной свободе.

— Входил в тебя дух? — спрашивал Федор еще в начале нашей с ним дружбы.

— Нет, не входил.

— А тебе хотелось бы?

— Еще бы!

— Так заметь себе: когда приглашают гостей, прибирают квартиру и ставят на стол угощение. Это для всех. Это обычно. Но разговор с самым дорогим гостем, разговор по душам затевается наедине, когда гости ушли или спят, а стол завален объедками. Не тогда ли, за последним стаканом, раскрывается самое дорогое?

Так нисходит Анарх. Не к закуске, не к первой рюмке. Он нисходит, когда разрушен порядок, когда стол уже опустошен и пища потеряла цену. Ты понимаешь меня?

«В начале было Слово». Федор научил меня по-гречески: «Эн архе логос эстин».

Мы узнавали слова и открывали в них дух. Мы открывали явления духа и схватывали их словами. Язык уроков и лекций вдруг оказался тускл и беспомощен. Премудрость школьных понятий стала скучной, как математика.

— Ты задумывался над словом «пошлость»? Как это будет по-гречески?

— Не знаю. Может быть, греки не знали пошлости. Это то, что пошлѡ. Пошлѡ само собой, пошлѡ по рукам, стало всеобщим и потеряло душу.

Анарх бросил. Пошлость пошла по рукам.

.....

Мы научились сообщать друг другу свои усмотрения и вчувствования. Мы вместе перечитали Прудона, Кропоткина и Теккера и вместе потеряли интерес к идеологии политического анархизма. Мы читали Ветхий Завет и досократиков. Мы вновь открывали живую воду Фалеса, вездесущий воздух Анаксимена и беспредельное Анаксимандра. Мы штудировали немецких идеалистов и вычитывали у них то, что казалось нам самым важным: мир объектов это лишь мир явлений, мир кажущегося, мир, которого в сущности нет. Мы развивали философию живой и мертвой, подлинной и мнимой жизни.

Мы обменивались мыслями, точно перебрасывали друг другу чудесный упругий мяч.

.....

Философия была для нас поэзией, а поэзия — философией. Я принес Федору переписанный у Аркадия «Огненный столп» Гумилева. Он стал читать и внезапно вскочил, потрясенный последними строфами «Шестого чувства».

Ни съесть, ни вышить, ни поцеловать.
 Мгновение бежит неудержимо,
 И мы ломаем руки, но опять
 Осуждены идти всё мимо, мимо.

Так, век за веком — скоро ли, Господь? —
 Под скальпелем природы и искусства,
 Кричит наш дух, изнемогает плоть,
 Рождая орган для шестого чувства.

— Это же оно и есть! — вскричал он, точно вовсе не Гумилев, а я написал эти стихи. — Ты совершенно прав, необходимо развить в себе шестое чувство. Я всё время о нем толкую. Ты же понимаешь меня.

ПРЕДАТЕЛЬ

— Ну, конечно, этим чувством-то мы и знаем разницу между пошлым и подлинным, поэзией и стихоплетством.

— Да, да, видим, чувствуем, а доказать не можем.

— И не можем никуда приспособить на пользу ни пролетариату, ни человечеству.

— Не язви. Мы не Демьяна Бедного прорабатываем. Знаешь, я думаю, ты мог бы написать о Гумилеве в «Благовест свободы». А? Напиши-ка!

.....

«Благовест свободы» был смешон и трогателен. Мы дико рисковали, издавая его и совершенно необдуманно распространяя. Преодолевая застенчивость, Федор раздавал его на толкучке, «забывал» в пивных и засовывал в карманы прохожих. Мы закладывали его в грузы, когда для приработка ходили разгружать вагоны. «Благовесту свободы» ежедневно посвящалось два часа, и Федор неукоснительно следил, чтобы они отрабатывались. Это был наш священный долг перед человечеством и ВДА, Великим Движением Анархистов.

Мы думали, что «Благовест свободы» — это мост между метафизикой и политической практикой. Мы думали, что призываем к политической борьбе, но писали в нем только о метафизике. Мы знали, что вера — творческое начало мира и должна быть свободна. Мы проповедывали Анарха, но утверждали, что каждый волен избрать себе любого бога. Один обожествляет красоту, другой — добро, третий — истину, четвертый — собственное я, пятый — власть, шестой — наслаждение.

.....

Большевики обожествляют власть. Анархисты — свободу. Властвовать можно только силой необходимости над бездушным, безвольным, мертвым. Вот почему большевики — материалисты. Но без Бога и они жить не могут. Место Бога в их метафизике занимает их собственный властитель. Недаром Ленин набальзамирован и лежит в мавзолее. Но Ленин мертв и без-

властен, а большевикам нет смысла поклоняться мертвому богу. Истинный Бог — Анархос — для них тоже не бог, ибо и он безвластен. Своему богу они должны придать принудительную силу, могущество над людьми. Но там, где принуждение, дух жить не хочет. Власть — это антибог. Власть и Бог — вещи несовместимые. Получается круг, из которого можно придумать только насильственный выход.

Тогда властепоклонники ставят своего вождя на место Бога и окружают его короной лжи. Они уже начинают боготворить Сталина, самого бездарного и бесчувственного, самого омертвелого из всей их мертвой среды. Достоевский, хоть не был анархистом, понимал, в чем здесь дело, и нашел очень точное слово: человекобог. Христос, Богочеловек христиан, был нищ и безвластен. Чудеса он творил силой веры. Творить же их силою власти нельзя. Власть лишь влечется за необходимостью, самообманно воображая, будто влечет ее за собой. Человекобог большевиков — условность, фикция, мнимая величина. Поклоняться свободе значит поклоняться реальности, пусть неуловимой и непонятной. Поклоняться власти значит поклоняться мнимой величине.

Вот для чего мысль коммунистической партии сводится к одному Сталину. Сталин и есть эта мнимая величина, усатый портрет без возраста, раб порабощения, действующий только по необходимости, живой мертвец, скрытый от людей, но способный их уничтожать. Вот для чего создается богопустынный мир фикций, утверждений, в которые никто не может поверить, слов, наполненных мнимым смыслом. Это возможно, и это они и сделают. Они назовут коммунизмом антимир мнимой веры, мнимых чувств и мнимых желаний. И тогда, окончательно и бесповоротно, земная история станет лишь следом пожара Духа.

.

Но мы, анархисты, не погибнем. Ибо история не есть неудача Духа. Ибо Дух вовсе не историчен. Ибо

ПРЕДАТЕЛЬ

Анарх не ставил себя на службу истории. Ибо история есть история власти. Дух же безвластен. История вовсе и не могла заковать Дух.

Мы, анархисты, придем, когда рухнет злой антимир ложной необходимости. А это будет, когда их мнимый вождь умрет и они не осмелятся объявить, что он в сущности никогда и не жил, не осмелятся превратить его из условного человека в условный дух и сказать, что теперь, когда он больше не курит трубки, он стал еще могущественней, еще беспощадней.

Они не осмелятся этого объявить, потому что мы будем существовать, будем продолжать жить и думать. Они не будут знать, положить ли его в мавзолей, как Ленина, или даже над Лениным, или объявить всемирным обманщиком. Тогда им придется пустить другого на его место. А это нельзя. Тогда поползет и рухнет.

Это и будет наш срок. Тогда мы отменим фикции, скажем, что власти нет, и вознесем нашего Бога-Анарха. И будет безначалие и полная свобода всем. Будет новое состояние, без системы и повторений, без множественного числа. Тогда даже слов не станет, будут одни имена. Будет хаос, но не прежний, не первоначальный, а новый, преображенный, возникший из отмены необходимости. Из него будет новое миротворение. Без времени и истории.

**
*

Мы, анархисты, действительно существовали. Мы, анархисты, даже могли собираться в Москве, в собственном клубе в переулке между Кропоткинской и Арбатом. И мы собирались. Мы слушали доклады и участвовали в прениях. И мы с Федором тоже. Мы с Федором представляли молодежь, нас принимали с внимательностью, с готовностью выслушивать, с надеждой, с заискивающим покровительством.

Мы, анархисты, были верные члены донкихотского ордена русской интеллигенции. И никакой не Анарх,

а бесстрашный девиз «Всегда стоять за Правду!» послал наших старших товарищей на царскую каторгу, а теперь собирал в этом безумном клубе.

До самого разгрома, до осени 1933 года, «Клуб анархистов» был филиалом «Общества бывших политкаторжан». Советская власть потом сама не могла понять, почему ГПУ так долго терпело это явление.

.

Помещение тусклое, полуподвальное. Две голые лампочки с потолка, прямо на проводе. Скамьи. С первого взгляда — лицо: не портреты Кропоткина или Прудона, а старое женское, но сразу и не поймешь, что женское. С проседью волосы — стриженные, конечно, — гладко зачесаны назад. Черный галстук. Двубортный пиджак. Под столом костлявые ноги без икр в черных чулках, ступни кочергой, как у ведьмы. Надежде Григорьевне Строевой восемьдесят два года. В эмиграции, в Лондоне, в 1874 году Бакунин сам продиктовал Наде две главы из «Государства и анархии». И всю жизнь Надежда Григорьевна прожила под эту диктовку. Ходила в народ. Знала лично Софью Перовскую. Боролась за Правду. Вела глубокий подкоп под самодержавие. Гремела цепью на каторге, отказавшись подать прошение на высочайшее имя. Голос скрипучий, раскольничий, древний: «Страсть к разрушению — великая творческая страсть!», а «последователей Льва Толстого требую исключить из клуба!»

Но Надежда Григорьевна — в прениях. Бессменный докладчик — профессор Слоним. Знает испанский и португальский. Немытая грива, толстые стекла очков, руки чернорабочего. Сердится на канализацию: помеха — труба прямо сзади него, когда спускают, булькает и шипит. Темы: значение корпоративного начала в ответственности, безгосударственное состояние, рост общества, подобно дубу, сложением свободных волей вокруг ствола идейного сознания.

ПРЕДАТЕЛЬ

Толстовцы — скромное большинство. А за ними (они не обидят) еще скромнее, совсем в уголку, и просто так, не анархистка и даже не толстовка — милая добрая бывшая моя шкрабица, Шарлотта Германовна, скромная труженица на ниве народного просвещения (дома, на стенке Некрасов, Чехов и Элизе Реклю — бородки клинышками) и здесь, как на школьном уроке (их-бина, ду-бина!), прической и платьем совсем не нарочно, а будто нарочно, подчеркивает свою скромность, свою некрасивость и доброту, свою беззаветную преданность светлomu будущему, свободе, прогрессу, разумному-доброму-вечному, пронзившему на всю жизнь некрасовскому:

От ликующих, праздно-болтающих,
Обагряющих руки в крови
Уведи меня в стан погибающих
За великое дело любви!

Как обрадованно и нежно встретила она меня в этом клубе: ее ученик, новое поколение, юный борец за свободу! Как хотелось ей именно к нам примкнуть (ко мне и к Федору), варить толокно и говорить о высоком, о Шиллере, например (Шиллер у ней наравне с Элизе Реклю), прочесть нам свои переводы Некрасова: «Onkel Masaj und die Hasen», «Der rotnasige Meister Frost». Ей одной доверяли мы здесь свой «Благовест свободы». Она читала с благоговением и всё пыталась учить меня по-немецки. Немецкий мне пригодился потом, а Шарлотта Германовна...

.....

Впрочем, ведь нет сомнений, что она, как профессор Слоним, старуха Строева и травоядные толстовцы, погребена под снегом.

.....

Снег, снег, снег... Не тот белый пушистый, что прикрывает осенью заскучавшую землю.

Есть другой, каторжный снег. Под ним лежат каторжане.

*
**

Следователь продолжал меня удивлять. Беседы с ним (потому что наши встречи невозможно назвать допросами) продолжались по часу, по два, иногда два, а то и три раза в день. Он систематически меня подкармливал, и открытая коробка папирос всегда лежала передо мной на столе. Порой мы спорили. Беседы с Федором перекочевали к нему в кабинет.

Теперь-то я знаю: он был очень умен и подл. Он играл со мной, как чёрт с младенцем, Он спросил меня:

— Вы знаете Пильняка?

— Конечно, знаю. Автор «Голодного года». В школе еще прорабатывали.

— Так послушайте. Это написано, правда, еще до коллективизации, но какво!

«Мужики в те годы недоумевали по поводу следующей проблематической дилеммы. В непонятности мужики делились — пятьдесят, примерно, процентов и пятьдесят. Пятьдесят процентов мужиков вставали в три часа утра и ложились спать в одиннадцать вечера, и работали у них все, от мала до велика, не покладая рук; ежели они покупали тёлку, они десять раз примеривались, прежде чем купить; хворостину с дороги они тащили в дом; избы у них были исправны, как телеги, скотина сыта и в холе, как сами сыты и в труде по уши; продналоги и прочие повинности они платили государству аккуратнo, власти боялись; и считались они врагами революции, ни более, ни менее того. Другие же проценты мужиков имели по избе, подбитой ветром, по тощей корове и по паршивой овце, — больше ничего не имели; весной им из города от государства давалась семсуда, половину семсуды они поедали, ибо своего хлеба не было, — другую половину рассеивали — колос от колосу, как голос от голосу; осенью у них ничего не родилось, — они объясняли власти недород недостатком навоза от тощих коров и паршивых овец, государство снимало с них продналоги и семсуду, — и они

ПРЕДАТЕЛЬ

считались: друзьями революции... «Врагов» по деревням всемерно жали, чтобы превратить их в «друзей», а тем самым лишить возможности платить продналог, избы их превращая в состояние, подбитое ветром».

— Каково, а? — повторил он, едва успев кончить. — Видно, уже тогда, в двадцать восьмом году Пильняк предвидел, что страна стоит накануне массового превращения сельского населения в «друзей», то есть накануне ликвидации кулачества как класса. Согласитесь, что это контрреволюция. Советская литература отказывается принять это. Что делает Пильняк? Печатает за границей, в махровом эмигрантском издательстве. Пожалуйста, убедитесь.

Он передал мне книжку: «Б. Пильняк. Красное дерево. Изд. Петрополис. Берлин».

Факт. Ничего не скажешь.

— И вы думаете, автор арестован? Ничего подобного. Живет себе. Здесь, в Москве. У Горького на квартире бывает. Вместе чай пьют. И мы, поставленные стоять на страже советской власти, ничего не можем поделать. Вот. Что вы на это скажете?

Мне решительно нечего было сказать на это, и я молчал. Он подвинул ко мне папиросы:

— Что же вы молчите? Кто, по-вашему, прав: Пильняк или советская власть? Я лично считаю, что прав Пильняк, но служу, как видите, советской власти... Или у вас нет никаких политических убеждений?

.

В тот роковой вечер, в который я заслужил каторгу, мы хорошо поужинали и пили грузинский коньяк. В комнате было дымно. Пепельница наполнена до краев трупиками затушенных папирос.

— Они готовы сделать из него бога, — говорил следователь, имея в виду Сталина. — А он вовсе не хочет. Он знает, как и мы с вами, что Бог есть свобода. Поймите меня, — он вдруг обнял меня за плечи, — поймите, как мне тяжело! Я-то знаю, что только правда свобод-

на, а вокруг лгут. И я лгу. И вы лжете. Вы не доверяете мне. Я — вам. Ложь и страх овладели советской властью. Кто хочет жить, подчиняется, пресмыкается и лжет. Мало, мало осталось людей, подобных вам, дорогой мой. Вы первый, кому я это говорю и, разумеется, между нами. Вы мне открыли глаза на многое. В вас есть мужество, есть честность, есть подлинное стремление быть свободным. Забудьте, где мы находимся. Я вас сейчас не допрашиваю. Я пью с вами коньяк, — он снова налил рюмки со дна кончавшейся бутылки, — я пью с вами за свободу, правду и мужество и за того, кто научил вас любить всё это, за того, кто помог вам создать ваши верные и твердые убеждения!

Мы выпили и помолчали. Он откинулся в кресло и задумался, закинув руки за голову. Потом, вдруг решившись, быстро и четко встал, отпер шкаф, достал хлеб, колбасу, консервы и следующую бутылку коньяку.

— Я решил. Так дальше жить нельзя. Мы сейчас поедим к нему и выпьем этот коньяк. А потом будь, будет. Пусть он сам скажет, что делать дальше.

.

Ночь. Круглая площадь имени Феликса Дзержинского, начало Мясницкой. Как по заказу, последний ночной трамвай (№ 4, Сокольники). Мы едем на задней площадке, он ближе к двери, я, придерживаясь за столбик. Мы везем с собой бутылку коньяку и безумные перспективы. Мы совершаем Поступок. Мы плюем в лицо необходимости. Мы делаем, что хотим. Мы — свободные люди. Мы — анархисты в действии. Мы следуем зову Духа, а Федор пусть скажет, что делать дальше.

**
*

Коридоры Лубянки всегда пустые. Когда надо провести другого подследственного, вас прячут в специальную будку, так называемый «собачник».

ПРЕДАТЕЛЬ

Федора прятали от меня в собачнике. Я его ни разу не видел.

В последнюю нашу встречу мы с ним и со следователем пили коньяк.

Черные очи пророка, умоляющие и грозные! Упрямое Федино тело, щедедушное, белое, хрупкое, скрюченное у параша, втиснутое в коридорный собачник!

Будь ты проклят, гнусный окурок, с которого началось, и мерзкий коньяк, которым закончилось! Подумать бы, из чьего рта ты был вынут и чьей рукой положен чуть сдавленным мундштуком ко мне!

Федя мой, единственный и неповторимый! Подумал ли ты, что душа, способная на Поступок, способна на всякий поступок? Или когда ты шел последним коридором с кляпом во рту (осужденным на расстрел положено вставлять в рот пробку-кляп, чтобы не было крика), ты считал меня просто провокатором, бессмысленным орудием в руках чекистской необходимости?

Я был ценным орудием. Я нанес смертельный удар Великому Движению Анархистов. Я наложил последний мазок на шедевр моего следователя: анархо-монархо-троцкистский блок на содержании эстонских империалистов.

Ход создания этого блока невообразим, невозможен. В него нельзя поверить, как нельзя поверить в то, что советская власть то, что она есть.

**
*

В этой удивительной камере стояло тринадцать прекрасных железных кроватей и запиралась только одна дверь. Другая вела в рабочий кабинет, в котором никто не спал, а стояли столы и пишущие машинки. По другую сторону кабинета — еще одна камера, тоже с тринадцатью кроватями. Всего двадцать шесть, две чёртовых дюжины. И всё это вместе — Тринадцатое Спец-

бюро ОГПУ. Меня ввели в его состав полномочным представителем ВДА, Великого Движения Анархистов.

Коллектив анархический, пестрый, случайный, с визгом. Не сумасшедшая, а шедшая с ума кувырколегия.

Делали не кувырк, выкувырк и не выбрык, а кратче: брык. Рты держали раскрытыми.

Курили папирасы мундштуком вперед. Вдыхали слова и рыгали дымом. Не

«на многих, наряду с пиджаками и обыкновеннейшими брюками, были синие рабочие комбинезоны», а

«на всех полосатые пижамы, сине-бело-красные полосы».

Ходили по потолку босыми ногами в шлепанцах.

На грудях бороды. Черные с проседью гривы, с перелобской через плечо. Татуировочки:

«Года летят, а счастья нет!»

«Маркс в бороде»

«Николай Второй с дочерьми»

«Лысый, как Ленин»

На кроватях никто не спал. Спали на перекувырнутых столах (ножками вбок), прилипнув к доске внутри.

На машинках писали левой ногой (правая для высасывания данных).

Играли в «Гибель Империи».

Плакали о политике.

Чуковали, чудаковали, чудахтали.

Составляли программу анархо-монархо-троцкистского блока с завихрением в сторону Балтики и намеком на выкувыркавальский подкоп (направление: Кингисепп — Ленинград — Одесса).

Оформляли теорию членовредительства с вырастаанием кулака из первоначальной слизи.

Молились усам. (В них мышь).

ПРЕДАТЕЛЬ

Помогали друг другу, изымая из чрева пух. Пух носился в пространстве, осаживаясь на мозговом веществе.

Бранились по-марсиански (как звери).

Свистели в кулак. Ржали, как кони, и рыли копытами землю: на бетонном полу был сор. Чтобы рыть.

Утирали друг другу слёзы и лобызались в предвкушении приговора.

Зарабатывали большие сроки.

Спорили только принципиально:

— Лжешь, негодяй!

— Кто кричит, что я лгу? Лжи нет. Ложь отменили декретом.

— Не декретом, а секретом!

По секрету,

по секрету,

по секрету

на ушко

всему свету,

помимо декрета.

Правду еженощно

(врешь: не еже-, а каждо-!)

изнасиловывают на высшем уровне.

Знаете, кто?

Догадались?!

Или сказать?!

За ручки-ножки к кроватным спинкам пришнуровывают. Белыми полотенцами. Ручки вместе над головой, а ножки врозь: к правому углу, к левому углу... И каждонощно... (Врешь, не каждо-, а еже-!)...

— Ай-яй-яй, Правдушка-Матушка!

— И что же? А когда кончат?

— Тоже, как мы здесь? По потолочку? В шлепанчиках?

.

— План надо выполнять!

Спускать!

Спустить!

Спутисбить!

Спустословить!

Спустопороженное

мороженое

с недоделками замороженное

из-под водительства

спутисбительства

выковыркнутые строительства.

Из-под промфинплана

харя гоцлибердана.

Нэп

хлеб

тустэп.

Фокстроцкий салон

исполняет сталинстон:

Эх!

Жопа гола, лапти в клетку,

Выполняем пятилетку!

Эх!

— Дошли, докатились, снизились! — Во всю фигуру Аркашка. Главный. Руководитель. Начальник всех. Не тот, что учился со мною в школе, не тот, что любил Гумилева и Блока, бабушкин внучек, золотые кудри колечками. Нет, другой. Грузный, рыхлый. Грудь, борода до глаз, как овсяное поле. — Оформляйте. Вот мои взгляды матерого монархо-троцкиста: во-первых, в царской России мне было бы много лучше. Будучи дворянами, мы имели полную возможность пить рабочую кровь и закусывать крестьянскими яйцами. Из красной профессуры имеем кого-нибудь. Пусть оформит:

«Унаследовав дворянский титул и несмотря на посещение советской трудовой школы, я вырос врагом пролетариата, советского строя и коммунистической

партии и в этих враждебных чувствах вел активную агитацию против вступления новых кадров в ленинский комсомол и против социалистического строительства.»

Свидетеля мне обещали достать. Значит, приложение: свидетельское показание такого-то. Дальше:

«Великий пятилетний план развития народного хозяйства заставляет меня в корне пересмотреть свое отношение к трудящимся, коммунистической партии и советской власти. Им кончается двуличная и лицемерная эпоха нэпа, эпоха так называемого «союза рабочих и крестьян», так называемой «смычки города с деревней». Им кончается старый мир, в котором, кроме трескучих фраз, не было ничего коммунистического, в котором революционный социализм незаконно сожительствовал с капитализмом. Народные массы, а за ними кое-кто из партии, долго еще будут оплакивать Ленина за то, что он дал стране нэп, отказался от углубления революции и позволил золоткам своей пресловутой кухарки торговать семечками, выращивая их на собственном огороде.

Чем отличаются литературные и театральные направления ленинской эпохи, всевозможные кубизмы, конструктивизмы, имажинизмы от направлений предреволюционных? Не понимаю, что пролетарского в Мейерхольде и Маяковском, и не могу найти ничего социалистического ни в Камерном театре, ни у Вахтангова. Или, может быть, посчитаем характерным для рабочего класса тот комсомол, который мы знаем по синеглазникам, «Квадратуре круга» и «Дневнику Кости Рябцева»?

А я вам скажу, что весь этот комсомол, вместе со всеми пролеткультами, субботниками, кожаными туфурками, свободной любовью и прочими якобы пролетарскими особенностями сочинили партийные интеллигенты, из коих первый есть Ленин (жаль, что не Лёлин, Лёля мне больше нравится!), радикальный дворянчик, вроде моего папочки, сын статского советника, проведший первую ссылку в игре в крокет в мамином имении,

а затем по легальному паспорту дворянина Российской Империи проживавший в Женеве для писанья статей по вопросам партийных разногласий и участия в циммервальдах и кинтальях, от которых в мировой социал-демократии вспоминают с неловкостью.

Вы читали биографию Ленина? Почитайте, она не засекречена. «Материализм и эмпириокритицизм» не поймете, он его сам не понимал, а биография — это просто. И, главное, поменьше верьте казенной пропаганде. Привычка лгать у нее от Ленина. «Ленин — великий мыслитель», «Ленин — великий стратег», «Ленин — вождь мирового пролетариата». Из фактов этого не видно. Чернышевского Ленин ставил на одну доску с Пушкиным, философию знал хуже Маркса и не понимал вовсе, стратегические его прогнозы неизменно и с треском проваливались. Хотите примеров? Почитайте, что он писал и говорил в 1905 и в 1917 году. Рассказывать некогда, я и так отклонился чёрт знает куда. Подумаешь, важность — Ленин!

Революцию сделал Троцкий. Если бы не Троцкий, Ленин так и сидел бы в финляндской хижине. В лучшем случае написал бы статью против Гоца, Либера и Дана, а обложил бы в ней Церетели.

Октябрьский переворот в его деловой, реальной, практической стороне организовал не Ленин, а Троцкий. Ленин вещал и поучал; Троцкий — действовал.

Понадобилось обставить немцев, предотвратить их дальнейшее продвижение, — кто едет в Брест-Литовск? Троцкий едет и обставляет. Началась гражданская война. Ленин возится с теорией вооруженного пролетариата, а Троцкий организует армию, обеспечивает ей командование и снабжение, носится с фронта на фронт, от прорыва к прорыву, расстреливает и награждает, раздает пайки и лишает пайков и — гражданскую войну выигрывает.

Почитайте-ка речи Троцкого в цирке «Модерн» летом и осенью 1917 года. Это вам не разбор партийных

ПРЕДАТЕЛЬ

разногласий! Присмотритесь-ка к Троцкому наркомвоенмору, проанализируйте его методику привлечения царского офицерства к работе РККА, оцените, как он сумел опереться на комиссаров, не только при Шапошникове, но и при Чапаеве. Тогда, может быть, поймете, кто был подлинным гением революции.

В нэпе Троцкому не было места. Местечковый еврей знал торговлю, а революционный гений торговать не хотел. Идея промышленной революции и феодальной эксплуатации крестьянства — это не сталинская идея; закон первоначального социалистического накопления (запишите и пусть доставят сюда одноименную брошюру Преображенского) предложен русским троцкизмом. Это — идея Троцкого, идея гениальная, единственная, способная спасти революцию.

Сталин выбросил Троцкого в помойное ведро истории, но идею его проводит в жизнь. Выбросить цвет комсомольской молодежи и идейные кадры партии на слом хребта кулаку, организовать промышленное строительство исключительно на беспощадной эксплуатации человека и материала — это прыжок в эпоху, это по Троцкому, это настоящее! Не знаю, кто это сказал об инженерах ЦИТа (навести справку!), что их надо разогнать, потому что они жалеют рабочий класс больше, чем он сам себя жалеет, но в этих словах — эпоха. Я видел, как строится Магнитка: на костях, действительно на костях, не на тех, что строилась некрасовская железная дорога. А лагеря? Вы ведь знаете, куда мы поедем? В лагерь. Весь север покрыт лагерями. Вы знаете, сколько кубометров деловой древесины идет сейчас оттуда за границу? Там увидите, как строят социализм руками врагов социализма.

А как это достигается? Основной тактической идеей Троцкого. Той самой, благодаря которой большевики выиграли гражданскую войну мозгами антибольшевистского офицерства. Надо суметь заставить врага бороться за твои интересы. Кто главный враг коммунизма?

Капитализм, вечный собственник, вечный стяжатель, вечный индивидуалист, вечный мещанин в человеке. Где реально воплощен на сегодняшний день этот враг? В крестьянстве, конечно, в крестьянстве. Не в профессорах же, которые продолжают читать свои лекции в советских университетах и способны лишь воровато протаскивать на эти лекции буржуазные идейки и теорийки, хитроумно намекая на них студентам рабфаков, не очень твердо усвоившим четыре правила арифметики.

Сталин поставил крестьянство перед проблематической дилеммой: работать на советскую власть или гибнуть. Оно делает то и другое: оно гибнет как класс и бежит от колхозов, чтобы строить плотину на Днестре, чтобы заставить Днестр работать на социализм. А остальных арестовывают, грузят в товарные вагоны и везут рубить лес, тот самый лес, которым мы платим хитрецам-англичанам за то, чтобы они помогли нам вооружиться и ударить по ним не дубинами, как в двадцатом году, а во всеоружии современной техники, зная, куда и чем ударить.

Если не через пять, то через десять лет мы поставим человека на колени, мы наберем такую силу, перед которой рухнет прогнивший капитализм с его правом, порядочностью и свободой. Рухнет! Гарантирую! И не восстановится в призрачной форме нэпа. С нэпом кончено. Сталин наводит стальной порядок. Сталин ведет перманентную революцию Троцкого. Сталин ставит на человека с голой жопой, на толпу одиноких. «ДА ЗДРАВСТВУЕТ СТАЛИН!».

**
*

Снег. Снег. Снег. Метель. Пурга. Буран.

Путь следования: Октябрьская ж. д.

Мурманская ж. д.

ПРЕДАТЕЛЬ

Станция отправления: Москва, Октябрьская товарная

Станция назначения: Кемь, Попов остров

Тара: Вагоны товарные (образца 1913 г.)
(40 человек, 8 лошадей)

Груз: з/к

Количество: 1474 з/к в 22 вагонах

.

... Мчатся тучи, вьются тучи;
Невидимкою луна
Освещает снег летучий;
Мутно небо, ночь мутна . . .

Мчатся тучи, вьются тучи, вьется мутный, летучий, бесовский снег. Пульсирует в бредовом порыве. Выстукивает под вагонами:

снег-бред, снег-бред, снег-бред.

Сквозь бред кричим: пить! пить! пить!

Кричим на каждой станции, пока не раздвинутся двери и вместе со снежным вихрем не вдвинется ржавое ведро остывшего кипятку.

Из него лакаем, как скот у корыта, сталкиваясь головами, запиваем:

сельдь малосольную 1 шт.

хлеб ржаной, кислый 500 гр.,

всё, что съели вчера всухомятку.

.

Снег, снег, снег, мутный, летучий, в бесовском кружении, в дьявольском завихрении, в подвагонной скороговорке:

снег-бред, бред-снег, снег-бред, —

с острейшими усиками (в трехцветной пижамке!)

с бутылочкой коньячку (в шлепанчиках по потолочку!)

спотыкается под вагонами,

встряхивает смрад тел,

качается — крутится — кружится,

завихряется — развихряется,

закручивается — раскручивается, выкручивается...
Метель. Пурга. Буран.

В метели, в пурге, в буране

ОГРОМНЫЕ

глаза Федеи.

В рамке лица Федеи.

Огромные глаза. Огромная голова. Огромный лысеющий лоб и в нем

ГЛАЗА,

еще гораздо огромней.

Впалые щеки сужаются книзу в смущенной улыбке и, словно подвешены к тоненькой шейке,

как на старинных карикатурах,

плечи

и грудь в манишке,

руки и

ноги в полосатеньких брючках (в узенькую белую полосу),

уменьшенные до зародышевого состояния, до

НЕРЕАЛЬНОСТИ.

Слабые, ненастоящие, неживые, как у зародыша,

дергаются,

как у марионетки перед расстрелом.

Снег, снег, снег, метель, пурга, буран вьются вокруг зародыша.

А глаза пророчествуют и смотрят

НЕОТСТУПНО. Сквозь снег, сквозь бред, сквозь

ПРЕДАТЕЛЬСТВО.

Огромные, черные, осужденные. Глаза, с которыми нельзя жить.

— Федя, я не хотел этого!

— Федя, я **НЕ** хотел!

**
*

Господи, я ли это?

Ко мне ли на край постели каждый день присаживается Доктор, ласково сжимает запястье, глядя на круглые, как яичко, часы, считает пульс, говорит:

— Пожялюста. Вам сегодня опять уже гораздо лучше. Продолжаем наш курс. Результат уже сказывается.

.

Я ли это продолжаю глотать целительную вытяжку из хвои (в ней витамин «С»), ем крапивные щи с сыроежками (в них фосфор и кальций), возвращаюсь со дна отчаяния, карабкаюсь по лестнице стыда, спущенной в мою яму Доктором, отпаиваю слезами иссохший остаток души, восстанавливаю память?

**
*

На воле он был музыкантом. Играл на флейте в оркестре Большого театра. На воле он тихо входил в оркестровую яму, с нежностью продувал инструмент, зачарованно ждал мановения дирижера. На воле у него была комната в Москве и дочка Оля. На воле он чистил ногти и причесывался «по принципу внутреннего займа», тянул длинную прядь волос от левого уха к правому. На воле он был человеком.

Но как трудно быть человеком здесь, в расчеловеченном антимире! Как трудно следить за собой! Как горько глотать оскорбления!

Он пытался причесываться и здесь, всё приглаживая прядку серых волос, переброшенных через лысину. Он смотрел на нас сквозь пенсне беспомощно голубыми глазами. Он похудел в тюрьме, нос обострился и пенсне очень плохо держалось. Он цеплял его шнурком на крючке за левое ухо и, падая, оно повисало с той же стороны лица, с какой повисали от ветра сдутые с лы-

сины волосы. Он боялся этого повисания и поправлял то волосы, то пенсне, подхватывая их двумя пальцами.

Его звали Константин Иларионович Крестовников. Он знал моего отца. Он приходил к тете раз в год с визитом в день ее именин и приносил букет и контрамарки в Большой театр. Тетя пыталась заставить меня разговаривать с его Олей. Оля была некрасива и очень стеснительна.

Он попал ко мне в бригаду случайно. Память о нем рвет мне душу. Я его спас от гибели, проклиная собственную жалость.

.....

Когда он уронил в чапыгу пенсне и, виновато моргая обесмыслившимися глазами, стал искать его, наклоняясь к земле и вытянутым указательным пальцем ковыряя в снегу, точно оно могло в него провалиться, бригада хохотала гулко и отвратительно. Пенсне ему нашли. Он укрепил его и захопотал у бревна, а вечером опять потерял возле барака. Я обещал ему найти его утром и с раздражением слушал его благодарность.

— Я благодарю вас, голубчик, еще и еще раз чувствительно благодарю. Я без пенсне, как без глаз. Зрение — минус шесть и восемь десятых, почти минус семь. Вам, молодому и зоркому, трудно представить себе, что это значит. Правда, у меня — с детства, с десяти лет. Сначала минус два, потом минус три, а к пятнадцати годам минус четыре с половиной. Мапочка горько плакала, когда впервые узнала. Красивые глаза и вдруг — за стеклами. И первые очки она купила мне в голубой оправе: глаза голубые и оправка голубая. Я их хорошо помню. Надел и почувствовал себя интеллигентом. Очки в голубой оправе привели меня, можно сказать, на стезю наук и искусств. Вам не скучно, что я болтаю? Открыто признаюсь, я бесконечно счастлив, что попал к вам в бригаду. Это редкое счастье — найти здесь близкого человека. Я знал вашего прекрасного

ПРЕДАТЕЛЬ

отца. Я чрезвычайно уважал вашу тетю. Скажите, вы так и не успели окончить факультет?

— Нет, не успел, как видите.

— А что делает ваша тетя?

— Дома сидит. Что же ей еще делать?

— Да, да, разумеется. Глупо спрашивать. Видите, ее не арестовали. И Оля, кажется, не арестована. Вы Олю помните?.. Я, как увидел вас, тотчас узнал, хоть прошло много лет. В народе есть, кажется, пословица: «свояк свояка видит издалека» или что-то в этом роде, не правда ли? Какой он мудрый и добрый, этот наш трудолюбивый простой народ! Удивительно, что они вас так слушаются! Вы поразительно с ними ладите. Надо мной все смеются, а вас слушаются. Как вы этого добиаетесь?

— Гм, никак.

Он помолчал с минуту и, желая и здесь быть воспитанным и тактичным, со вздохом сказал «покойной ночи!» и отошел в сторонку, остановился в проходе между вагонок, не зная, куда пристроиться, и мучаясь острым желанием убедиться в моем покровительстве.

Я думал о нем с отвращением. Я улегся. А он стоял-стоял и, наконец решившись, не вынеся внутреннего своего беспокойства, снова подошел ко мне и подсел на краешек нар:

— Простите, что беспокою, я хотел бы знать, как вы думаете, справлюсь я здесь с работой или не справлюсь? Я готов стараться изо всех сил, но не знаю, хватит ли их? Работа нелегкая и, главное, чуждая мне совершенно. Я очень надеюсь, но не уверен в себе: эти бревна так тяжелы, а люди у вас такие сильные.

Я не сказал ему правду. «Свояк свояка видит издалека»! Его свояки парили веточный корм в слабосилке. Но он был похож на Льва Анатольевича и на Шарлотту Германовну и на всех моих учителей и профессоров. Я сказал ему:

— Вот что, дядя Костя, таких вопросов не задают. Поработаете — увидите.

И отвернулся от него к стене. Если не завтра, то послезавтра ко мне подойдут работяги, раскулаченные подкулачники, выносливые, молчаливые и беспощадные. Подойдут — сразу несколько человек — и, глядя себе под ноги, скажут:

— Слышь, бригадир, не тянет профессор-то.

И опять, перебивая друг друга, в несколько голосов:

— Никак не тянет. С ним не выработаешь. Мы ничего, а только сам понимаешь: не выработаешь.

И замолчат. И я пойду в контору к прорабу, а потом в медсанчасть списывать в слабосильную роту заключенного Крестовникова К. И.

Я последую ленинскому завету: «кто не работает, тот не ест». Я прислушаюсь к голосу масс. Я борюсь за расхламление бригады.

.

А утром, едва застучали в рельс, К. И. Крестовников подходит ко мне на цыпочках и касается моего плеча. Я отдергиваюсь. Пробуждение — самый тяжелый период дня. У проснувшегося всё болит — и душа, и тело. С пробуждением начинаются ссоры. Неизбывная обида раба выплескивается матерщиной.

— Простите, ради Бога, вы вчера намеревались поискать за баракком мое пенсне. Я без него, как без глаз, я даже вас плохо вижу. Мне это исключительно важно. Пожалуйста, голубчик, не забудьте.

Я срываю с себя одеяло. Встаю. Не оглядываясь, иду из барака. Дорога в сортир. Направо-налево в снегу пробитые мочой дыры, одни бледно-желтые, другие ядовито оранжевые.

— Простите, вот здесь, в этом месте, насколько я могу припомнить.

Константин Иларионович сгибается, складывается в пояснице, водит лицом над загаженным снегом, приглядываясь, отчаиваясь и надеясь, представляя себе,

ПРЕДАТЕЛЬ

как блеснет вдруг целенькое, со шнурочком и золотой зацепочкой драгоценное чудодейственное пенсне, как туманно расплывчатый мир примет четкие очертания, а беспомощность сменится зрячей уверенностью, и можно будет потрудиться вместе с этой славной бригадой и в обед получить не суп, а рассыпчатую питательную кашу, заправленную подсолнечным маслом, трудовую жирную кашу ударников. Стоит только найти пенсне.

— Как это мило с вашей стороны, голубчик, что вы согласились помочь мне. Я бы сам никогда не нашел. Дома тоже я однажды обронил пенсне и не мог найти. Мне тогда доча-Оля искала, доча-Оля нашла (почему-то «доча», а не «дочь», как у нормальных людей). Вы такой милый, такой славный молодой человек... Простите, что беспокою, но не могу скрыть: я полюбил вас...

Я злобно подаю ему пенсне с примерзшей к стеклу мочой и отбитым наполовину стеклышком. Я злобно перетираю в руке заскорузлый, заделанный снег, нахожу отлетевший обломок:

— Получайте ваши глаза и уж как-нибудь не теряйте. Достаньте шнурок подлинней, веревочку, что ли, найдите, пришейте к бушлату... Да уж пойдете, я вам пришью.

И он идет за мной и разговаривает:

— Поразительно! Поразительно, как повторяются обстоятельства жизни! В тот раз, когда доча нашла, тоже так было: полстекла, — вы думаете, можно будет склеить? — полстекла отбилась. В тот раз доча нашла. А теперь вы. Спасибо, родной. Спасибо. Я приложу все усилия.

И вдруг всхлипывает:

— Сыночек! Я всегда мечтал иметь сына!

Я задыхаюсь от злобной жалости. Я пришиваю пенсне к бушлату и, не завтракая, ухожу к прорабу драться за место заключенному Крестовникову, за то самое место у печки в конторском бараке, за дивное место придурка-плановика, делающего сводку выпол-

нения плана по отделению, за место главного туфточа при прорабе. Прораб обещал мне это место. Чёрт с ним, пусть сажает на него Крестовникова. Я уж сам как-нибудь свое возьму. «Сыночек!». Этот болван не сумеет ведь толком и порадеть сыночку!

Мне обидно, что дурацкий Крестовников, неспособный найти даже собственное пенсне, получит от прораба новые валенки и будет сидеть в них у печки, постукивая на счетах и прихлебывая чаек, подводить роскошные итоги наших человекоднев и кубометров. А я зиму и лето, и четвертый, и пятый год буду надсаживаться над баланами, остепенять уркаганов, драться за багры, топоры и пилы, протаскивать заниженные нормы выработки, фальсифицировать отчетность и выдумывать, как закрыть процентовку, не слишком рискуя погореть и потерять, что имею.

Прораб посмотрел на меня с удивлением и сказал резко:

— Хорошо, присылай, но учти: не справится — ты первый горишь.

И помягче:

— Пройди на склад, там рукавицы для тебя есть.

Константин Иларионович не нашел слов благодарности. Он схватил мою руку холодными мягкими руками, открыл рот и прищурился. Из прищуренных глаз слезы брызнули, как из пульверизаторов, замочили стекла пенсне, и он долго потом протирал их полый бушлата. Я ушел. Я не мог его видеть.

**
*

А мне, вместо теплого места у печки:

— Примешь восьмой километр. Большой начальник будешь. Что? Опыта нет? Приобретешь. Подопрем. Техника та же.

Техника, действительно, всюду та же. Масштаб не играет роли. План, штурм, аврал, авария, узкое место,

ПРЕДАТЕЛЬ

прорыв, провокация, диверсия, саботаж, вредительство. Был бы человек, статья найдется. Люди делятся на тех, кто сидел, кто сидит и кто будет сидеть. Те, кто сидит, не застрахованы от второго срока. Всё ясно.

И восьмой километр мне знаком: хозяйство свирепое, злое, больше тысячи человек, из них до трехсот блатных, в слабосилку не спишешь. Задание: вывозка леса с горы на восемь километров без лошадей. Лес обмерян уже по осени. Лямки есть, топоры есть, багры есть. Вещевой склад по норме. Продуктовый запас:

по хлебу (в муке)	на 6 недель
по крупе	на 3 недели
по сахару	на 3 месяца
по жирам	на 2 недели
по белкам (треска солёнозамороженная в бочках)	на 1 неделю
по овощам и картофелю	на 3 дня

Выполнение плана по последним двум месяцам (после падежа лошадей) — 50%.

Участок в глубоком прорыве.

Что ж, будем драться за план. Драться меня научили. Я знаю, что социализм — это учет, а человек — единица рабсилы. Мне объяснили, что значит завет Ильича «кто не работает, тот не ест», и растолковали сталинское условие «кадры решают всё». Если бы меня выдвинули раньше, гарантирую, что лошади пережили бы зиму. Я развернул бы борьбу за кормоснабжение на базе внутренних ресурсов, вырвал бы в управлении кося, и сено на зиму было бы. Но восьмой километр я принял уже после гибели лошадей.

.

И всё же.

Спустя каких-нибудь пару месяцев сидит у меня душа сумасшедшей камеры, мой бывший школьный товарищ Аркаша. В угол поставил трость, положил ногу

на ногу и болтает, щеголяя сам перед собой ноншалантной своей манерой.

.....

(Теперь-то я знаю.

Он вошел к Аркадию тюремной ночью при негаснущем свете лампочки. Он возник перед ним внезапно, нежданно, непрошено и незванно в своем первозданном ужасе. Он явился в образе отчаяния. Гольй, бесслезный, холодный, он проглотил на глазах у Аркадия последнюю крохотную надежду, ухмыльнулся сухими губами:

— Всё. Больше ничего нет. Завихрение мозга и суэта. Можете колотиться по ватной клетке. Головой в стенку? Извольте. Но учтите, что стенка — ватная.

И ушел, оставив Аркадия в смертном сне, за которым пришла бессонница. Не та нервная, гоняющая мысли по кругу и не дающая сосчитать до тысячи, а другая — ленивая и беспощадная, от которой вешаются на скрученных в жгут подштанниках, пытаюсь спрыгнуть в космическую бездну, или визжат пронзительно на высочайшей ноте, ввинчиваясь в стратосферу безумия.

А чтобы этого не случилось, он стал приходить и показывать ему тех, кто валялся вместе с Аркадием в камере. Аркадий сдался ему под тяжестью улик и доказательств. Ибо он показывал то, что каждый видит и сам: груды тел, сваленных друг на друга, месиво из ног, животов и лиц, бороденку возле параша, квадратный ноготь убийцы, оттопыренные уши идиота, скошенный трусостью подбородок, безвольно слезящиеся глазки, лживые рты и лбы, вздувшиеся зловонием. Ибо над месивом тел, мешаясь с вонью мочи и пота, поднимался смрад страха, низости и предательства. Клевета выполняла из мозговых извилин, льстиво кланялась следователям, лизала листы протоколов, клялась, заверяла, раскаивалась. Бдительно следила, сигнализировала, запутывала близких и ближайших, путалась по статьям и параграфам, петляла вокруг пистолетного дула, ци-

линдрического отверстия, пустой дыры, нацеленной прямо в мозг. В позорном удушье страха, подвешенные к предательству, висели слова «СПАСТИСЬ!» и «ВЫЖИТЬ!», любой ценой, в любом состоянии.

Торговаться нельзя. Надо платить за жизнь.

И тут же, еще и не заплатив, уже шипела надежда, хорохорилось самодурство, вздувалась тоска по бесстыдному сладострастию, по пошлым забавам нестоющей жизни, по тайным порокам, по сладкому самообману, по всему, что отличает человека от зверя, благородного, чистого зверя, не имеющего души.

Он вводил Аркадия в свой антимир. Он преподавал ему гносеологию лжи, онтологию небытия, этику зла и эстетику безобразия.)

И вот сидит у меня Аркадий. Поставил в угол трость, закрутил ногу за ногу и болтает, подражая хозяину, щеголяя хамской его манерой:

— Не знаю, как там, в селениях праведных, а в аду тоже есть места получше и похуже, и каждый, даже самый паршивый, за пустяк осужденный грешник ловчится занять местечко повыше, поначальственней, погреть ручки у адского пламени, покобниться над согрешниками. В селениях праведных благорастворение воздушных, а в аду всевозможная радость. Там, как у нас, целая гамма радостей. Есть радости адского придурка: щелкать ножницами в адской парикмахерской, раздавать адскую баланду по котелкам, дневалить в адских бараках, выгружать мертвецов из адской санчасти. Всё это намного лучше, чем лизать пустую сковородку или крутить адские колеса. Есть радости адского АТП: бороться за дьявольские планы, нажимать на грешную рабсилу. Есть радости адского КВЧ. Это, друг, мои радости. Из них первая — никаких трудов (пухлые ручки с голубыми жилками); вторая — никакой ответственности, за план отвечаешь ты, а не я; третья — оформлять наличный энтузиазм, хочу милую, хочу шельмую;

четвертая — заворачивать большими панамы. Король туфты — это я.

— Помнишь анархо-монархо-троцкистский блок? Тебя как рядового грешника на лесоповал направили, а меня по телеграмме из Москвы беспересадочно в КВЧ: «Вы монархо-троцкист Свиньин?» — «Я». — «Можете политически оформить спартакиаду?» — «Могу. А что за спартакиада?» — «Общелагерные спортивные соревнования. Налаживает заслуженный мастер спорта, з/к Солоневич И. Л. Имеется одобрение ГУЛага».

Разворачивается мировая туфта. «Ведите, — говорю, — к Солоневичу. Поговорю, увижу».

Кончилось тем, что сбежало в Финляндию целых три Солоневича: сына и брата заслуженный мастер спорта с собой забрал, меня только, к сожалению, оставил. Но я в порядке перестраховки сигнализировал уже раньше, что пробрался классовый враг и ведет подкоп под спартакиаду. На этом сигнале и выплыл и, вот видишь, сижу сейчас перед тобой умудренный опытом и предлагаю по старой дружбе: давай оформлю твою командировку как образцово-показательную с распространением опыта на весь Белбалтлаг от Кандалакши до Медгоры и от Кеми до финской границы. Ты будешь руководить производственным процессом и ставить трудовые рекорды, а я — оформлять героизм и распространять опыт.

Он вынул из нового кожаного портфеля вторые пол-литра и выбил пробку:

— Кто хочет хорошо жить в аду, должен служить Сатане. Выпьем за Сата... за великого Ста-лина, я хотел сказать!

— Вот что, приятель, — ответил я, не подумав. — На твое оформление я положил с прибором. На финской границе мне делать нечего. Допивай свою водку и топай, откуда явился, подтягивай отстающих до уровня передовиков. А мы без геройства макароны с сахаром лопаем. Портреты нам ни к чему.

ПРЕДАТЕЛЬ

Аркадий пьет свой стакан и, пошатываясь, уходит. Он понимает, что я оскорблен и буду переживать оскорбление. Он с расчетом ударил меня в больную точку.

Ведь в самодельном нашем аду мне достались немалые радости: обмундирование первого срока, зимой крепкие валенки по ноге, бушлат по мерке, рукавицы кожаные мехом внутрь, а по блату — фартовая шапка-нэпманка, ремень комсоставский, шарф вязаный, голубой, домашний, с кисточками на концах. Отдельная кабина со своей койкой, своим столиком, своей печкой. Дневальный в полном распоряжении: чайник закипятить — пожалуйста, записку отнести в контору — «есть отнести!». Питание прямо с кухни «особое», вне всяких котлов; сверх питания — конфеты, сахар, жиры по записке прямо со склада. Кушайте, как говорится, гражданин-начальник, поправляйтесь. Примите только задание по вывозке леса вручную, словно бы у вас лошади были. Имеете 1244 з/к, постромки и лямки. З/к потянут, сумеете только запрячь. И гуляйте себе в барашковой шапочке набекрень, похрустывайте по снежку валеночками на лосиной коже. Ходите, куда хотите: охрана вас даже приветствует: расконвоированным пропусков не требуется.

Учтите только, что работяги ваши имеют два сильных желания: первое — жрать, а второе — лежать в бараках и вспоминать, как дома жрали. Разворачивайтесь, начальничек. Их больше тысячи, а вы один. Опыта нет? Ничего, на глотку берите. Труд — дело чести, дело славы, дело доблести и геройства.

.....

Добиваться чего-либо по-большевистски надо грубостью и напором, вручную, чтобы кости трещали, чтобы люди работали за лошадей. У меня же было несколько инженеров, нашелся топограф, нашлись головы, сумевшие разрешить поставленную задачу. Инженеры наметили трассу с места вырубki вниз к реке и

затем по реке к лагпункту, к тому складу, куда надо было доставить лес.

Трасса, разумеется, не была прямой. Вместо восьми километров она составляла пятнадцать, но зато шла или под гору или ровно, местами — по снежной насыпи, без подъемов, с мягкими поворотами, словно железнодорожное полотно. Эту трассу мы окантовали бревнами, залили водой, и получился ледяной жёлоб, по которому баланы шли как по рельсам. В отдельных местах работяги ехали на них верхом, отталкиваясь ногами.

Об этой дороге Аркадий думал было написать производственный роман, со мною в качестве основного энтузиаста, но потом отказался за нереальностью обстановки: во-первых, в СССР ведь нет концлагерей, а во-вторых, вывозка леса вручную в социалистическом обществе может иметь только местное значение. Только поэтому не написал. Ибо энтузиазм я (да и не я один) проявил настоящий. Я дрался за свою дорогу не только с прорабом лагпункта. Я спорил и кричал на всех совещаниях. Я требовал, я доказывал, я два раза ездил в Медгору, я дошел до самого Раппопорта. Я клал на плаху свою молодую голову в барашковой шапке:

— А погоришь?

— Погорю — отвечу.

— Второй срок получишь.

— Не боюсь я второго срока. Давайте продукты в кредит, продукция будет. План выполню. В каком виде я принял командировку? В прорыве принял. В глубоком прорыве. В ноябре возили на лошадях — дали 90%. В декабре тянули вручную — дали 30%. Процент больных довели до 17%. Списано в слабосилку еще 8%. 25% потерь за месяц. Что ж, хотите, чтобы я вручную горел? Нажимай? А что нажимай? Криком балан не вытянешь. Медгора сказала: на личную ответственность начкомандировки. Чего вам еще? В Кемь поехать? По-

ПРЕДАТЕЛЬ

еду. Заключение? Вот: всё технически обосновано. Отвечаю я. Чего еще надо?

— Ну, а что с тобой сделаем, если окажется, что продуктов нет и леса нет?

— Пойду под суд.

— А мы что? Тоже с тобой под суд?

— Медгора сказала...

— Иди ты с Медгорой! Медгора сказала и забыла, а гореть с тобой — нам. Тоже энтузиаст нашелся. Не за энтузиазм ли сидишь?

.....

Но дорогу мы всё-таки построили. Я уговаривал рабочих поработать на полпайке. Инженеры разъясняли им технические достоинства дороги. И люди поняли, что риск для них никакой: хотите — возите вручную, тогда и на полпайка не вывезете. И в результате командировка перевыполнила план. Я оказался на доске почета. Я был молод, самонадеян, горд. Мне нравилось драться за дорогу. Я тянулся к манящим далям и, когда первые баланы громоздко застучали по желобу, скатываясь на склад, захлебнулся колумбовой радостью: Индия! Земля! Победа!

И действительно, пошло продолжать, постукивая на поворотах, баланс за балансом, вручную, без лошадей: 100%, 110%, 120%, по честному, без приписок, без фальсификации отчетности:

— А ну даешь стахановский! (В нем макароны и сахар.)

— А ну, братва, полегче, спешить некуда, всё имеем! (Ешь макароны с сахаром и радуйся: заработали.)

.....

Я погуливаю по командировке в шапочке набекрень, рукавицы за поясом. Я люблюсь ладной подтянутой своей фигурой: сразу видно — начальник. У меня картинка над койкой, личный шкаф на замке, индивидуальная лампа, книги из библиотеки. Ко мне заходят

инженеры и техники, ведут беседу, делятся мыслями. Заезжает главный прораб, привозит рябчиков и пол-литра. У меня упорная мысль: затянуть бы сюда, в кабину, косоглазую Фроську с двадцатого километра, напиться с ней пьяным и «перепихнуться», как, гыкая, выражаются работяги.

У Фроськи желтые косые глаза, красные руки и высокие груди. Я два раза ходил на двадцатый, чтобы только ее посмотреть, и оба раза, пока смотрел, у меня мелькало в глазах и сохло во рту, и вместо того, чтобы авторитетно, по-начальнически спросить: «Ну что, Фроська, когда придешь водку лакать?», я едва выдавливал из себя, теряя красивую подтянутость и складность:

— Здравствуйте, Фрося, как поживаете?

.

Эх, начальник, начальник, беспокойная твоя кровь! Хозяин жизни, открыватель америк, строитель ледяной дороги в социализм! Инженеры тебя уважают, а политически оформить дорогу прислали чёртова придурка Аркадия, и Аркашка сделает из тебя объект, лагерного Павла Корчагина, маленького стаханова, силой и счастьем которого на весь Белбалтлаг положат лошадиные нормы. И будет Аркашка возить тебя, как ребенка, с командировки на командировку, доказывая твоим примером, что без лошадей даже лучше.

А за ним начальнички, поопытнее тебя, заставят твоих работяг толкать баланы по желобу в гору.

.

Я не удивился, когда Аркадий явился снова. Не удивился, что с ним пришел начальник Третьей части.

Уселись, угощают «Казбеком».

— Дорогу твою будем фотографировать. Приготовишь бревна поздоровей, уркачей подберешь повыразительней. Плакаты мы обеспечим. Лозунг: «Заставим снег работать на социализм!» Тебя пустим заглавным

ПРЕДАТЕЛЬ

планом. Тебе сколько осталось? До сорок второго? Ну, всё не всё, а половину скосят. Кончим сезон, поедем в Кемь. Отдохнем, погуляем, проведем подготовку к кампании.

.

Приди Аркашка один, я бы выгнал его опять, но передо мной сидел Душегубов, начальник Третьей, оперативной части.

И глядя на Душегубова, я понял, что без шумихи не обойтись. Чёрт с ними, пусть фотографируют.

.

И мои работяги не осудили меня. Они поняли это с такой же ясностью.

.

Так перешел я с махорки на «Казбек», вступил на позорный путь сталинского придурка.

*
**

«Черного кобеля не отмоешь добела.»
Знает ли Доктор, кто я? Конечно, знает.
— Пожаляуста, это, конечно, ви.

.

Почему в то первое посещение я не поймал и не поцеловал его руку, не воспользовался мгновением, когда она коснулась моего лба, отбрасывая грязные волосы?

Сколько мне еще надо плакать, чтобы научиться целовать то, что люблю?

*
**

Медгора, Беломорск (Сорока), Кандалакша, Ругозеро — это просто лагпункты, стройки социализма, порождения ГУЛАГа. Они состоят из барачков по обе сто-

роны проволоки. Население делится в них по буквам: з/к и в/н, заключенные и вольнонаемные.

Кемь — совершенно другое дело. Кемь — вообще не лагпункт. Кемь — курорт. Лагпункт вынесен на Попов-остров.

Кемь — это бывший уездный город Архангельской губернии, рыбопромышленный центр и гавань на Белом море. В навигацию из Кеми идут пароходы в Архангельск, на Соловецкие острова, даже на Мурманск. В навигацию в Кемь англичане приходят за лесом.

В Кеми стоят еще древние церкви, пустуют гостиный двор и базарная площадь, бегают кошки, чирикают воробьи, воркуют голуби. В Кеми живут жители: рыбаки и матросы, хозяева и хозяйки, деды и бабки. Юные пионеры, мальчишки и девчонки ходят в школу, зубрят по букварю: «Мы не ра-бы. Ра-бы не мы».

В двух-, трех- и четырехоконных домиках с полосатыми половиками и пестрыми занавесками качаются в люльках и зыбках розовые младенцы. Мухи садятся на семейные фотографии. Фикусы и столетники зеленеют в углах. Хозяйки трудятся у печей, варят жирную поморскую уху, пекут ржаные пироги с брусникой, с грибами, со свежей сельдью, с беломорской нежнейшей семгой.

Один взгляд в такое окно (вечером, когда зажгут лампу и сядут ужинать), и сердце завоет, как пёс на могиле хозяина, заскулит, как у беспризорника, вспомнившего мамину ласку.

.

В Кеми при советской власти построили замечательный ресторан. Высокий зал с хорами, тающий полусвет, круглые столики на четыре и шесть приборов, накрахмаленные белые скатерти, официанты во фраках, оркестр.

Я в Москве не бывал в таких ресторанах. Не знаю даже, где они там находятся. А в Кеми бываю, прихожу, когда вздумается, заказываю, что пожелаю, ем,

ПРЕДАТЕЛЬ

пью, веселюсь вместе с Аркашкой в кругу высочайшей знати, заправил всего Белбалтлага, действительных и бывших членов Всесоюзной Коммунистической Партии большевиков. Пользуюсь их доверием.

Мои фотографии развешаны по красным уголкам: энергичное волевое лицо, протянутая рука указывает в даль ледяной дороги. Мое имя красуется на досках почета, мои статьи печатаются в «Перековках». Я — замечательный новатор, знатный лесовоз, представитель нашей эпохи, живой образец того, как партия перевоспитывает преступников. Я делюсь своими знаниями и опытом. Я отдыхаю под лозунгом «Заставим снег и лед работать на социализм!»

Я с утра до вечера пьян. Мне гораздо лучше быть пьяным. Пьяный — я обманываю сам себя. Пьяный — я вспоминаю, с какой готовностью, даже отчасти гордясь, работяги вышли на фотосъемку. Пьяный — я верю, что меня уважают, пьяный — я думаю, что дело в трассе, что толкать баланы по жёлобу лучше, чем тянуть их вручную; пьяный — я мечтаю приладить блоки, подключить тракторы, припрячь лошадей. Пьяный — я люблю себя, думаю, что хорош, и приношу пользу. Пьяный — я вру не хуже Аркашки. Пьяный — я прусь на трибуну и разъясняю про ледяной жёлоб. Пьяный — я без предупреждения могу дать в зубы любому, кого не боюсь. Пьяный — в этом роскошном ресторане я загнал Аркашку под стол и вымазал ему морду горчицей.

Пьяный — я в дружбе с социализмом. Социализм награждает меня по труду, создает мне условия для трудовых подвигов. При нем старшие, попартийней меня товарищи ласкают меня: еще бы! свой в доску, не подведет, оправдает доверие!

И в пьяном этом тумане ломается передо мной Аркашка. Как всякий раненый в душу, доказывает свое: — Самообманом заниматься бросим. Самообман — явление переходного порядка. Лес твой народу не ну-

жен, а работягам твой жёлоб — как мертвому припарки. То, чем мы занимаемся, безвредно и бесполезно. И к правде отношения не имеет. Запомни: есть мир, есть антимир. Есть ложь, есть антиложь. Учись у великого Сталина: то, что он заявляет, — ложь; то, что он думает, — антиложь. Тот, кто это усвоил, — полноценный член партии.

Я сижу за троцкизм, но отрекаюсь от Троцкого. Я заблуждался, когда считал его гением. Троцкий, как ты, занимался самообманом. Троцкий не понимал эпохи. Троцкий исчез как политический деятель. Пусть пишет теперь мемуары на своей планете без виз.

Старый наивный мир, в котором боролись за правду, Троцкий хотел заменить... чем?.. Он, видно, и сам не знал, принимая всерьез утопию «Коммунистического манифеста». Как все люди досталинской эпохи, он шел по-глупому, напрямик, воображал, что творит добро и стремится к правде.

Но историей заниматься не будем. В наше время правда отменена. Через десять — пятнадцать лет найти правдовера будет трудней, чем гигантского ящюра. Правдоверы не могут жить при социализме: их поведение неадекватно требованиям среды. Они думают, будто ложь не может существовать без правды, будто существование правды есть условие возможности лжи. Они пытаются увязать два вполне разнородных понятия, хотят сделать ложь правдоподобной, обкрадывают ее, ставят ее в зависимость от правды, делают ложь несвободной.

Сталин освободил ложь. До него думали, что лжи противостоит правда, а при нем оказалось, что лжи противостоит антиложь. Вот почему он — гений из гениев, властитель эпохи, подлинный строитель антимира, величайший из величайших, вождь и отец народов, воплощение антибога, истребитель правдоверов. Сталин спихнул старуху-правду в помойную яму истории, в археологический музей, где ее будут хранить под ске-

летом археоптерикса, вместе с каменным топором, сказкой о добром Боженьке и прялкой «дженни».

Сталин не стремится к утопии. Сталин очищает Россию от правды. Недаром он объявил о счастливой жизни именно теперь, посадив миллионы за проволоку. Недаром на место правды он предлагает тебе пока самообман. Самообман не ложь, но убивает правду. Самообман — заменитель правды, эмбрион антилжи, ее исток и начало, школа коммунизма, но конечно еще не коммунизм. Коммунистический мир еще не реальность, но родится на наших глазах. Маркса читал? Про насилие как акушерку истории? Самообман — тоже акушерка. Сталин это лучше всех знает.

Самообман отомрет, но жизнь будет продолжаться. Никуда не денется, хоть изменения будут значительные. Единственное число, например, придется похерить. Имена собственные тоже отменятся. На первое время, пожалуй, останутся номера, — в штрафных лагерях их, кажется, уже вводят. Но главное, — для того временно и допускается самообман, — это обесмыслить язык и истребить индивидуальную мысль, чтобы ничего не осталось на «я», только общее, только на «все».

Диалектический прообраз сего дан в учении о первобытном коммунизме, времени, когда человек был бегущей по степи обезьяной. «Человек — это звучит гордо!» — сие сомнительно, хотя бы потому, что не увязывается с обезьяньим происхождением. Но разберемся. Разберемся еще раз всерьез. Поставим рядом работу и обезьяну. Посмотрим: туловище и руки действительно почти одни и те же; головы тоже похожи; основная разница в ногах, откуда ясно, что человек образовался с ног, а не с головы. Обезьяна образовалась с рук, а человек — с ног. Совсем вкратце: когда приматы вскарабкались на деревья, им понадобились руки, чтобы держаться за ветки, и в результате возникла обезьяна; когда же лес засох и обезьяна спустилась на землю,

ей понадобились ноги, чтобы бегать по степи, руки же освободились для других дел. Прачеловек, как и зэк, конечно, предпочел бы употреблять их главным образом для поднесения пищи ко рту, но, увы, очень скоро они понадобились ему, чтобы взять камень и пробить голову своему ближнему. Этот элементарный факт лежит в начале человеческой истории и отражен в легенде о Каине и Авеле.

Мозг обезьяны весит полкилограмма. Для братоубийства — достаточно. Для превращения палки в собственность, однако, мало: ударит и бросит. Отсюда — первобытный коммунизм, ибо жили степные обезьянолюди стадами, как теперешние зэки, и управлялись вождями, как теперешние народы. Индивидуальные различия, которые теперь исчезают, тогда еще не возникали.

Прочую мировую историю от Каина до Сталина я рассматриваю как антитезис, смысл которого объясню в другой раз. Мы пока говорим о стаде. Когда ты был на общих работах, сам отлично мог наблюдать: самообманом работяги не занимаются; основные реакции работяги сводятся ко сну, питанию и работе. Полкилограмма серого мозгового для этих реакций достаточно, и среди работяг я наблюдаю быструю (в промышленности говорят «скоростную», в медицине — «скачущую») дегенерацию мозга, сопровождаемую развитием челюстных мускулов, которые, как известно, вызывают утолщение надбровных дуг, столь ярко выраженное у синантропа, питекантропа и других сохранившихся экземпляров прачеловеческих черепов. Предвижу, что скоро усовершенствуется сталинская практика насильственного отбора (я слышал, немецкий фашизм думает предпринять кое-что в этом направлении, а мы перегоним): два — три поколения, и средний работяга вернется к емкости черепной коробки, оптимальной для трудящегося коммунистической эпохи, то есть такой, чтобы сообразить, где сколько чего дают. Это и будет

ПРЕДАТЕЛЬ

морально-устойчивое, вполне социалистическое существо, ибо то, что он жрал и жрет, удовлетворит его полностью.

Такие работяги составят базис коммунистического общества. Надстройку же обеспечит новый сталинский человек, прошедший школу самообмана и научившийся лгать-антилгать. Эти люди получают дар штампованной речи и задачу обратного влияния на базис. Посмотри, вон они уже собираются — великолепные люди будущего. Пошли-ка, подсядем и выпьем с ними за нашу чудесную эпоху, войдем в правящий класс, в среду тех, кого Сталин призвал руководить работягами.

.....

Аркадий не только болтал, сообщал свои пошлые мысли. Он затеял изложить их в книге, наброски которой он мне показывал, цитировал и читал. Книга называлась «Антимир. Прологомены деструктивного философствования». Перебирая философемы и параграфы, Аркадий вяло и равнодушно описывал в ней пустоту, из которой ничего не вытекало, фальшиво сочинительствовал, выдумывая утопический антимир и претенциозно гордясь своей неоригинальной выдумкой. Книга свидетельствовала об интеллектуальной дегенерации. Хозяин, почти не прячась, водил его пером, повторял древнюю, как он сам, попытку осмыслить и оправдать ложь, опошлял и выхолащивал мысль, превращая ее в пузырь, который вздувался и зловонно лопался, как лагерный клоп на железной печке.

Нечистая забава Аркадия страшна была только тем, что перекликалась с дьяволовой игрой в стране.

Объявив перевыполненной провалившуюся пятилетку, Сталин двинулся по пути безоглядного террора. Менжинского сменил Ягода, Ягоду сменил Ежов. ОГПУ сменил НКВД.

Ежов говорил на совещании Президиума ЦИК СССР (смотри «Правду» от 27 июля 1937 года):

«В мире нет ни одного государства, где бы органы государственной безопасности, органы разведки были бы так тесно связаны с народом, так ярко отражали бы интересы народа, стояли бы на страже завоеваний народа. В капиталистическом мире органы разведки являются наиболее ненавистной частью государственного аппарата для широких масс трудящегося населения, поскольку они стоят на страже интересов господствующей кучки капиталистов. У нас, наоборот, органы государственной безопасности стоят на страже интересов советского народа. Поэтому они пользуются заслуженным уважением, заслуженной любовью советского народа».

Хозяин аплодировал с отеческой благосклонностью. Подручные аплодировали бурно. Газеты вопили о страстной любви народа к железному наркóму Ежову. Многочисленные митинги трудящихся требовали новых расправ. Оперативные группы НКВД работали не покладая рук. Бледные граждане в ночных рубашках отпирали двери квартир и, героически сглатывая спазму страха, сдавленно спрашивали: «Вы меня арестуете?»

Дети жались в дальних углах, расширенными зрачками видели, как боится папа, наблюдали, как голубые околыши роются в неостывшей постели, как мучаются мамины руки, доставая теплую одежду, укладывая папе в портфель начатую буханку хлеба, кусок колбасы, банку с сахаром, купленные для детей конфеты.

Черные вороны равномерно катились по улицам, доставляя в тюрьмы подсудимых. Подсудимые предательствовали и получали сроки. Жены, таясь от знакомых, становились в очередь за справками. Некоторые вскрикивали, принимая «Осужден на ... лет без права переписки». Другие плакали горько. Третьи отходили молча и только в трамвае, под истерический выкрик кондуктора: «Местов нет, вагон отправляется!», смахивали уголком платка безжалостную слезу.

Большие и маленькие стахановы насиловали промышленность. На улице Горького дома откатывали на

ПРЕДАТЕЛЬ

роликах на десятки метров назад. В мраморе и порфире красовалось московское метро. Наркомы с портфелями под замком везли в люксовых бьюиках и зисах секретные документы, вздуваясь комчванством, восседали в президиумах. Комбриги, комдивы и комкоры преподавали стратегию и тактику, готовили РККА к сокрушительному удару. Профессора и академики создавали марксистское языкознание, марксистскую химию и марксистскую биологию, писали статьи о яровизации, гибридизации и акклиматизации, утверждали, что своими знаниями они обязаны только Сталину. А вечером, тайно от самих себя, крестились под одеялами: вдруг да окажется в них замаскированный вейсманизм-морганизм, вдруг да сам академик Лысенко пошел на поводу у классового врага, вдруг да объявят всю биологию лженаукой... Господи, пронеси и помилуй!

Понятие преступления расширилось до беспредельности. Всякая мысль, не охваченная казенной доктриной, стала источником преступности, пережитком капитализма в сознании, неизбежно вела к уклону, загибу, сползанию, скатыванию, хождению на поводу, выпадку, вылазке, нарушению универсальной статьи 58 УК РСФСР.

Исчезло понятие ошибки и заблуждения. Преступно стало ссылаться на объективные условия. Слова искушение, грех, соблазн исчезли из языка, слились в одном всеобъемлющем — «преступление». Предательство стало бдительностью; бдительность — добродетелью.

Бесы сменили кожу.

На П: Правый уклон, Перестраховка, Предельчество, Примиренчество, Приспособленчество, Пораженчество, Просачивание, Перерождение, хождение на Поводу (у врага, разумеется), отрыв от масс, а равно от Производства, занижение Плановых норм и заданий, Перегиб, Прожектёрство, чуждый Подход.

На С: Самонадеянность, Семейственность, Слепота Специалистов, Схематизм, Самоуспокоенность, Скачивание, Сползание, Смычка (с чуждыми или вредными элементами).

На разные буквы, роем: Штурмовщина, перегиб,
Компанейщина, комчванство,
Искривление, загиб,
Бракодельство, хулиганство,
Пораженчество, хвостизм,
Обезличка, разгильдяйство,
Показуха, наплевизм,
Упрощенчество, зазнайство.

Очковтирательство и лакировка,
Приспособленчество, перестраховка,
Перерожденчество, отрыв от масс...
Великий Сталин, помилуй нас!

Пухлые дошкольники в детских садиках складывали из буквочек любимое слово «Сталин». Учительницы в рваных ботинках докладывали в классах о бурном росте благосостояния трудящихся; учащиеся писали сочинения о лицемерии буржуазной морали, о замечательной дружбе между советскими людьми и дальновидно отсаживались от тех, чей папа...

«Жить стало лучше, жить стало веселей!» Утром после ареста заплаканные мамы, сидя среди разбросанного белья, ооъясняли детям, что не следует теперь вспоминать о папочке, что дяди в голубых околышах — это ничего, это так и надо, что никак нельзя опаздывать в школу и пусть бабушки, как всегда, приготовят завтрак и станут в очередь.

Расправа над темной деревней кончилась. Расправлялись над городом, партийным и беспартийным. И в комнатах репрессированных партийцев оставались висеть портреты Сталина, благосклонные, молодежавые и усатые. Их прищуренные глаза смотрели устало и муд-

ПРЕДАТЕЛЬ

ро, точно так же, как в лагерях, как в том замечательном ресторане, в котором пили сталинское здоровье репрессированные за контрреволюцию, троцкизм, шпионаж и вредительство, бывшие и действительные члены сталинской партии, ныне з/к и в/н, занимающие отдельные ответственные должности в системе ГУЛАГ-НКВДСССР.

.

С нами сегодня наш главный начальник и покровитель, тов. Душегубов, Н. Е. Свинцовый нос, небритый подбородок, вставленные за казенный счет беспощадные стальные зубы. С восемнадцатого года чекист. Профессиональный расстрельщик.

Душегубов предан без лести. Сказано провести ледяные дороги, значит — веди, но будь бдителен. Он один уцелеет, когда ледяная панама окажется вылазкой пробравшегося врага. Он раскроет наше нутро. Он воздаст каждому по заслугам.

С нами Наум Ильич Беленький, главный бухгалтер отдела снабжения. Наум Ильич пытается скрыть, что был репрессирован, любит пересказывать передовицы «Правды», а анекдоты рассказывает только полуприличные.

С нами два случайных товарища из УРО. Перед нами меню:

Закуска

Борщ или суп с фрикадельками
Солянка рыбная или котлеты пожарские
Кисель клюквенный или мороженое.

Душегубову — борщ, солянка, кисель.

Аркадию — суп, котлеты, мороженое.

Остальным — что попало.

К водке граненые стопки (50 г). Пьем подо всё, включая кисель.

А за неоригинальным этим меню — неоригинальное меню беседы.

За селедкой и сёмгой — невинное, о рыбалке. Сначала о здешней, на Белом море, потом о домашней, на Клязьме, Оке и Москва-реке. И жужелицы, которых мальчишками, сопя, ловили в речке-тухлянке, вздуваются в зубастых щук с живым весом не меньше пяти килограммов. Ложь наивно-героическая, хвастливо-рыболовная, чьи междометия выросли из звериных криков, чьи возгласы тянутся из тьмы веков: я — особенный, моя щука — дракон, я — герой, замечательный, несравненный. Нет предела моим возможностям! (Здесь отличаются товарищи из УРО).

За борщом (с сосисками, со сметаной), за пятой стопкой налаживается разговор о женщинах. Открываются двери в спальню, в ложь похабного анекдота, в ложь циничную, подлую, постельно-клеветническую, в ложь адюльтеров, гаремов, евнухов, содомских наложниц, в измельчавший несостоявшийся Вавилон. (Наум Беленький здесь на высоте).

Солянку встречаем молча. Анекдоты исчерпаны. Душегубов вспоминает расстрелы; Беленький — директорский кабинет. Молча наливаем, молча поднимаем стопки, молча пьянеем, и только Аркашка пакостно мучит меня вполголоса:

— Есть дети горя, как, например, ты, а есть дети счастья, как, например, твой Крестовников. Помнишь его, конечно? Я его устроил в оркестр, он, оказывается, на флейте играет. Как? Очень просто: спросил Душегубыча: «В Третий отдел нужны кадры? Имею неплохого музыканта, поговорите». Уверен, что он не отказался: отказался бы, не был бы здесь. Так что смотри, благодетельствуй ему теперь только по Канту, практикуй практический разум в гулаговской практике: добро, совершаемое по влечению сердца, расценивай ниже добра, совершаемого из чувства долга. Тем более высоко расценивай благодеяние, оказываемое по расчету человеку, вызывающему чувство опасения... Заметь себе: Кант не говорит «недостойному», понимает, что катего-

ПРЕДАТЕЛЬ

рия достоинства здесь неуместна. Да-с, голубчик, делать добро — весьма противное занятие. Тропа спасения камениста, крута, выражаясь дорожно-технически, неудобопроходима.

Я нагибаюсь к мерзавцу, беру его стул за ножку, говорю:

— Внимание! Наблюдайте трюк, не снимая брюк!

И выдергиваю из-под него стул. Аркашка опрокидывается, как черепаха. Веселый смех: какая дружеская шутка!

А за киселем Душегубов вдруг басом:

Почему у одних жизнь прекрасна
И полна упоительных грёз?
У других она просто ужасна:
Много горя, страдания, слёз!

Но хор молчит. Никаких провокаций. Наум Беленький перехватывает инициативу и заводит фальцетом про физкультуру:

Чтобы тело и душа были молоды,
Были молоды, были молоды...

— Физкульт-ура, ура-ура! — подхватывают соседние столики, и покорный оркестр, в котором Крестовников (действительно вижу) сидит за барабаном. Поём счастливыми голосами про прекрасную родину, светлую жизнь и любимую службу на страже советских границ, поем про шпионов и бдительность.

— Внимай и замечай, — комментирует необидившийся Аркашка, — улавливай зримые черты грядущего коммунизма, учись ценить подлинно популярное в искусстве. Этого не выведешь из Мейерхольда и Маяковского. Это — искусство социализма!

Ах да. Восемнадцатый век. Крестовников. Флейта. Официант. Печальные глаза официанта. Старуха. Машина. Машинка барышня.

Сплю, бросив голову между обедками. А Крестовников играет на флейте.

Флейта-позвоночник? Нет, ерунда. Не сон, а Крестовников действительно играет на флейте. Маяковский? Нет, Бах. Си-минор. Танцевальная сюита (увертюра, рондо, сарабанда, буррэ, полонез, менуэт и тончайшее, грациознейшее флейтовое французское бадинри, игрушка, забава, шуточка, только в миноре на флейте возможная, без минора на флейте непредставимая).

Флейта у Крестовникова сипит немножко, дребезжит по-старчески, с хрипотцой, спотыкается в трудных местах. Крестовников играет стоя, в парике.

Раскланивается в увертюре,
Расшаркивается в менуэте,
Подпрыгивает в полонезе,
Изгибается вензельно в буррэ.

Кругло вздувает щеки, проворно перебирает пальцами.

Пенсне висит на шнурочке. Трясутся букли.

И в полуслепом тумане, в нежности нестерпимой (от нежности флейта свистит свирелью) следит за женской головкой, видит, как над паркетом залы, над открытыми робами, над кружевами жабо, париками и лентами, отражаясь в бесчисленных зеркалах, жеманится женская головка в высокой прическе (локон на тонкой шейке), с мушкой на щечке, с капризно отставленной губкой, с пронзительной грустью в глазах.

Ах, как пронзительно-грустно! И, поднимая голову, встречаю старые глаза официанта. Официант подошел посмотреть: сплю я или так, отдыхаю?

Там, на московской окраине, мимо Бутырской тюрьмы и дальше по Новослободской, через мост налево, напротив Савеловского вокзала, — одинокая его старуха

ПРЕДАТЕЛЬ

в деревянном трехоконном домике (как здесь, в Кеми), с серым газончиком, со столетником, с занавесками, с большим висячим замком. Домик достался ему от отца, тоже официанта (а дед был дворецким у графа Нессельроде; когда вольная вышла, граф отказал ему этот домик). В домике родилась Маша. Росла на радость родителям. Официант подавал у Яра, жил со старухой и с Машей в своем трехоконном домике.

Потом Маша померла от чахотки, а Яр закрыли. Вместо Яра — пятнадцать лет. Спецресторан в Кеми.

— Вам бы пить меньше надо. Вы с Аркадьем Николаевичем музыку понимаете. Позвольте-ка, смахну со столика.

Официант собирает объедки. Крестовников играет на флейте про любимую Машину барышню. Аркадий раскалывается с дребезгом: молится за него Богу отдаленная его прабабка, Полина Свинына, урожденная Нессельроде, замученная законным мужем, другим Аркадием Свиныным, в 1797 году, в царствование императора Павла.

**
*

А я?

Я (как это у Достоевского?) «соскочил с дороги и безобразничаю, пока не свяжут».

А свяжут меня крепко, по-большевистски.

Не на Душегубова, и не на Аркашку, и не на кого еще, а именно на меня свалится вся расплата за туфту с ледяной дорогой. И не второй срок, а хуже — кольцевой маршрут, дорога в смерть.

Лженоватор, халтурщик, безответственный проектиёр, а в бумагах: «склонный к побегу отказчик».

Кольцевой маршрут из лагеря в лагерь придуман для упорствующих отказчиков-урок. Такой урка, если не загнется в пути, где-нибудь да не выдержит и слезет, согласится работать.

А я? У меня пятьдесят восьмая статья плюс «склонный к побегу» и «лженоватор». Кто примет такого? Кроме смерти, никому не нужен.

Кольцевой маршрут я не помню. Помню только и не хочу забывать, что все мы у смерти в отпуску.

И живу, санитарю в палате: выношу мертвецов на кладбище и знаю: умирать каждый должен сам. И каждый умирает по-своему. Но каждый, кому дается время подумать перед смертью, непременно подумает о могиле.

Это кажется, будто зэк умирает в тупом безразличии. Зэк доходит мучительно долго и много думает перед смертью. Пока он надеется выжить, зэк думает только о пище. Пища = жизнь. Но когда он дошел, когда есть ему больше не хочется, а хочется только спать, ему снится не хлеб, а могила.

И никому не хочется с привязанным к ноге номерком трястись в кузове грузовика вместе с другими трупами. И хочется, чтобы в могилу опустили, а не сбросили, как мешок. И чтобы засыпали как следует. Неприятно, если рука или нога торчит потом из могилы. Иной доходяга (я это точно знаю, я это на маршруте наблюдал) уж совсем соберется, не хочет больше идти — всё равно никакой надежды, а представит себе, как торчит, и умереть не может: боится.

А у Доктора и мертвецам было лучше. Их клали каждого в отдельную могилу, без надписей и памятников, конечно, чтобы нельзя было обнаружить кладбища, но клали аккуратнo на спину, со сложенными на груди руками, и засыпать начинали с ног, а не с головы, чтобы лицо исчезло последним. Засыпав же, даже и на морозе снимали шапки и с минуту стояли молча, уважая душу усопшего. Могилу рыли глубоко, не мельче одного метра.

Доктор знал, что лечить он не может, а может только откармливать и хоронить. В аптеке стояло поллитра спирта, аспирин в порошке (граммов 200), перекись водорода, коробка двууглекислой соды, квасцы, белладонна в гомеопатических крупинках, два-три слабительных и четыре градусника. В отдельном ящике под замком хранились хирургические ножницы, ланцет, несколько щипцов, простейший инструментарий, достаточный, чтобы вскрыть фурункул, но непригодный для серьезных операций.

И когда во время обхода он подозвал меня к себе (я уже хорошо поправился и санитарил в палате, оправляя постели умирающим) и сказал: «Пожалуйста, как студента-медика я хотел бы оставить вас у себя лекпомом», я сразу понял, что мой позабытый медфак вообще ему не нужен, а нужен просто предлог оставить при себе грамотного и расторопного парня, готового за него в огонь и в воду.

И с благоговейной благодарностью я принял ключи от аптеки и больше трех лет не знал покоя, совершая сладчайшее из всех земных дел — исполняя волю святого.

Я тогда не догадывался, что Доктора замучат в застенке — неизбежный конец всех святых при советской власти — и не знал, что Доктор — святой. Но каждое его слово было для меня свято.

А чудеса... да они сыпались с него, как цвет с черемухи. Он рассыпал их без малейшего усилия, точно они ничего не стоили. Он просто нес их в ладонях и сыпал, и ронял по пути. Его любимое слово было «пожалуйста!».

Чудеса! Никто даже не говорил о чудесах, которые совершались у нас ежечасно и с каждым. В руках Доктора вытяжка из хвои превращалась в волшебный элекси́р, инвалидный лагерь — в обитель. В руках Доктора люди даже умирали с благодарностью.

Но расскажу по порядку.

В школе нам объяснили, что советская власть не строит ни монастырей, ни тюрем. Но тем охотнее она перестраивала монастыри в тюрьмы.

Так возникла и докторская обитель, комбинат из сангородка и инвалидного лагеря, расположенного в бывшем монастыре на самом юге Карелии, на территории, которая, пока я гулял на кольцевом маршруте, отошла от Белбалтлага к Свирьлагу.

Комбинат чинил и комплектовал обмундирование второго и третьего срока, а кроме того сдавал по нарядам летом грибы, ягоды, озерную рыбу, а зимой лапти, корзины, маты. Но главной продукцией была, конечно, рабсила. Ради нее лишь терпели Доктора, ради нее позволяли ему чудесить. Обитель была, наверное, единственным местом в стране, куда можно было сдать доходу и получить обратно рабочую единицу. Ремонт людей производился здесь капитально, потрясающе дешево и в сравнительно сжатые сроки. Во всем сангородке только Доктор не понимал, что количество слабосилки в любой лагерной системе не должно превышать двадцати процентов от общего состава и что места придурков вне инвалидного лагеря занимают нарасхват на основе местного блата. Если бы дать ему волю, он бы вообще никого не отпускал от себя. Все люди были ему милы, каждого он любил, возле каждого готов был остановиться со своим неизменным «пожалуйста», готовый помочь, пожалеть, погладить быстрой и легкой рукой.

В результате же наша обитель всегда была перегружена. Доктор вел борьбу за каждого инвалида. Мы получали снабжение точно на пятьсот человек: сто в больнице и четыреста в лагере. А лишние сто человек снабжались из внутренних ресурсов, то есть, с точки зрения з/к, ели чужую пищу. И все не только знали об этом, но и соглашались с этим. Это было главное докторское чудо.

И именно поэтому каждый действительно поправившийся, действительно выздоровевший должен был уходить. На этом решительно настаивал Офицеров, административная совесть Доктора. Доктор долго с ним спорил, потом тщательно осматривал выздоровевшего и, убедившись, что никаких болезней в нем не найдешь, разводил руками и выписывал усиленное питание. Офицеров направлял обреченных на кухню, где они помогали поварам и наедались в запас без всяких ограничений, а между работой ходили на вещевой склад и долго возились там, отбирая себе обмундирование. Доктор при этом присутствовал. Редко кто уходил с проклятиями; большинство — с благодарностью.

Но отчаяние душило каждого, и случалось, что отдельные выздоровевшие уродовали себя, ломали и рубили себе руки и ноги, глотали стекло и травились волчьими ягодами, лишь бы остаться навеки при Докторе. Доктор воспринимал это как обиду и очень мучился.

— Зачем вы так поступать! — восклицал он, горестно всплещивая руками. — Зачем вы погубили себе жизнь? Пожялюста, вы били абсолютно здоров и вы сами сделяль себе инвалид... Ай, как вы мене обижаль, вы мене так обижаль, что...

Доктор не договаривал, что никакого «что» у него не было, кроме, конечно, забот о добровольном инвалиде, но, совсем расстроившись, вскакивал и быстрыми мелкими шажками уходил гладить ручного селезня, от которого только и было проку, что летом ловил комаров на докторском окне, громко кричал и ходил вперевалку. (Этого селезня Доктор подобрал уже два года тому назад гадким утенком, вырастил и упорно держал, несмотря на то, что тот гадил куда попало).

Каждый уходящий этап огорченный и взволнованный Доктор непременно провожал до ворот, с каждым прощался за руку, спрашивал, все ли сыты, сколько чего получено на дорогу, желал всем счастливого пути и получше устроиться и, когда уже выходили, долго еще

стоял, беспомощно взмахивая руками; не одной только правой, а обеими вместе вверх и обратно вниз. Это было докторское благословение.

Приходящим же Доктор радовался. На встречу он, правда, не выходил, ждал, пока разместятся в стационаре. Но как только улягутся, тотчас же начинал обход, торопясь рассмотреть и приветствовать каждого. Он понимал, что половина пришедших умрет, как ни хлопочи вокруг них. Но всё-таки радовался.

Для безнадежных была отведена отдельная палата — бывшая малая монастырская церковь, а санитарями в ней были священники: грузный и строгий отец Николай и маленький нерадивый отец Карп. Отец Николай и отец Карп тайно служили в алтаре, исповедывали и причащали умирающих, отпевали усопших и незаметно клали им на грудь крест из сосновых веток. Я сам не раз относил им мешок этих связанных лычком крестиков и растроганно улыбался, когда отец Николай благословлял мою ношу, а заодно и меня: «Благослови Бог! Благослови Бог!»

Отец Николай был высокий, красивый, строгий. Год рождения — 1892, но сердце изношено до предела. Отец Николай еле переставлял опухшие ноги, с трудом, задыхаясь, перекладывал мертвецов, не спал по ночам и бранил отца Карпа за нерадение.

Отец Николай совсем плох. Скоро он будет не в силах ходить на кладбище, бороться за глубину могил. Доктор пропишет ему больничный режим и отдаст ему на руки последние полпузырька дигиталиса.

И покапав на кусочек сахара, отец Николай будет вставать только, чтобы принять исповедь, а потом и во все перестанет вставать. И, вздыхая, благословит на власть отца Карпа, а отец Карп благословит его в последний путь и будет в трескучий мороз сам помогать рыть могилу отцу Николаю. И могила будет особая: шире и глубже обыкновенных. И сам Доктор придет, и будет стоять над могилой, и, когда отца Николая уже за-

съпят, будет еще долго взмахивать руками и качать головой, и, не сказав «пожалуйста», повернется и пойдет прочь быстро и мелко.

И я побегу за ним и скажу: «Доктор, я прошу — разрешите мне теперь следить, как роют могилы. Отец Карп слишком мелко роет». — И Доктор скажет: «Спасибо, голюпчик. Пожалуйста, ви теперь следите». А отец Карп скажет, смахнув слезу с красных припухших глазок и стараясь выговорить, как, бывало, отец Николай: «Благослови Бог! Благослови Бог!»

Отец Карп приbedняется, хоть здоровье у него отличное. Даже не инвалид, а только старый очень, год рождения 1868. Отец Карп любит вспоминать царскую Россию, семинарию, матушку, свой приход под Можайском, а разговорившись, перечислять грехи или приводить цитаты из Писания. Бородка у отца Карпа реденькая, козлиная, как у Некрасова и Дзержинского. Отец Карп ленив и беззаботен, за людьми ухаживает плохо. К нему в пару надо очень честного санитаря.

Вот почему Доктор поручит всё же мне заботу о Малой Церкви, и, служа достоинству смерти, я буду бранить отца Карпа, пока в невозможную мою ночь легкомысленный отец Карп, пренебрегая страхами, не придет отереть с меня пот предательства и благословить на жизнь, которой перестану желать.

**
*

Говорили, что власть у нас не советская и не соловецкая, а докторская. И действительно, власть эта чувствовалась везде и всё время от первого осмотра в стационаре и до последнего взгляда, которым Доктор провожал убывающих. Власть эта покоилась не на настойчивости, не на трудолюбии, не на организационных способностях, не на уменье подчинять и навязывать другим свою волю. Доктор умел только врачевать; во всех других делах он был беспомощен. Чудодейственная си-

ла его таилась в беспомощности. Именно ею он привлекал и привязывал к себе сердца; вокруг него всегда толпилось хорошее, по его просьбе люди вскакивали и бежали, его «пожалюста» было волшебным словом: он говорил «пожалюста», и всё делалось единственно возможным и наилучшим образом.

Еще лежа в стационаре, я удивлялся, что кормят чуть ли не до сыта, причем явно не ГУЛАГовскими продуктами. Не станет же ГУЛАГ выдавать доходягам перwokлассную озерную ряпушку, варить плотву и ершей, собирать и солить им рыжики, а весной поить их березовым соком? Хвойный экстракт и бульон на лошадиных костях — это, пожалуй, забота Доктора, попытка хоть как-то помочь, но ерши?.. Острым взглядом зэка я видел, что хлеба дают нам мало, даже, пожалуй, меньше положенного, но крапивные щи с сыроежками — без всяких ограничений, только скажи санитару.

.

Когда-то, еще до моего прихода, Доктор сказал:

— Пожалюста, кормите людей крапивой. Крапива содержит клетчатку, очень много витамин «а», «к» и «с» и еще немножко железа. Крапива очень полезно. Пожалюста, варите суп из крапивы.

И докторское слово стало делом. Обитель развернула громадное крапивное хозяйство. Крапива была для нас не сорняк, бурно разрастающийся вокруг жилищ. Крапива была наша кормилица. Крапива росла и внутри и вне лагерной зоны. Мы сеяли ее в лесу, выбирая тенистые и влажные поляны, и потом косили или жали серпами, засушивая и запасая на зиму черно-зеленое сено. Крапива была пищей голодных. Крапиву варили у нас летом свежую, а зимой — сушеную. Крапиву пропускали через мясорубку и делали из нее «шпинат». Крапиву рубили и солили в кадках вместо капусты. Крапиву тушили в духовках, делая из нее солянку. Крапивные щи заправляли у нас грибами. Крапивные листья пускали плавать в уху, крапиву давали с кар-

ПРЕДАТЕЛЬ

тофелем, с кашей, с хлебом. Крапивный навар пили заместо чая.

В качестве вспомогательного питания крапиву едят во всем Союзе. У нас крапива была основным, а всё остальное, включая и гулаговский завоз, лишь вспомогательным питанием.

Помимо крапивы, источниками пищи служили озеро, огород и лес. Они давали сравнительно немного, но они украшали и разнообразили наш стол. Сама география (не север, а юг Карелии) давала драгоценные возможности.

На черных шунгитовых сланцах, так называемом карельском черноземе, вокруг всего лагеря раскинулся огород: репа, морковь, лук, картошка-скороспелка; всё это занимало площадь в добрый десяток гектаров, разбитых на отдельные куски так, чтобы легче ловчить при обмере. В парниках выращивалась капустная и брюквенная рассада. Короткий вегетационный период не позволял нам сажать ни подсолнухов, ни огурцов, ни помидоров. Но урожаи были неплохие. Удобрением служил торф, которого было достаточно.

Лес давал нам чернику, бруснику, малину и землянику. Болото — морошку и клюкву. В лес ходили законно, сдавая часть сбора ГУЛАГУ по норме пятьсот граммов ягоды или пять килограммов грибов на человекавыход. Грибы перерабатывались у нас тоннами. В грибной сезон грибы оттесняли в нашем котле даже крапиву. Крепкие, трудно загнивающие рыжики, сыроежки и валуи засаливались в кадках и держались почти до весны. Молодые боровики и подосиновики засушивались главным образом самими сборщиками.

На озере круглый год действовали рыболовы. Ловили озерного лосося, ряпушку, щуку, окуня, судака, налима, не говоря о плотве, уклеяках, ершах и подъяршиках. Ставили силки на диких уток.

Хозяйство не было социалистическим. Вел его бывший военный доцент Офицеров, большой, костлявый, с

маленькой головой и неожиданно тонким голосом, сидевший по делу «Весна». С методической невозмутимостью профессионального педагога он управлял своим отнюдь не простым хозяйством, не повышая тонкого голоса и ни от кого не ожидая поддержки.

— Экономика не терпит насилия, — объяснял он каждому, кто хотел его слушать, с таким видом, точно говорил не с собеседником, а целым классом. — Хозяйствующий человек, хомо экономикус, делает только то, что кажется ему выгодным, выгодным же считает то, что удовлетворяет его желания. Я не говорю — потребности, но — желания, и не говорю, что это хорошо. Но это так, и надо с этим считаться. Мы получаем снабжение на столько-то человек и должны сдать в обмен такую-то продукцию. Между нами и АХО Свирьлага происходит то, что называется «сделкой». Мы оплачиваем определенное количество хлеба, сахара, соли, жиров, сдавая рыбу, грибы, корзинки, лапти, отштопанное обмундирование. Условия, конечно, разбойничьи, но ничего не поделаешь: не мы диктуем условия. Мы можем, конечно (и наверху, разумеется, делают вид, что мы так и делаем), кормить всех с котла и требовать нормы. Но к чему это ведет, вы отлично знаете. Вот мы и вынуждены действовать наоборот. Мы оцениваем, с одной стороны, количество полученных благ, с другой, — количество подлежащей сдаче продукции. На базе этих оценок создаем то, что называется «рынком», и налаживаем товарообмен. Вместо денег выпускаем обеспеченные складским наличием лагерные боны.

Иначе говоря, мы скупаем у лагерников их продукцию — грибы, овощи, лапти, в конце концов ту же крапиву — и расплачиваемся с АХО. Мне ясно, что для своей столовой АХО хочет иметь качественную рыбу и полноценные, нечервивые грибы. За чистые боровички и крупную рыбу я вынужден платить дороже. Вот ээк и ломает голову: то ли съесть самому, то ли сдать и за одну хорошую щуку обеспечить крапивными щами

недели на три. Может решать, как хочет. Не я на него давлю, а экономическая конъюнктура. Может вообще бросить ловить рыбу и заняться лаптеплетением, если у него от воды ревматизм. Гулаговская норма — три лаптя в день. Это не мало, если принять в расчет, что лагерь у нас инвалидный, а лычко, всё равно как тростник для матов, надо, что называется, подготовить. Сколько лаптеплёты платят лесовикам за лычко, мне безразлично, и сырое лычко я беру только летом, чтобы зимой не было перебоев, но за готовый лапоть расплачиваюсь бонами, на которые можно купить три с половиной литра крапивных щей с грибами или сто граммов хлеба. Лаптеплёты у нас самый бедный и безнадежный народ, чай с сахаром пьют раз в неделю, а то хлеб да крапива, но зато и работа нетрудная: летом на солнышке, а зимой у печки, ковыряйся себе потихоньку. Больше дать им нельзя, а то все в лаптеплёты полезут. Да учтите еще, что ведь Доктор со своей больницей плюс администраторы вроде меня живут ведь на прибавочную стоимость. С инвалидным пайком без приварка нам дорога одна — на кладбище. Не столь человечно, сколь просто, если следить за движением цен и без паники вносить коррективы. Основной капитал ведь у меня на складе.

Вместо натурально-рабовладельческого хозяйства, предписываемого нам ГУЛАГом, у нас получается несложный, но уже рыночный обмен: кухня торгует на боны, ларёк торгует на боны, желаете получить портянки со склада — пожалуйста боны. Да и между собой люди торгуют на боны и обманывают друг друга тоже на боны. Бесчисленное количество сделок проходит совершенно мимо меня. Самодельный капитализм: хотите подработать, идите погуляйте по болоту, принесите пятьсот граммов клюквы и получите в лагерных бонах неполный эквивалент того, что выдал на вас ГУЛАГ; принесете тысячу граммов — получите два неполных эквивалента. Наберется слишком много клюквы, ниче-

го, мы законсервируем, и зимой вы ее скушаете, вернув нам наши боны обратно плюс стоимость консервации и хранения. Денежное хозяйство во всей его подлости, известной уже древним грекам. В условиях построенного в основном социализма, не спорю, — регресс, но благодаря этому регрессу вы топчетесь по советской земле, вместо того, чтобы лежать под нею.

Со скучающим видом Офицеров доставал свои таблицы и графики, сравнивал заработки отдельных профессий, распределение занятий по сезонам, внутреннюю организацию бригад, построенных по старому русскому принципу артели, анализировал постоянные вкусы и преходящие моды отдельных групп лагерного общества, объясняя попутно основы социальной психологии. После короткого разговора с любимым з/к он мог определить, чем он займется в лагере. Занимаясь хозяйством, он оставался прежде всего педагогом. Его пессимистическая расчётливость компенсировала импульсивную сердечность Доктора, а его умение пользоваться тем, что складывалось само собой, создавало материальную базу для докторских чудес.

Чья рука свела вместе этих двух замечательных людей? Они никогда не хвалили друг друга, но, вбегая со своим «пожалуйста», Доктор знал, что «нельзя» будет словом, а «можно» — делом Офицера; обращаясь же к Доктору с просьбой унять обнаглевшего спекулянта, Офицеров рассчитывал, что хоть спекулянт и не отдаст Доктору на больных то, что наспекулировал, но пообещает исправиться и некоторое время будет вести себя приличней.

Мне досталась радость три года прожить и проработать с ними. Да и не мне одному, а всем, кто послушествовал на административных должностях в нашей обители.

**
*

И еще одна радость была у меня в той счастливой монастырской жизни: поляна.

ПРЕДАТЕЛЬ

Вовсе недалеко от Монастыря была поляна, прекрасней которой не было и быть не может. Не знаю, откуда она взялась в непролазном карельском бору, где, по лагерному преданию, Бог забыл отделить землю от воды, а чёрт набросал повсюду камней, но на ней было всё, что радует человека. Я ходил на нее нечасто, порой даже забывал о ней, но каждый приход значил для меня радость.

Вокруг гладкоствольно и прямо стояли сосны, кряжистые, как дубы, и тяжелые, как свинец (я-то знаю карельский сосновый лес, я его глазом вижу). Между — валялись скалы, камни и валуны; в низких местах стояла болотная гниль, громоздился-топырился бурелом, надвигалась Карелия.

Но сама поляна скоро стала родной, подмосковной. Травянистая и кочковатая летом, ровная и белая зимой. Весной она оживала, осенью засыпала. И не знаю, откуда начать: с весны или с осени?

.

Я нашел ее, командуя взводом доходяг, отпущенных на сбор ягоды. Но это неважно. Важно, что было утро и сквозь поднимающийся туман были видны солнечные лучи, в которых крутилось легкое и танцующее, вроде тех пылинок-золотинок, что крутятся в тонких лучах, прокалывающихся в детские спаленки сквозь щели в ставнях и занавесках. Эти утренние лучи мне понравились, с них началась ласковая моя любовь к поляне. Счастливая любовь: поляна тоже меня полюбила.

Я ничего не умел сказать ей. Я только смотрел с восхищением. А поляна красовалась передо мной, кокетничая, болтая и удивляя меня всё новыми и новыми выдумками.

.

— А я вот что еще придумала! Посмотри, я какая: я куст орешника завела! — говорила она в апреле, когда лес еще полон снега и лишь у самых стволов, да на кочках зачернели первые проталинки.

И правда: орешник у нее уже зацвел, повыбросил свои бледные цветки-червячки. Не поймешь, откуда они и взялись, ведь недавно, кажется, приходил — ничего еще не было, а сегодня — вот они, тут, раньше всех торопятся подать неотложную заявку на жизнь:

— Здравствуйте, вот они мы, перезимовали!

И каждый болтает и твердит свое, как воробей чирикает:

— Вот он я, вот он я! Я — живой! Я живу, я цвету!
Будущие орешки.

За орешником следует верба, а между — оттепель. Эту оттепель в карельском лесу поляна устроила для меня по-московски, как в родной подмосковной тайге, в Лосиноостровском бору. Там тоже, — как зацветет орешник, — в лесу затуманится и потеплеет, и в этом союзе тепла и тумана заработает мокрая оттепельная капель. В тишине только и слышно, как не с неба, не с туч, а с сучьев и веток падают капли бывшего снега и хлюпаются в снег, еще настоящий, проедают в нем плоские круглые лунки, целые кучки, семейства лунок.

Это еще не весна, под Москвой это и в феврале бывает, но это — предвкушение весны, предупреждение, что снег не вечен, что он в свое время сойдет, сбежит ненужной полрой водой, сделается прошлогодним, бывшим, потеряет всякое значение.

— Посмотри-ка! А я вербочку завела! У меня белые кошечки. Погладь по ним пальцем: видишь, какие мягкие.

Орешниковы червячки не успеют еще исчезнуть, отвалиться от голых веток, как на вербяных прутьях набухнут шишки и из-под крепкой мамы-броньки выглянут кошечки, сначала мокренькие, как всё новорожденное, потом просыхающие, отталкивающие мамку и поворачивающиеся торчком:

— Вот они мы! Мы тоже желаем жить!

Мне приснится потом эта верба, этот орешник, эта поляна. Мне приснится признание, которого вовсе не было. Мне приснится другая весна и вечер, когда ты сидела на пне, уронив на колени руки и не поднимая глаз на нескладного юношу.

Мне приснится, будто юноша говорит тебе что-то сдавленным голосом и, перемогая себя, не отрываясь, смотрит сверху на твои волосы. Будто ты всё ниже опускаешь голову, а он всё пытается что-то сказать и не смеет склониться к тебе, пока ты, не дождавшись, не выскочишь ему навстречу и с запыхавшим лицом не бросишься ему на шею...

О, с какой нежностью приснится мне потом моя поляна!

А на поляне, конечно, росла березка, карельская, невысокая, но крепкоствольная. Она стояла отдельно в сторонке, словно выбежала из лесу и остановилась, да так и осталась стоять, красуясь: вот, мол, я какая, сама по себе!

Как все москвичи, я люблю березу. Нет дерева ласковей, поэтичней: под ней мурава и лазоревые цветочки.

Но обычно березы вовсе не стройные, как пишут в стихах и романах, а ветвистые, как дубы, если растут на просторе. Если же стоят тесно в роще, березы змеями вьются кверху, на тонких пестрых стволах вытягивая тощие кроны.

Но на поляне березка действительно была стройная, молодая, пропорциональная, как на картинке. Она стояла свободно, и змеиться ей было незачем. Как истинная деревенская красавица, она чувствовала себя царевной, зеленела на солнце и бросала вокруг себя ту самую пятнистую тень, в какой дома, на дачах, располагаются пить чай или водку и вести летние разговоры о ершах, налимах и краснопёрках, а потом о соседских девушках.

А осенью березка желтела. Опадающая листва ложилась вокруг нее правильным кругом, и в ясный день она стояла в этом круге оголенная, словно выточенный из черного и белого камня ствол был подвешен к облаку голых веток.

Казалось, будто скинув тяжесть листвы, она перестала быть деревом, будто она реет, висит над поляной, едва касаясь ее концом ствола: вот-вот поднимется в бледное небо и растает, оставив лежать на земле лишь чешуйчатое кольцо сброшенных листьев-сердечек.

.

Или неделей раньше, когда последние разрозненные листики еще держались на верхних ветках, как стайка нивесть из какого лета залетевших в карельский лес крупных золотых бабочек.

Легкое на легчайшем, солнечное на воздушном, горсть золотых сердечек, брошенная кем-то в воздух и повисшая ни на чем, на собственной красоте!

.

И за полосами тумана, в непроглядные черные ночи падает снова снег. Первый, мокрый. Падает хлопьями и облепляет поляну, облепляет березкин ствол с той стороны, с какой дует ветер, липнет на сучьях, заполняя развилки. Опираясь на частые ветки, пробует улечься слоem, как на сосне, на ели, а потом в тихую погоду не удерживается и падает хлопьями, оставляя лишь случайные клочки, прилипшие к развилкам сучьев, примерзающие к опоре, вовсе непохожие на бабочек.

.

Северная зима — это ночь и снег, это память о вечном полюсе. Северный снег не тот, что запомнился с детства, не затейливые снежинки-серебрянки, чудесные звездочки, загадочные фигурки, чарующие кристальной геометрической красотой. Северный снег — это злая белая пыль, это только обломки снежинок.

Если набрать ее в горсть, увидишь эти обломки. Эта страшная пыль не тает, а лежит неподвижно до века, и только обломки носятся сверху-поверху, сцепляясь и расцепляясь крючковатыми кончиками.

Слой на слой этой мертвой пыли ложится сейчас в Антарктиде. И, наверное, ходит уже где-то по учреждениям сумасшедший русский или американец и носит с собой видение: через столько-то тысячелетий гигантские слои полярной пыли выведут Землю из равновесия, шар качнется и переменит ось, и могучим всплеском взволнованных океанов хрупкая жизнь на суше будет смыта обратно в воду, к рыбам, к моллюскам, к первоначальной слизи, и только киты да тюлени останутся существовать, представляя последних млекопитающих.

*
**

Как хрупко и коротко счастье! Словно его и не было, если б не память о нем!

— Вот еще гад раскрылся!

И в два тяжелых прыжка Душегубов догнал панически раскричавшегося селезня, с хряком наступил на него и раздавил.

Это было в коридоре бывшей трапезной, почти напротив комнаты Доктора. В зимнее время селезень имел полное право пользоваться этим коридором. Он был на своей территории.

Доктор вышел, принял на руки раздавленную птицу, но не воскликнул «Что ви наделяль!». Он даже не взглянул на Душегубова. Он понес селезня, прижимая его к себе, подложив одну руку ему под брюшко, другую — под глупую птичью голову на длинной бессильной шее.

Я всё это видел, но не пошел ни за Доктором, ни за Душегубовым. Вобрав голову в плечи, я бросился в

третью сторону. Я тотчас узнал Душегубова и предвидел, что и он меня узнает.

А между тем я должен был идти к Офицерову, чтобы вместе с ним принимать новые установки касательно учета смертности. Мы не отвечали за смертность, но должны были ее учитывать. Учет смертности подлежал Третьему (оперативному) отделу, и мы давно ждали, что оттуда приедет инструктор. Значит, Душегубов и был инструктором.

Бегущий от Душегубова селезень кричал как предчувствие беды. Я растерянно обошел двор вокруг. Идти к Доктору? У него на столе лежит уже мертвый селезень. Душегубов убил его мимоходом, зазря, чтобы не кричал и не путался под ногами. Точнее, просто, чтобы убить. Наступить каблуком на живое, трепещущее, перепуганное. Услышать, как хрустнут кости.

Душегубов вошел в нашу жизнь и ликвидировал селезня. С Душегубовым Доктор ничего не может; Душегубову не скажешь: «Пожалуйста, голюпчик!», не воскликнешь «Что ви наделяль!». Душегубов ничего не надделал, а раздавил селезня. Доктор только поднял его и положил на стол. Душегубов — стихийное бедствие. Селезень попал под колесо истории. Завтра попаду я, попадет Доктор, попадет Офицеров, который, чтобы занять время, разъясняет Душегубову выполнение плана:

— Вот, будьте добры взглянуть, цифры выполнения по корзинам. За истекший период имеется перевыполнение на 3%. Не спорю, не Бог знает что, но всё же люди, занятые на корзинах, себя оправдали. По матам примерно то же: перевыполнение 5%. По лаптям хуже: 1% не дотянули, но я же докладывал в АХО, что липы в окрестностях все ободраны и лаптеплетение мы вынуждены сворачивать. Вот копия докладной. Предложение? Сделано: разрешить организовать филиалы в других районах. Тростниковые лапти? Плетем, но предупреждаю, что носкость будет значительно ниже.

ПРЕДАТЕЛЬ

Вот копия техэкспертизы. Сводный вал по плетению в целом 104,3%. Не так-то плохо. Разрешите перейти к грибосбору...

Офицеров разворачивает таблицы, а Душегубов думает, кого еще раздавить.

Раз Офицеров пригласил меня, а не Доктора, значит, были причины. Закрыться от Душегубова Доктором?

Я одергиваю бушлат, приглаживаю волосы и прохожу мимо лужицы утиной крови:

— Разрешите явиться по вызову касательно учета смертности.

— Э-э-э! — Душегубов, конечно, узнал и блеснит стальными зубами. — Ты как здесь?! И опять на командных высотах! Так-так-так. А между тем, кореш твой, как его? Белобрысый такой, кучерявый, того.. накрылся. Поехал тут к одним, к крестикам, знаешь, выкорчевывать предрассудки, его там и кокнули. Политическое убийство, да-да. Контра подняла голову. Ну, мы по этой головке ударили. Тихо стало. Всей командировке дали вторые сроки.

Душегубов мне рад. Прощается за руку: еще увидимся.

А установку он привез несложную: 1) после каждой сотни умерших начинать нумерацию сызнова; 2) дату проставлять на каждой ведомости только один раз, при закрытии списка.

Оперуполномоченный при инвалидном лагере в пятьсот человек — не велика фигура. Должность такая должна быть (ни одна командировка не может быть без опера), но замещал ее у нас по совместительству начальник охраны Павел Иванович Лебедев. Человек не шибко грамотный, серый, смиренный и не склонный вмешиваться в нашу жизнь, он сменял посты, ходил на охоту, с нетерпением ждал смены и ведал БУРом, маленьким толстостенным строением, в прошлом не то ча-

совней, не то уборной, куда после долгого спора с Доктором Офицеров просил иногда посадить слишком уж расхамевшего скандалиста. В НКВД он попал случайно, против желания, через службу в погранохране, и втайне стыдился, что стал чекистом. Офицеров информировал его как хотел, помогал ему составлять рапорта и выставлял дело так, чтобы и волки были сыты и овцы целы. Завербованные Лебедевым сексоты приходили каяться к Доктору, и по всем донесениям получалось, что подозрительные контрики почему-то все умирали, а мирно досиживать свои сроки оставались лишь безупречно советские инвалиды. Побегов из нашей обители не было, и в графе ЧП (Чрезвычайное Происшествие) писалась всякая мелочь и ерунда, свидетельствующая именно о том, что всё идет вполне благополучно.

Не знаю, что говорил Душегубов Лебедеву, но уже на другой день ко мне пришел вохровец Семен и велел явиться к начальнику охраны. На столе стояла водка и рябчики, которых славные чекисты настреляли в лесу.

Душегубов опять протянул мне руку. Он не собирался меня губить. Напротив, он налил мне водки и подвинул рябчика. Он нарочно вспомнил, как мы гуляли в Кеми и рассказывал, как вернулся к оперативной работе. Он хотел показать, что я хоть и лженоватор, но для него, для Душегубова, свой. Свою грубую и глупую игру он шил белыми нитками: поднять твое старое дело и закатать — пустяк, но можешь принести пользу.

И раскусывая тонкую рябчикову кость, чтобы пососать сок, и кивая на уныло жующего Лебедева, он прямо подходил к делу:

— Вот он говорит, что всё нормально, а на мой нюх старого чекиста тут у вас сплошная контра засела. Скажи, что ты думаешь? Ты меня давно знаешь.

Синий висячий нос с шумом потянул воздух, принюхиваясь к контрреволюции. Круглое ухо насторожилось. Волчий глаз выглянул из впадины. И безо вся-

кого начальственного благодушия Душегубов вдруг вынул из кармана штанов помятую коробку «Казбек» и хлопнул ее передо мной на стол:

— На, кури!

Но я не закурил. Я преувеличенно громко рыгнул и, посмотрев вокруг себя выпученными глазами, положил голову на стол: пьян, ничего не понимаю, неразговороспособен.

— Дурака не валяй. — Душегубов взял меня за волосы и тихо, но больно стал отдирать мою голову от стола. — Думаешь, я не помню, сколько ты выпить можешь? К тебе подходят по-дружески, старого дела не поднимая, а ты блядуешь. Давай-отвечай, ты друг или ты враг советской власти? Ты лженоватор или ты кто?

Я дернул головой, встал и, нарочно шатаюсь, вышел из караулки. Я тут же, едва пройдя проволоку, на глазах у охраны лег на спину и широко раскинул руки. Заснуть я, конечно, не мог, но глаза держал на всякий случай закрытыми. Нужно было, чтобы меня подобрали и отнесли в стационар. Мне нужны были свидетели, по крайней мере на сегодня.

А поздно вечером, перепив, очевидно, Лебедева, Душегубов явился ко мне в стационар (как положено лекпому, я спал в стационаре за перегородкой). Он шатался и, чтобы не упасть, хватался за всё, что попадалось под руку. Говорить он уже не мог, но отлично помнил, зачем шел ко мне. Они с Лебедевым выпили всё, что было, и он шел проверить, нет ли спирта в аптеке.

Не взглянув на меня, он с трудом указал на шкаф и выдавил только одно слово:

— Ключ! (открой, мол, отдай мне спирт).

Почему я не всыпал ему в спирт всё, что было в нашей жалкой аптеке: беладонну, квасцы, аспирин, перекись водорода? Почему не прибавил туда яд моей злобы, помноженной на ненависть всех з/к? Что толк-

нуло меня, скрипнув зубами, подойти и, взяв его пьяную руку чекистским, блатным приемом, крутнуть ее так, что он с воем упал на колени?

Я ни капельки не был пьян. Я двигался четко, ясно, уверенно. Я спокойно дождался потом, пока он заснет, и, взвалив его на спину, вынес в караулку к Лебедеву. Я отлично помню тяжесть пьяного тела и квадратные руки убийцы, мотавшиеся перед моим лицом.

Помню и окрик Семена: «Кто? Куда?» И мой спокойный ответ: «Инспектор тут пьяненький задремал. Несу сдавать по начальству».

Помню, как грубо, мешком, я сбросил его на койку, как в нем что-то хрустнуло, ёкнуло, и вся мерзость, которой он был наполнен, взволнованно переместилась. Помню, как он хрюкнул, свесил голову и поехал в ригу.

И помню тоску, навалившуюся на мои внутренности. Помню нестерпимую мою любовь к Доктору, к Офицерову, к поляне, к умирающим доходягам, к грибосбору и лаптеплетению, к целодневным честным заботам о кормежке, крестах и могилах, к человеческим разговорам, к крапивному супу, ко всей нашей бедной жизни.

Я ни минуты не сомневался: Душегубов всё вспомнит.

И из-под тоски, пискляво передразнивая Доктора, крошечная бессильная обезьянка отчаянно восклицала, заламывая тонкие лапки:

— Что вы наделяль! Ай-яй-яй, что вы наделяль!

*
**

Вначале шагалось весело. Веселило сознание одиночества. Для з/к одиночество — свобода, а я ведь кадровый з/к.

Ни одна собака не знает, где я. Ничьи глаза на меня не смотрят. Как весело сознавать, что никто не мо-

ПРЕДАТЕЛЬ

жет меня окликнуть, остановить, проверить, что впереди еще дни и дни без людей!

Вот и полянка. Прощай, родная! Зеленая сетка накинута на березку, невидимая тонкая сетка с зелеными бантиками-узелками. Сетка-невидимка!

Прощай, березка! Какая же ты красивая! Белый ствол, черные ветки-растопырки да зеленые узелки, клейкие весенние листочки!

Взмахивающие руки Доктора! Доктор! Доктор!

Вот его память, вот следы его ласковых быстрых рук: в мешке, в сумке, во всех карманах. Компас, финка, консервная банка-котелок, спички, рыболовные крючки на лесках. Фунт соли, полфунта махорки, килограмм пшена, килограмм муки, килограмм сахара, большой кусок сала, нитка сушеных грибов, банка мясных консервов, крепкий мясной концентрат (отломи кусочек, брось в кипяток и будет чудесный бульон с запахом вольного армейского бивуака), — три плитки этого концентрата, нести легко, а калорий сколько!

Адрес докторовой сестры крепко записан в памяти: Chemnitz, Saksen, Karlstraße 11. Телеграмму послать и ехать.

Доктор! Доктор! Я всё выполню, как обещал. Я дойду, донесу, расскажу. Напишу целую толстую книгу про наш страшный лагерный антими́р. Я открою глаза Европе. Я-то ведь знаю, с КЕМ они разговаривают! Я понимаю, КУДА это ведет! Я выучу языки и буду всем говорить, я буду везде выступать с докладами. Я встречу с белоэмигрантами: они русские, не может быть, чтобы они забыли Россию. Они мне помогут. В Европе должны быть живые силы, неужели нельзя мобилизовать их?

Ведь нас надо только снабдить оружием. Ведь если з/к дать оружие, если их организовать, если двинуть их на борьбу... Войска НКВД, конечно... но Красная армия

не станет стрелять в народ. И войны никакой не нужно. Защищать власть просто будет некому.

Должны же они понять, что сидеть сложа руки преступно и самоубийственно, что вместо того, чтобы воевать между собой, им нужно объединиться и уничтожить Сталина. Неужели они не видят, что он сидит и радуется, ожидая пока Англия победит Германию или Германия Англию (ему всё равно, кто кого), а потом продиктует им обоим свои условия?

Свободное человечество не имеет права терпеть издевательства над человеком. А я ведь могу рассказать и об этом. Я им всё расскажу. Всё. Ничего не скрою. Про веточный корм, про ледяное новаторство, про крапивные щи, про могилы, про Душегубова. Они должны будут закричать от возмущения и гнева. Я подниму волну негодования. Я прямо скажу им, я прямо спрошу: вы люди или вы кто? Как вы можете курить сигары, когда у нас, в России...

Да в конце концов я подойду к ним с точки зрения их собственных интересов, их материального благополучия. У нас же последняя бабка в колхозе знает, что мы работаем на мировую революцию; а революция — это значит: у них, как у нас; это значит: все их политики станут бывшими и будут катать баланы (в лучшем случае, то есть если вовремя осознают свои ошибки, то есть если пойдут на предательство. Неужели это так трудно понять?). Это значит: не только у нас, но во всем мире власть душегубовых: ты друг или ты враг советской власти? Это их, европейских з/к, тоже спросят. З/к, которых советская власть морит миллионами!

И нечего было дожидаться. Год, два года тому назад надо было идти. Доктор прав: Европе нужно открыть глаза. Вперед, в культурную Европу!

.

Но много думать мне некогда. Я четыре раза меняю лапти. Я шлепаю босиком по ледяному ручью, чтобы сбить след, если пошлют собаку. С красными от хо-

ПРЕДАТЕЛЬ

лода ногами вылезая не на берег, а на свалившийся поперек буреломный ствол; подтягиваюсь руками и иду по нему, сколько можно, до самого корня; лезу на вывороченную корнями вздыбившуюся землю, ухватываюсь за свисающий лапчатый сук, раскачиваюсь пообезьянью и — гоп! — на другой буреломный ствол; оттуда прыгаю в мокрый весенний снег, в крупитчатые остатки снега и, только сидя на нем, надеваю ботинки, вымытые вчера в карболовой кислоте.

Всё от собаки. За такими, как я, посылают отряд с собакой. Это мне хорошо известно.

.

А вот и железная дорога. Ленинград — Мурманск. Одну колею проложили пленные немцы в прошлую империалистическую войну, вторую мы, з/к, пленные советской власти.

Я долго иду, балансируя по одной рельсе: поезд пройдет — нюхай, сколько угодно.

Могут увидеть, я знаю, но я рискую: ужасно боюсь собаки.

Вдоль полотна пробиваются свежие стебельки травы и желтые цветочки мать-и-мачехи. Цветут себе между шпалами, совсем как бывало в Лосинке, бледно-желтые, скромные, зато самые первые. С нежностью прохожу мимо: цветите, маленькие!

.

Но мимо крапивы не прохожу. Завидев кормилицу-крапиву, немедленно соскакиваю с рельсы и рву, обжигая руки, всю, сколько ее ни есть.

С набитым крапивой мешком бросаю последнюю связь с человечеством и углубляюсь в лес. Теперь — по компасу, прямо на запад. Через пни, валуны, буерак и валежник лезу час, еще час, еще час. Опять разубаиваюсь, чтобы пересечь по воде болотце (собака залает, потеряв след, и что-нибудь успею сделать, пока будут лазить кругом, пожалуй, залезу обратно и лягу в прошлогоднюю осоку). И тут, на этом безопасном месте, вко-

нец замучившись, останавливаюсь на первый привал. Осторожно за камнем развожу невидный огонь из отборного сухого валежника. Варю крапиву и отмечаю свой первый день на свободе: кладу в крапивные щи хороший кусок заветного концентрата. Пахнет мясным бульоном: какая роскошь! Съедаю полную банку ($\frac{3}{4}$ литра) и следом варю вторую и третью. Потом закуриваю и сплю.

Побеги из лагерей всегда были и всегда будут. Не верьте, когда вам доказывают, что они бессмысленны. Смысл побега — свобода. Пусть сначала докажут, что жизнь дороже свободы.

От сангородка до финской границы напрямки чуть больше двухсот километров. (Обидно, до старой было бы меньше!). Но по тайге без дороги каждый километр — мука. В день больше десяти не сделаешь.

Это я знал заранее, как знал, что число километров надо считать минимально вдвое: обходы озер, болот, чащ с потерей направления. Я шел, сколько можно, на запад, обходя препятствия по возможности вправо, на север. Мне казалось, что в этом — верная возможность не сбиться и выйти на границу посевейнее, где побезлюднее. В эту возможность я верил, и она держала меня на ногах.

Ушел я в конце апреля, рассчитывая идти хоть всё лето. Пусть проплутаю даже не два, а четыре месяца. Основное ведь пища. Трудно будет идти и искать, но я шел и искал упорно и методически. На привал останавливался у берез, чтобы напиться березового сока. На полянах искал щавель, на болотах — буро-красную прошлогоднюю клюкву. Переправляясь через реки, выбирал место, где поудить. Если из камышей выпархивал нырок, я лез в холодную воду в надежде поживиться яйцами. И с каждым днем убеждался, как беден весенний северный лес. Крапива и даже щавель в этом лесу — большая редкость; из грибов редко-редко най-

ПРЕДАТЕЛЬ

дешь сморчок; ягоды еще только цветут; озера густо заросли тростником: никак не выберешь места забросить удочку. И хоть за каждый присест я ловил достаточно, чтобы наесться досыта и взять с собой рыбы на два и даже на три дня, запасы мои быстро таяли.

Мыслей у меня не было. Были только заботы о пути и пище. Продираясь в тайге без дорог, трудно думать о культурной Европе. Вот чащоба — надо ее обойти; вот нависшие сучья — надо сквозь них продраться. Через валун надо перелезть, через поваленный ствол надо перепрыгнуть. Два шага вперед, два шага в сторону. Потом вниз под другой поваленный ствол. Один шаг большой с перескоком, три мелких, почти на месте. Вот кусты — надо раздвинуть руками. Вспорхнула птичка — нет ли гнезда? Вон береза — можно напиться. Поляна — поищем щавеля.

На такой вот таежной поляне и случилось непредвиденное и роковое.

...серая служебная собака, немецкая овчарка, та самая, с какой производят розыск, стояла и нюхала воздух. Хвост у ней был опущен, а морда поднята кверху. Собака меня не видела, но, видно, учуяла. В том, как она стояла, было напряженное беспокойство, собранная готовность к действию.

Собака, та самая собака, о которой я столько думал, от которой спасался, путая след по непролазному лесу. стояла и нюхала. Под брюхом у нее мотались сосцы, желтели лютики, дыбилась розовая метёлка болотного щавеля. Низкое солнце, слепящее нестерпимо, било по желтому курослепу. И, словно слепая курица, я начал метаться и рваться, не зная, зачем и куда, и слушая только ужасное, внутреннее: **НАНЮХАЛА, ПРОПАДЕШЬ!**

Но это было только мгновение. Сила предков проснулась во мне. Рассудок перестал действовать, и, враз одичавший и расчеловеченный, я побежал по болоту,

сгибаясь, широко раскрыв глаза и вздувая ноздри в могучей, бесстрашной, спасительной дочеловеческой панике, чувствуя лишь глубину проемов, упругость и вязкость почвы, возможности своих мышц, расположение кустов, кочек и зарослей. Не потея и не утомляясь, я уходил от собаки, как олень уходит от волка, как бежали от носорога двуногие обезьянолюди, как бежал низколобый и грозный пещерный прачеловек, сжимая в руке дубину, рассчитывая скорость и расстояние и выбирая место, где нужно остановиться и, движением головы откинув на спину гриву, принять бой за право жить на земле.

В моей панике был не страх, а могучая собранность. Я безошибочно рвался к воде, скрывающей всякий след, и не думал, но знал, что меня еще не преследуют. Я нигде не споткнулся, я ни за что не задел, я без колебаний и страха скакал через гибельные трясины. Я знал совершенно точно, где нельзя, а где надо ступить. Я выскочил к черному озерку, соскользнул в него и поплыл, извиваясь меж скользких коряг и распластанных листьев кувшинки, в змеиной неслышности выставив внимательную голову и успокоенно впитывая безжалостный и бесценный мир, жизнь в котором мне удалось спасти, спасти, спасти! — я чувствовал это телом и понял совсем отчетливо, когда сине-серая птичка (кажется, зимородок) вдруг сказала мне ясно и чисто и повторила потом много раз: «не-на-ню-ха-ла-не-на-ню-ха-ла!»

.

Возможно, что в русской тайге есть опять пещерные люди. Могучие бородачи из кулаков, хоронящиеся в самой глухомани. Возможно, у них есть жены и низколобые дети, к восьми-девяти годам зарастающие курчавой и жесткой шерстью. Возможно, они сидят на озерах, ловят рыбу в корзины и верши из ивняка, ловят зверя в кожаные капканы и убивают людей, осмеливаю-

ПРЕДАТЕЛЬ

щихся войти в их чашу. Возможно, будущие филологи узнают в их криках корни русского языка. Возможно...

Я сидел в заболоченном озерке, не слыша ни выстрелов, ни голосов, ни лая. Зимородок продолжал уверять меня, что не-на-ню-ха-ла. В воде было холодно. Я вылез на берег, разделся, выжал одежду и лег на солнце, пытаюсь согреться.

Но низкое солнце не грело, и мысль о костре, а с нею о спичках, вызвала новый припадок другой — человеческой — паники.

Спички промокли! Соль, бушлат, банка-котелок, остатки моих запасов: целая плитка концентрата, почти нетронутое пшено, сухари, сахар и, главное, спички, восемьдесят четыре нетронутых спички — всё это осталось там, на страшной поляне, где над цветущими лютиками и курослепом стоит и нюхает воздух серая служебная собака! При мне — только мокрая пачка махорки, нож, компас и последний крючок (три крючка откусили щуки).

От этих мыслей мне жарко. Не зная, что теперь делать, я растерянно вытряхиваю махорку и раскладываю ее для просушки. Ясно, что я буду ночевать голодный, а завтра... завтра придется вернуться. Они ведь не будут стоять на месте, они или найдут меня уже сегодня или уйдут, и тогда я найду свои вещи. И всю ночь меня, голодного и мокрого, терзает гнус и колотит дрожь, и огромная, мертвая, перекошенная луна стоит над северным буреломом.

В эту страшную медную ночь, не вытерпев муки, я разденусь и, связав в узелок непросохшие вещи, поплыву обратно туда, где спрятаны мои спички. Чёрт с ней, с собакой! Я хочу развести огонь и сварить горячую кашу. Я хочу надеть мой теплый бушлат. Я хочу закурить. Я хочу идти дальше!

Три дня и три белых молочных ночи я колесил по тайге и ничего не нашел — ни бушлата, ни котелка, ни спичек. В мертвом отчаянье я сваливался и засыпал. С просыпающейся надеждой вставал и колесил снова. И только на третий вечер, совсем в другом месте, я снова увидел волчицу. Она стояла у входа в логово, смотрела на меня, рычала и скалилась, небольшая и вовсе не страшная: съесть бы волчонка!

.

Не верьте, пожалуйста, сказкам про Робинзона! Никто не может жить один ни в каком лесу. В лесу можно только погибнуть. Воля к жизни вам не поможет.

Я взял себя в руки, когда увидел волчицу. Я понял, что мне не найти вещей, и пошел дальше. Я дошел до реки, сделал удочку и наелся досыта сырой рыбой. Но я не сумел добыть огонь. Я, как маленький мальчик, тер и сверлил сухое дерево, я высекал кремневые искры, я добывал дым, но разжечь костер мне так и не удалось. И, провозившись два дня, я тронулся снова на запад. Река повернула на юг, и мне не пришлось переплывать ее. Я шел, пожирая съедобные травы и разыскивая птичьи гнезда, а пернатая пища порхала мимо моего носа, пела и возилась в кустах, и у меня не было способа поймать ее, разорвать и съесть. Я подло питался только беспомощным — яйцами, птенцами, растениями, прикованными к земле. Только раз я схватил пичужку, бросившуюся защищать птенцов. Но что это была за дичь: горсточка перьев, глазки, да тонкий писк — вот и вся птичка!

.

Однажды я поймал и сожрал зайчонка. Однажды разорил улей. А под нависшей скалой, из-под которой вылетали осы, я нашел скелет человека. Сивые волосы и борода отвалились и лежали отдельно. Возле стоял котелок и валялась ложка.

ПРЕДАТЕЛЬ

Я взял себе котелок и заметил, что у меня тоже отросла борода, густая и на ощупь курчавая. Рассмотрю, когда выйду к воде.

.

Я сделал копые из финки и палки и часами охотился за лягушками. Я пробовал есть жуков и улиток. Иногда я садился и плакал от голода.

Я выбросил разбитые ботинки и кое-как смастерил себе лапти. Но лапти тёрли, и пришлось их выбросить. Босиком было очень трудно.

В изорванные остатки одежды упорно и беспощадно лез гнус — мелкая злая мошка, от которой можно кричать.

.

По ночам мне снились три старца: Онуфрий, Анисим и Александр. Они жили под березкой на поляне и по-толстовски молились Богу: «Трое вас, трое нас, Господи, помилуй нас!»

Я видел их иногда всех вместе, а иногда каждого отдельно.

Старший, старец Онуфрий, высок ростом, худ и костист. Огромные босые ступни торчат из заплата-ных голубых порток. У старца Онуфрия крупный широкий нос с повернутыми вперед ноздрями, жёсткие волосы дыбятся вокруг желтой плечи. Рот большой, редкозубый, борода курчавая, спутанная, а синие северные глаза лучатся, как звезды, как младенческие, неземные еще глаза.

Старец Анисим — поменьше. Голова у него разом и репой книзу и репой кверху: уж очень широк он в скулах. И коренаст тоже до невозможности, крепок, как свежий сосновый пень: где встал, там и врос, ничем его не подвинешь.

А Александр, младшенький, — сама аккуратность. Расчёсан на прямой пробор, лапоточки свеженькие, порточки постиранные, рубашечка розовая, на выпуск,

подпоясана низко по животу. Поясок витой, и висит на нем ложка, гребешок и молитвенник.

Впритык к часовне — сруб, а в срубе — русская печь. В той печи огонь никогда не гаснет. В той печи старцы пекут ячменный хлеб на дрожжах и белые рассыпчатые просфоры. В той печи варят старцы уху из ершей и жарят блины на постном масле. От того огня зажигают лампы и свечи. У того огня сушатся, греются и пьют кипяток с разной лесной заваркой: с липовым цветом, с сушеной ягодой, с ароматной мотыль-травой, с темным цветочным медом.

Старец Онуфрий, если продрогши, пьет прямо из кружки, обжигается и смеется. Старец Анисим, хоть бы совсем застыл, кружку сначала отставит в сторонку и подождет, пока можно будет. А Александр — с блюдечка: нальет на блюдце, подхватит снизу маленькой ручкой, подует, попробует и попьет, и снова нальет — аккуратнейший старец.

Принесли с собой старцы три бутылки елея и три булки вина, и Онуфриева бутылка уже к концу подходит. Он старший, ему первому помирать. Как примет он от того вина последнее причастие, помажется последним елеем, так и помрет, и будут молиться Анисим и Александр уже по-новому: «Двое нас, трое вас, Господи, помилуй нас!»

Вот над младшеньким, Александром, старшие старцы и смеются:

— Как же ты один будешь? Мы-то помрем, нас Господь успокоит, а ты? У тебя на одного-то, небось, и молитвы нету?

— Мне и не надо, — отвечает им Александр и, улыбаясь, поднимает губу, как заяц, — на меня одного вас ведь там двое будет. Пока-то помру, вы мне во какое место намолите! Даю вам задачу, как теперь говорят, обеспечить прием.

— Правильно! — радуются Онуфрий и Анисим. — Не подведем, обеспечим! Давай блины жарить.

ПРЕДАТЕЛЬ

И начинают:

Онуфрий — муку просеивать,

Анисим — тесто замешивать, а

Александр — гусиным пером постным маслом сковородку смазывать, на шестке огонь разводить, наливать да поджаривать, да с поклоном на стол подавать:

Онуфрию — черный комкатый,

Анисиму — белый толстый, а

себе, Александру, — тоненький, розово-золотистый с хрустящей корочкой, самый настоящий блин.

Кругом сухостой-бурелом, да бараньи лбы — валуны выставились, как идолы из болота, а старцы с блинком да с молитвочкой:

— Трое вас, трое нас, Господи, помилуй нас!

Ой, старцы мои! Пожалейте меня, несчастного: на-молите-наведите меня на ясную свою поляну, пустите-примите меня в ваш полянный рай!

Волк у болота. Череп в пещере. Сухостой-бурелом, голодная непролазь, страшная лесная свобода.

И в тоске надвигающейся звериной смерти, слабея и опускаясь, я вышел к лесной опушке.

Странная эта опушка расстилалась широкой просекой. Напротив опять был лес, но вправо и влево шла длинная полоса-поляна, местами заболоченная, местами же луговая. Посредине — избушка. Над избушкой — береза.

И обрадованно чуя дым русской печи, я направился к ней:

— Вот он я, старцы мои. Примите меня в свою обитель.

Я подошел совсем близко, и навстречу мне вышли чекисты. Их было трое. Перед ними бежала собака.

**
*

Душегубов встретил меня коротким прямым ударом в лицо. Меня ввели, а он встретил. Встал, как вырос, из-за стола и сразу ткнул через стол тяжелым волосатым кулаком.

Во рту кровь и костяшка — передний зуб (выплюнуть или проглотить?). Боль нерезкая и нестрашная, жаль только зуба, передний. Вот сволочь! С одного удара изуродовал на всю жизнь!

Свинцовый нос, квадратный подбородок. Равнодушно, точно только для того и звал:

— Хватит. Уведите.

А ведь именно этим (мне сперва показалось — легким) ударом он спихнул меня в болевую жизнь, в особую жизнь растлеваемого перед расстрелом.

Ибо всё это вовсе не так, как думалось. Не просто расстрел. Просто расстрел это было только в Гражданскую, да отчасти в репатриацию. Это только в пути да в первую ночь мне виделось, как поведут со связанными руками, с кляпом в кровавом рту, с невырвавшимся тоскливым криком, как прислонят к стене или к столбу и, пока еще буду креститься, сползая вниз, к ослабевшим ногам, изуродуют рваными дырками пуль и сбросят в пустой мешок, где пещера и череп с отвалившейся бородой.

Или иначе: поведут будто бы на допрос, и Душегубов, или еще кто-нибудь из них, скажет вывести, а сам пойдет вслед и с двух шагов расстояния пробьет волосы, кожу и череп, всадит пулю не в мозг, а в мучительно воющий мозжечок, где безмерная боль, конвульсии и чекистское «уберите труп!», мой вздрагивающий труп.

ПРЕДАТЕЛЬ

На другой и на третий день только то же: короткий удар в середину лица, «хватит» и «уведите».

.

И болевая жизнь в карцере, невероятно долгая (много дольше другой, доболевой и докарцерной), наедине с пауком, который есть боль и хуже боли, от которого знобит и тянет на рвоту, и ноет, и стучает, как в детстве стучал нарыв на пальце, нудно и надоедно, и хуже гораздо, больней и противней: на самом центре боли, на сердцевине, на самости, на месте бывшего носа сидит, навалившись на всё лицо, наплывая на глаза и переливаясь слизью, громадный жирный паук с колючими суставчатыми лапами. В брюхе у него боль, и если лежать неподвижно, боль только чуть колыхнется, пыжится гадким гноем в резиновом пузыре. Если же повернуться, начнет стрелять во все стороны, задерживает лапами, норовя стянуться в комок и судорогой свести всё к одному месту, к слизистому центру, к соковой самости, к болевому узлу, к носовому хрящу, к паучьему брюшку, в котором противно и нудно переливается самодовольная болезнью.

.

Паук заламывает мне голову назад, душит меня, сушит мне горло. Я просыпаюсь, дрожа от озноба, отхаркиваю вонючий гной и падаю навзничь от болевого наплыва, от стягивающих и дергающихся паучьих лап, от вони, от боли, от бессилия, от отчаяния, от кошмара. Сколько же можно, Господи!

.

И в пятый, шестой, десятый незапамятный раз: введут, встанет-вырастет из-за стола и метко, с точностью палача, повторит точно тот же удар.

И в пятый, шестой, десятый раз упаду, утопая в болевой слизи, в застывший карцер, в муку, в отчаянье, в паучину ночь.

.

И не знаю, в который раз на окрик «Без вещей, к допросу!» молча повернусь на живот и возьмусь руками за деревяшку, за какую-то планку, за перекладинку, за остаток сломанных нар или не знаю, за что.

И никуда не пойду.

Буду здесь с пауком, буду здесь болевым доходягой. Болевая жизнь перекрыла доболевую. Я — отказчик. Больней мне не будет. Зачем же идти?

И как подлинный доходяга, голодный прообраз всех вообще доходяг, я лишь слегка, для формы, придерживаюсь за планку, только на всякий случай, без всякой силы, потянут — я отпущу. Я живу теперь только внутренней болезнью, и окрики меня не раздражают. Мне всё равно, мне только скучно их слушать. Я живу болью, и, если бы не боль, я бы умер. И лишь сквозь боль я скучаю знакомой смертельной скукой, той скукой, в которой доходят з/к, в которой и я доходил однажды, до встречи с Доктором.

В лагерях знают эту скуку. Охраняющий БУР простой глупый вохровец, дядя Иван, сразу узнал ее и пошел доложить Душегубову, доказать, что я заскучал и вести меня бесполезно.

А вернувшись, порылся в моем мешке, нашел котелок и принес кипятка и хлеба:

— Нá, поешь, легче станет.

И я размочил и поел. Кислое и горячее. С болью, сквозь гнойное горло сглатывая кусок за куском, зажав банку между дрожащих ног, согреваясь и удивленно спрашивая: где же паук? почему так приятна боль при глоткѣ?

Я благословил вохровца Ивана, умилился его доброте и своему несчастью. Я позавидовал его зубам и носу, целому, невредимому. Его долговечности: меня расстреляют, а он будет жить. Я вступил во вторую стадию болезни, в стадию предательства от боли: не больно = хорошо; больно = плохо.

ПРЕДАТЕЛЬ

Душегубов был туп, но знал свое ремесло. О расстреле я больше не думал.

.

Понимаешь ли, почему на самом страшном допросе, когда не бьют, а гораздо хуже, я раскололся и предал Доктора и подписал протокол? Не оправдания, не прощения я искал, но осуждения.

Я был наедине с Болью.

.

А когда это кончилось и меня бросили обратно в карцер, я ничего не видел, я только чувствовал, что он пришел и меня больше нет. Он напомнил мне про Федора и просвистел мне в ухо: «Предатель», точно хотел приласкать меня.

Он был спокоен и бесшумно весел. И он предложил мне покой. Он обещал впустить в небытие мои остатки, то бестрепетное, не чувствующее ни боли, ни сожаления, что от меня осталось. Он предложил вернуться в тот обморок, который предшествовал предательству, и указал мне способ — брошенную в углу веревку, которой я подвязывал штаны.

Он знал, что сам Ангел-хранитель в тоске отвернулся от меня, и не подумал о вохровце Иване.

А пока я смотрел на веревку, добрый Иван застукался в дверь:

— Слышь, дурака не валяй. Тебя и так, наверно, шлепнут. А я тут попа допустил. Каяться будешь аль нет? Только давай недолго, погоришь еще с вами.

И впустил нашего санитаря, смиренного отца Карпа.

.

Голая луна на голем небе. Белая ночь и священник в бушлате.

.

Отец Карп был, видимо, со сна и в перепуге. Он мелко моргал слезящимися глазами и оглядывался по

сторонам, торопливо вынимая из-за пазухи деревянный крест и засаленное Евангелие:

— Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Когда в последний раз говел?

Все ли посты соблюдаешь, не скоромился ли постными днями?

Почитаешь ли родителей-учителей своих, чтить ли начальников?

Молишь ли всемогущего Бога нашего и небесного Отца о прощении грехов?

Не убил ли какого человека, не губил ли душу живую?..

Так вот оно что! Как глупо началось, а дошло! И в торжестве избавления, точно сбрасывая балан с плеча, отвечаю радостно, не шёпотом, а в полный голос:

— Грешен, батюшка, дважды грешен!

— Кого же это? — с интересом спрашивает отец Карп.

— Раба Божия Федора и раба Божия Готлиба. (Медно-белая ночь. Луна, как хищница, на голом небе).

— Ну, второго ты не убил, а лишь предал на убийство. Убийство — то грех каинский, предательство же — Иудин грех, еще того хуже. Епитимью бы надо наложить, да не исполнишь. Чего же тянуть-то! До Страшного Суда тебе недолго. Иван говорит, больше недели теперь не продержат. Вот и спрашивать больше нечего: тут твой и главный грех. Кайся, проси прощения у Бога, может, и выпросишь. Понагнись-ка!

И отец Карп втискивает мою голову себе под мышку, накрывает ее полой бушлата и крестит, крепко прикладывая пальцы сверху - снизу - справа - и - слева. Под мышкой у него темная теплота сухого старого тела, худые ребра и жалость. И удивительные слова молитвы:

— Аз, недостойный иерей, властью, данною мне... (Какою властью? Есть разве такая власть, чтобы меня очистить?)

ПРЕДАТЕЛЬ

Не знаю, сколько душ спас отец Карп, но и за одну мою душу, за бесстрашный этот приход...

(Есть в мире такая власть! Эта Власть меня любит!).

.

А выпустив меня из-под мышки, отец Карп откроет баночку от монпасье, подхватит малой ложницей Тело и Кровь Христову, сунет мне в рот и поспешно уйдет к своим доходагам.

Идти ему далеко, и дойдет ли? Но я представляю себе, как он прячет Святые Дары, забивается в свой замусоренный, забарахленный угол, умащивается под какой-то ветошью. Спит.

.

В смерти нет ничего особенного. Между чужой смертью и моей смертью разницы нет.

Мне не больно. Я тоже сплю. Лукавый скрылся.

Я спокоен, и то, что однажды было, не снится мне даже во сне.

.

«...И поверг сребреники в церкви, отыде, и шед уда-
вися».

Откуда она, лаконичная полнота этого «шед», ущелье бессмысленной безнадежности, тоскливый ужас, из которого ничего нельзя спасти, пучина гибели, из которой, как рука мертвеца, торчат только тридцать сребреников — цена предательства?

Потому что ведь что в них, в сребрениках? Зачем было доставать их из-за пазухи, пересчитывать в грязных руках с квадратными обломанными ногтями? Зачем было класть их внизу, у ствола осины, а потом поднимать опять и с гневом бросать священникам, точно это они — предатели?

Они купят на них Землю Крови. Что им? Ведь Он уже распят. Он уже испустил дух. Это уже свершилось. И совершенно бессмысленно выбирать сук, мазать мас-

лом веревку, пробовать, скользко ли, и сладострастно предвидеть, как захлестнется петля и почерневший язык вывалится наружу.

Гибель Первопредателя, и сказать о ней нечего, кроме факта: «шед удавился». Двух слов достаточно.

И не нужно мне знать, как обдуманно, осторожно, боясь упасть, как бывало в детстве, он лезет на дерево с петлей на шее. Он уже раньше примерился, он убедился, что снизу, с земли, до сука не достанешь. Теперь он сидит на суку. Он ложится, держась ногами за ствол. Он укрепляет свободный конец веревки. И снова садится, согнувшись и думая, как лучше сделать. А придумав, берется за сук руками, сбрасывает тело вниз, перехватывается, уходя от ствола, идет, движется на руках, пробует узел — крепко ли? и отпускает руки...

И земля, не желая его принять, поворачивается вверх дном и повисает над ним со своими неровностями и камнями, с тропинками и дорогами, с колодцами, виноградниками и рощами, с кустом терновника и пустыми гробами: все воскресли, лишь он висит на согнувшейся ветви, захлестнутый петлей, отвратительно тяжелый плод...

Конец первой части

.....

Тайбей — Франкфурт
1958 — 1964

* * *

Прекрасны подагрические сучья,
Брюзжанье волн и вольный листопад,
И в тяжком небе цинковые тучи —
Мой Гефсиманский сад.

Прекрасно одиночество в толпе,
Побег в ее резиновое чрево,
Во храм без Бога, памяти и гнева,
Без мысли о себе...

Прекрасна детских рук священная петля,
И пращуров во мне ломающийся корень,
И Тайной вечера заведомая горечь,
И мачеха-земля.

И так легко купить кипенье красных сосен,
Нотации дождя и рассказы камней,
И так легко не звать последней эту осень,
Не голосить над ней!

Но ты, мой дом, мой дом...
Где в слякоть небо слепо,
Где в небо тонкий шпиль вонзен, как звонкий альт,
Где всюду — плиты из прессованного пепла...
И их зовут — асфальт!

По запертым глазам брожу, по шрамам чисел:
«Убит»... «Повесилась»... «Сошел с ума»... «Убит»...
И пусть бы смертный час мой от того зависел —
Моя вина, мой стыд!

Мой стыд — мой век калек, безглазых и беспалых,
Морщинистых детей, младенческих старух,
Рабов восторженных и палачей усталых,
И скромных потаскух;

Век площадей, сиротства и юродства.
 Век-чудодей: ракеты и кресты;
 Век-зубодер: не терпит маяты —
 Была б похлебка! К чёрту первородство!

Прими, Господь, моление о чаше:
 Стократ уж налита и выпита стократ!
 Мне память — крестный путь.
 Осенний Ленинград —

Голгофа.

Сонм иуд над кошельками пляшет!

Сожги нутро прогорклое мое —
 Бессильно милосердное копье!..

ПАССАЖИРСКИЙ «ПЕРМЬ — СВЕРДЛОВСК»

Э. Дубровиной

Утопаю в снегах,
 Утопаю в снегах,
 Утопаю!..
 Убегают столбы,
 Фонари на столбах,
 Деревушка нагая,
 Великаньи снега
 В великаньих стогах:
 Ни вершины, ни края!
 Утопаю в снегах,
 Утопаю в снегах,
 Утопаю...

Ель, как запертый терем,
 Темна и грозна,
 Замахнулась тенями.
 Тени длятся и медлят
 На срезе окна,
 Очертанья меняют,

Под колеса бросаются,
 Бьются в ногах
 Скрежеща и стена...
 Утопаю в снегах,
 Утопаю в снегах,
 Утопаю!..

Из промерзлого неба
 Сквозь прорубь луны
 В мир сочатся кристаллы,
 Неприметно зернисты,
 Как медь, зелены,
 Мелкой солью блистают —
 Был соленным на вкус
 Этот свет...

Он ли стёр
 Все земные наросты?
 И слезились глаза,
 И тянуло от гор
 Жесткой свежестью простынь.

Распластала земля
 Под соленой луной
 Белокожее тело,
 В староверской гордыне
 Дыша тишиной
 (Быть иной не хотела!),
 В староверской гордыне
 Бесплодно строга:
 Быть иной не могла бы!
 Только ели упрямо
 Прибрали снега
 Под кержацкие лапы.

Высоты и обрыва
 Раскольниковый спор
 Ветви гасят угрюмо,
 И огромен вокруг

Обнаженный простор,
Словно бунт Аввакума...
Притаилась,
Рассеяв сияющий прах,
Круговерть вековая...
Утопаю в снегах,
Утопаю в снегах,
Утопаю!..

НОВГОРОД

1

В Ильмене
Отраженный до плеч,
Именем
Сливший вече и меч,
Кованый
Цок подков и оков, —
Новгород,
Наважденье веков.

Вещие
Колокольные сны
Взвешены
Посреди тишины,
Властной
Медной волей спаяв
Благовест
Возносящихся глав.

Лаковый —
Серебринка и блеск —
Маковок
Указующий перст
Стрелами
Об одну синеву
Спелую
Бередит синеву.

С голыми
Головами ветвей
В полымя
Предзакатных церквей
Ладою
Вслед его стремянам
Падаю
Через все времена!

Новгород —
Ни двора, ни кола —
Впроголодь
Без тебя бы жила.

2

На Ярославовом дворе
Тихо.
Стена к стене — не разгуляться
Ветру,
А ветер свищет, словно ищет
Выход...
А может, Марфе всё покоя
Нету?

В святом ты, Марфа, или в адском
Чине?
Народ скликаешь? Заклинаешь
Волхов?
О ком ты плачешь? О себе?
О сыне?
По новгородской воле воешь
Волком?

А сын-то твой уже давно
Покойник.
В Москве и голову на кол
Надели...

Ох, Марфа, тяжек на тебе
 Повойник,
 Да совесть, Марфа, ведь она —
 Тяжеле!

Чадит сгоревшею лучиной
 Вечер.
 Татарской саблей замахнулся
 Месяц...

Угомонись: давно почило
 Вече,
 Московский князь давно в цари
 Не метит!

Да не зови — то не звонарь,
 То ясень!
 Не уколись — то не шеломы —
 Ели!

...А вечный колокол, как ты,
 Безгласен:
 Не помнишь — вместе вас казнить
 Велели?..

Колокол,
 колокол —
 Волоком,
 волоком,
 Колокол — молотом!!!

Завопил колокол
 Голосом колотым,
 Облепил холодом:

«Горе вам,
 ратники,
 Горе вам,
 вечники,
 Го-ре, му-жи Нова-го-ро-да,
 Горе вам!»

В саях овчина, да с овчинку —
 Небо!
 Зияет звонница пустой
 Глазницей:
 Лишилась вольница своей
 Зеницы,
 Ослепло око торжества
 И гнева!
 И обезумевший звонарь
 Взывает:
 «Великий Новгород, погибла вольность!
 Ох, колоколушко, душа живая!
 Ему же больно, вражьи дети,
 Больно!..»

А ветер свищет, словно ищет
 Выход.
 Стена к стене — не разгуляться
 Ветру,
 Спина к спине — не разгуляться
 Вечу...
 На Ярославовом дворище —
 Тихо...

3

Как круглы купола
 И как на холмы похожи!
 Как похожи холмы
 На храмы, вросшие в землю!
 Словно тихие кони,
 Которых кто-то стреножил,
 Полнокружья холмов и храмов
 Волхову внемлют.

И неслышно уходит берег
 В речное ложе,
 И подобен изгиб излучин
 Изгибу стана,

И трава серебрится нежно —
Женскою кожей,
Той, которую даже солнцу
Греть не пристало.

Не твое ли плечо, Посадница,
Силуэтом
В бледном небе так резко —
Словно ребенок вскрикнул?
Или месяц зубцов касается?
Или это —
Тонкий меч
Для кровавой мести
Дугою выгнут?

Нет, ни крови, ни мести не было
В Новограде,
Не визжали мечи,
Не зрело черное дело:
Так светлы купола,
Так влюбленно их небо гладит,
Так плывущему небу нет часа
И нет предела —
Что ни золота ради,
Ни гнева и спеси ради
Отравить не могло б эту землю
Черное дело!

Ильмень вкрадчивым шепотом
С вольницей волн лукавит,
Блудный ветер
Со стен беленых уносит мел...
Время пряжу прядет...

И в груди тишина такая,
Словно колокол
Только что
Отзвенел...

1971—1972 гг.

Очерки современности

Юрий Иофе

Семь раз Казань

Поэтоочерк № 5, документальный, в 4-х частях,
с приложением

Моей дочери Ольге

«В соответствии с интересами трудящихся и в целях укрепления социалистического строя гражданам СССР гарантируется законом:

- а) свобода слова;
- б) свобода печати;
- в) свобода собраний и митингов;
- г) свобода уличных шествий и демонстраций».

*Конституция (основной закон) Союза
Советских Социалистических Республик,
из статьи 125*

«Мы поименно вспомним всех,
Кто поднял руку».
А. Галич. «На смерть Пастернака»,
Самиздат, 1966 г.

І ЧАСТЬ. УЧРЕЖДЕНИЕ УЭ-148/СТ.-6

Дело было так:

Проснулся утром.
Взглянул в окно:
Кругом — советская власть.

Из книги «Итак, итог». Печатается с незначительными сокращениями. Р е д.

«Счастливая детвора, живущая в нашей прекрасной стране, должна знать о героической борьбе рабочего класса под руководством партии большевиков за ваше счастье, за счастье всех людей. В этой борьбе участвовали и дети. Ты, наша дорогая пионерка, об этом не забывай!»

Надпись на книге В. Катаева «Белеет парус одинокий». Автор надписи — Э. С. Алтыулер, двоюродная бабушка моей дочери Ольги, беспартийная большевичка, первая жена небезызвестного Лешнева. 1960 г.

Мне нынче вспоминается
Сияющий плакат,
Где Сталин обнимается
С девчонкой Мамлакат.
Страна рождалась заново,
И в древней тьме ночей
Лишь занималось зарево
Мартеновских печей.
И был высоким символом
Успехов и трудов
Палач с прекрасным именем,
Владыка тех годов.

Из моих забытых стихов

*Председателю Московского городского суда
от Иофе Юрия Матвеевича, проживающего
по адресу: Москва, Е-118, 8-ая ул. Соколиной
горы, д. 7, кв. 131*

ЗАЯВЛЕНИЕ

Уважаемый товарищ Председатель!

Я обращаюсь к Вам по поводу моей дочери Иофе Ольги.

1-го декабря 1969 г. моя дочь была арестована органами КГБ; ей было предъявлено обвинение по статье 70 УК РСФСР.

СЕМЬ РАЗ КАЗАНЬ

2-го июня 1970 г. моя дочь после судебно-медицинской экспертизы была признана невменяемой.

20-го августа 1970 г. по определению Московского городского суда моя дочь была направлена на принудительное лечение в психиатрическую больницу специального типа, в которой и содержится в настоящее время (в г. Казани).

.....

1-го октября с. г. я направил заявление в Прокуратуру СССР с просьбой о передаче моей дочери на попечительство родителей, поскольку Казанская психиатрическая больница учреждение не только лечебное, но и исправительное.

Открыткой от 5-го окт. 70 г. за № 13/3-501-70 мне сообщили из Прокуратуры СССР, что мое заявление направлено на рассмотрение в Прокуратуру РСФСР. Из Прокуратуры РСФСР я получил письмо от 13-го окт. 70 г. за № 9/967-66, в котором прокурор по надзору т. Митичкин сообщил мне, что в соответствии со статьей 412 УПК РСФСР мне надлежит обратиться в Московский городской суд.

Теперь я обращаюсь к Вам с той же просьбой о передаче моей дочери на попечительство ее родителей с тем, чтобы она продолжала, если понадобится, лечение амбулаторно.

Моя дочь молода: 3-го июля (в тюрьме) ей исполнилось всего 20 лет! Молодости свойственны заблуждения и резкость оценок.

Ошибочная деятельность моей дочери объясняется неверным пониманием политики нашего государства, в которой ей виделось недостаточное преодоление последствий культа личности Сталина...

Я и моя жена берем на себя обязательство не только обеспечить нашей дочери необходимое лечение, но и помочь ей правильно разобраться в насущных вопросах истории и современности.

Я уверен, что семейная обстановка скажется на Ольге благотворно, так как наша семья, несомненно, морально здорова. И я, и моя жена в свое время ушли добровольцами на фронт; дед моей дочери *Шатуновский Я. М.* — старый большевик, о нем трижды упоминает в своих трудах В. И. Ленин; эти традиции живы в нашей семье.

Прощу Вас ответить о принятом Вами решении.

С уважением

Ю. Иофе

Москва, 16 окт. 1970 г.

Воробы ничего не чают.
И этой скверною зимой
Вороны, вроде черных чаек,
Кричат с утра над спецтюрьмой.
Зима сочится, как болото,
Со всех сторон, у всех ворот.
Какая квёлая погода!
Какой трухлявый Новый год!
Я возвращаюсь со свиданья
По пустырю из спецтюрьмы.
Кричат воробы над Казанью, —
Они до горечи черны.

Спецтюрьма, психиатрическая больница специального типа, учреждение УЭ-148/ст.-6, расположена на уединенном унылом пустыре, за белым брандмауером, на берегу реки Казанки. Заведует этим учреждением татарин с выпуклыми голубыми глазами — доктор *Алмаз Резаевич Мердеев*; сквозь белый врачебный халат проступает военный мундир: как жёсткий костяк сквозь мягкую плоть. На свиданиях присутствуют либо этот Алмаз, либо другой татарин, вертухай юридических наук *Михаил Зимурович Анзеев*, рябой, как Робеспьер; этот является не в халате, а по-домашнему в кацавейке (поверх мундира).

Место свиданий — низкая грязно-белая проходная с зарешеченными окошками. Ее украшают часы и портрет Чехова, автора «Палаты № 6»; под портретом — плакат с известной цитатой: «В человеке должно быть всё прекрасно...» и т. д. Часы необходимы: они отсчитывают минуты свидания. А портрет с плакатом? Что это: черный эсэсовский юмор? Проходная свиданий и так напоминает мне караулку в концлагере Освенцим.

Таков фасад. Интерьера я не видел (пока что), знаю о нем понаслышке от моей дочери Ольги.

Вот что я узнал.

Палата № 93, где содержалась моя дочь, невелика — 14 м². Сине-зеленые стены, дверь чуть посветлей. В двери — кормушка для кормежки. Напротив двери — окно, в него, сквозь решётку, видно Солнце, оно садится за белым брандмауером, за черными деревьями, где-то за рекой Казанкой.

В темные часы в палате № 93 светит неугасимая лампочка Ильича без абажура.

Население палаты — 5-6 человек, в основном — убийцы. Назову некоторых обитательниц — сокамерниц моей дочери, а также других, знакомых ей по прогулочному дворику.

Вера Иванова, 41 год. Забила топором свою мать. Себя считает английской королевой Вилей. Всё время открещивается от чертей, ибо ее, английскую королеву, насилуют черти. Одолевают ее и рептилии. То и дело умоляет Ольгу снять у нее со спины змею.

Анида Гехт, 35 лет, немка, видимо — из переселенков. Изувечила своего отца. Помешана на том, что лечат только русских, немцев же калечат. Агрессивна, как щука (Гехт, точнее Нехт — по-немецки значит щука).

Татьяна Гусева, возраст неизвестен. Сидит еще по 58-ой статье (согласно сталинской нумерации) — за преступление против государственного флага. По тюремным преданиям, поступила сюда веселой девушкой

с пышной косой. Теперь, после 12 лет лечения — бритая стопроцентная идиотка.

Ольга Ножак, возраст неизвестен, статья 58. Сидит 16 лет. Бодрая гитаристка, сгорбленная от постоянного общения с гитарой. Сочиняет песни, наиболее популярна «Вставай, казанский заключенный», — поет ее на мотив «Интернационала». Кроме песен выкрикивает лозунги.

Люба по кличке «Телевизор», 38 лет, по виду — 50, в диаметре 1,5 метра. Убила своего любовника на 7-ой день счастливого сожительства: померещилось, что он стащил 20 руб. Торгует продуктами из своих передач (головка чеснока — 10 коп.). На воле жила со своим отцом.

Мария Шекач, без возраста, урожденная имбецилка. Испражняется под себя. В свободное от испражнений время роется в уборных и урнах, тщательно собирает их содержимое, бережно прячет его в карманы халата. Всех мужчин кличет дедами, женщин — машинами.

Ховря Петракова, полупарализованная, наголо обритая, мастерица по матерным частушкам. Ладным голосом исполняет:

М... вошка из окошка
 Высунула голову:
 П...е, ради бога,
 Помираю с голоду!

Пение сопровождается плевками, бывает — блевотиной. Санитары в восторге, вызывают Ховрю на бис. Еще Ховря рьяно натирается конфетными бумажками.

Другие обитательницы учреждения УЭ-148/ст.-6 — в том же роде. Онанистки, лесбиянки, нимфоманки.

Одна из них пристрастилась целовать мою дочь, когда та сидит на толчке.

И так далее.

Повседневنو — цепкие схватки. Из-за места под душем. Из-за валенок и ватников.

И это —

Не мешает есть и пить,

Курить, блудить, рядиться, раздеваться

И радоваться.

Пару слов о медперсонале.

Ольга Ивановна Волкова, врач, крашенная кудрявая шатенка. Убеждена, что «видит всех насквозь». При выписке ласково напутствует: «Ты еще сюда вернешься!».

Санитарка *Роза*, рыжая, низкорослая татарка, душеспасительная провокаторша по кличке «Дорогая моя».

Обслуга — из заключенных (вменяемых). Эта обслуга охотно истязает других заключенных (невменяемых). Особенно прославился некий *Славик* — он избивал привязанных к кровати женщин. За усердие этот доброхот получал от начальства всякие льготы и — для подкрепления — глюкозу.

«Организационные формы советской судебной психиатрии дают реальные гарантии охраны прав психических больных...»

Д. Р. Луниц, доктор медицинских наук, профессор.
«Советская судебная психиатрия», изд. «Знание».
1970 г., стр. 32

2-го июня 1970 г. эксперт *Луниц* по представлению следователя КГБ *Мочалова* признал мою дочь невменяемой. Славный чекист и не менее славный ученый действовали согласованно — как герои «Библиотеки военных приключений».

Жёсткое привязывание к кровати — обычное наказание. Среди прочих этому наказанию подверглась *Лиза Марохина*, бледная и безропотная девушка из Сыктывкара, 23-х лет, признанная невменяемой за распространение листовок. Лиза утаила иголку — и была намертво привязана на 10 суток.

В концлагере Освенцим я видел Stehzelle, стоячую камеру. Там держали заключенных до 2-х недель. Лежать, конечно, легче, чем стоять, а 10 суток лучше, чем 14.

Из других наказаний в учреждении УЭ-148/ст.-6 практикуются болезненные уколы сульфазина, серного препарата, жароповышающего средства (до 39°). Серный — страшное слово. В нем слышится удушье средневекового ада.

«В человеке должно быть всё прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли».

А. П. Чехов. «Дядя Ваня», действие второе. Слова подвыпившего Астрова.

Чехов умер в 1904 г., так и не узрев неба в алмазах. Ну, а мне начало жизни представляется так:

Проснулся утром,
Взглянул в окно:
Кругом советская власть.

Справка. Мою дочь не привязывали и не травили сульфазиним. Ее только травмировали. Да кормили галоперидолом — это безвредное лекарство стимулирует всего лишь состояние сонной тупости и ощущение внутреннего неустройства, вызывает закатывание глаз и судороги.

«В сумасшедшем доме
Выломай ладони.
В стенку белый лоб,
Как лицо в сугроб.

Там, во тьму насилья,
Ликом весела,
Падает Россия,
Точно в зеркала.»

*Наталья Горбаневская.
Из книги стихов «Тем-
нота». Самиздат, 1966 г.*

II ЧАСТЬ. ЗАКАЗ В-454

«Приглашаем вас в путешествие по Казани!
Добро пожаловать!
Рэхим итегез!»

*Татьяна Бабченко, Алла Горзавина, Клара Си-
ницына. «Путеводитель по Казани». Татарское
книжное изд., 1970 г. Заказ В-454, стр. 12*

В 1970—1971 гг. я приезжал в Казань, в учрежде-
ние УЭ-148/ст.-6, 5 раз: 7-го октября, 11-го ноября, 26-
го ноября, 10-го декабря и 20-го января, из них дважды
с женой. Кроме того, туда дважды приезжала моя
жена: 22-го октября и 30 декабря, под Новый год.

Спецтюрьма расположена в Октябрьском городке.
Добирался туда троллейбусом, по маршруту № 7. Оче-
видно, казанские троллейбусы переделаны из прежних
дворянских карет: поставили электромотор и забили
окна фанерой. Для езды, особенно с тяжелой кладью,
они неудобны. Беда в том, что такси существуют толь-
ко во вдохновенном воображении авторш «Путеводи-
теля по Казани».

От троллейбуса до проходной — примерно четверть
часа по зеленоватому льду и синеватому снегу. Я сколь-
зил, балансируя громоздким чемоданом со снедью. Гром-
кий вороний грай подбадривал меня на этом пути.

Свидание длилось ровно 1 час: за этим присталь-
но следил рябой юрист-вертухай М. З. Анзеев, а также
писатель А. П. Чехов, автор «Палаты № 6».

Ворóны ничего не чают.
И этой скверною зимой
Ворóны, вроде черных чаек,
Кричат с утра над спецтюрьмой.
Я возвращаюсь со свиданья...

Фирменный поезд № 28, «Татарстан», отправляется на Москву в 19 ч. 15 мин. Несколько часов после свидания я бродил по обледенелой столице Татарской АССР.

Очевидно, Казань не прочищали еще со времен Иоанна Грозного, то есть с 1552 г. Вероятно, ее не прочищали и до этой даты.

Чаще всего я шел в Кремль, белый и безмолвный. Здесь я жил целый месяц в 1943 г. — меня с группой сослуживцев командировали из части на 22-ой авиационный завод. И адрес мой был: Казань, Кремль, Иофе.

Вспоминается, как один из наших офицеров, некто Еремин, съел в заводской столовой 2 бачка сечки и к утру «погиб на боевом посту» (из речи нашего начальника майора *Ланина*. Позднее, в 1944 г., этот Ланин отправил меня, юного ланинца, в штрафной батальон). Да, было голодно и холодно, но зато — было молодо!

Перед Кремлем застыл татарский поэт Муса Джалиль. Он всё рвет и никак не разорвет бронзовые путы.

Муса Джалиль был уничтожен в 1944 г., в берлинской тюрьме Моабит. Он не дожил до Колымы, где были уничтожены многие другие татары (и нетатары), поэты (и непэты).

От Кремля я скользил по улице Ленина, бывшей Воскресенской. Однажды, в поисках нежного тепла и теплого нужника, я забрел в Государственный татарский музей. Самое интересное там — афишная тумба 1912-го года. Желтая афиша призывала меня обязательно посетить цирк дрессированных крыс.

Другой раз вместе с женой мы с той же целью укрылись в кинотеатре «Пионер», где-то в мрачной не-

освященной глубине обледенелого «Пассажа». Шел шутовской польский фильм «Самозванец с гитарой». Всё же хорошо, что Казань сменилась Варшавой, милой Варшавой без учреждения УЭ-148/ст.-6. Впрочем, я был в Варшаве в 1964 г.; за 6 лет дальнейших успехов ПНР могли и учредить...

На другом конце Воскресенской улицы — Университет. В свое время здесь обучались великие умы: Толстой, Лобачевский, Ленин. Толстой дошел до непротivления злу. Лобачевский — до искривленного пространства. Ну а Ленин...

Здесь же развивалась народоволка Вера Фигнер. Ее не определили в учреждение УЭ-148/ст.-6: ведь она не была столь социально опасной, как моя дочь, или Лиза Марохина, или *Лера Новодворская*, листовками не занималась, а всё больше насчет бомб...

«Здесь Владимир Ульянов в числе других студентов слушал лекции профессора Н. П. Загоскина по истории русского права.»

Татьяна Бабченко, Алла Горзавина, Клара Синицына. «Путеводитель по Казани». Татарское книжное изд. Заказ В-454, стр. 17

И, наконец, здесь, в 1943 г., я впервые и единожды в жизни публично читал свои стихи. Помню: 800 девок, один я.

Стихи были такие:

...А в мюнхенской пивной, где подвывает флейта,
Где обывателей одолевает сон,
Мечтает о войне уволенный ефрейтор,
Диктатор будущих времен.

Этими стихами, да еще голубыми лампасами я прельщал 800 девок. Мне было 22 года. Голодно, холодно, но молодое!

Теперь мне 50 лет. 22 года исполнится моей дочери.

Кроме улицы Ленина, бывшей Воскресенской, я облюбывал реку Казанку. Подолгу стоял и стыл на узкой дамбе. Кругом — пустая белизна, пустота, белая, как вечность. Далеко, за Казанкой садится Солнце. Его видит и моя дочь — из палаты № 93, из-за белого брандмауера, сквозь решетку.

4 раза погода была мутной, квёлой. Казалось, Казань плотно прикрыта низким, грязно оштукатуренным небом — как котел крышкой. Казань — ведь это казан, по-татарски котел.

1 раз было солнечно. По синему зимнему небу фланировали рыжеватые облака, растрепанные, как хиппи.

Но всегда было скользко. Да и внутри, во мне — гололедица.

Как-то я долго плутал по старой крутой слободе. Обледенелые нужники, обледенелые колодцы, обледенелые поленницы. Прохожие редки, всё больше странные старики, да бабы в пимах и тулупах, с обледенелыми ведрами. 1552-ой год.

Впрочем, белую тишину то и дело взрывает рёв реактивных лайнеров. Значит, всё-таки 1971-ый. Да и откуда взялось бы при Иоанне Грозном учреждение УЭ-148/ст.-6?

Между прочим, аэропорт базируется как раз поблизости от этого учреждения. Чтобы всякие там шизофреники и параноики слышали шум нашей железной жизни.

Бродя по обледенелой слободе, я вдруг вспомнил об NN-е. С этим NN-ом я познакомился в свой второй приезд. 7-го октября, возле той самой проходной. Сперва детдомовец, затем моряк и, наконец, правдолюбец, NN 3 года пробыл за белым брандмауером (за чрезмерное правдолюбие). Безо всякой цели я записал его адрес. Вспомнив об NN-е, я заглянул в записную книжку: оказалось, я стою перед его домом. Телепатия...

NN мне очень обрадовался и радушно потчевал меня многочисленными водками собственного изготовления. «Разными, разными, голубыми, красными», как сказал какой-то детский маршак.

Пожалуй, телепатия тут ни при чем: я просто учуял любимый запах.

Жилье NN-а — казанский вариант вороньей слободки, безо всяких излишеств вроде водопровода и канализации. Мерзкая, мёрзлая кухня, черная от помоев. Сама комната похожа на отсек колодца, с крошечным окошком под потолком. Здесь бы только снимать фильмы Феллини..

Мы втроем изрядно причастились голубых и красных. (Третьим был некий отставной подполковник, друг NN-а. Впоследствии выяснилось, что он неотставной стукач).

Замечание. Я умышленно не сказал, кто такой NN, а также несколько искажил его приметы. А то, того гляди, его упекут за самогонку по статье 158, или еще хуже — по статье 69 за экономическую диверсию.

Еще о Казани. Между белым чистым Кремлем и черным сточным Булаком, на заснеженном пустыре — невероятный двусторчатый цирк. Нижняя створка — опрокинутый усеченный конус, верхняя — полусфера. Нечто инопланетное, точно приземлялось летающее блюдце. Вот-вот створки разомкнутся и на заснеженный пустырь шлепнется крошечное страшилище. Впрочем, какое страшилище, какое чудовище по своей сущности страшнее, чудовищней человека! Человека — творца учреждения УЭ-148/ст.-6?

Как сообщает казанский «Крокодил» — журнал «Чаян» (что значит не крокодил, а скорпион), верхняя створка цирка интенсивно протекает, — это уж не инопланетное, а вполне земное, наше, советское.

Перед отъездом я — уже по традиции — шел столоваться в привокзальную столовку № 2. Сей храм же-

лудка расположен в темном кирпичном проулке имени местных знаменитостей Сакко и Ванцетти. В храме торгуют в основном какой-то морской диковиной, экзотической рыбой, пойманной где-то в исландских водах. Оно и понятно: Волга-то далековато.

И еще о Казани. В городе почему-то почти нет мелочи, так что сдачу получить весьма затруднительно. И, что совсем нехорошо, около полугода отсутствует всякое курево.

В фирменном «Татарстане» мне везло: всякий раз ездил в вагоне № 9, где буфет. Два раза я изрядно надирался, причем оба раза в компании передовиков производства.

Спал я в поезде плохо. Терзали дурацкие сны. Снилось, что Валаамова ослица просваталась за Буриданова осла. Томила противоестественная эротика — под стать самой английской королеве из учреждения УЭ-148/ст.-6.

Хуже снов были бессонницы. Всю ночь донимало, например, такое:

У бедной коровки выросла морковка,
Коровка морковкой довольна была.
У бедной коровки выросла морковка,
Коровка морковкой довольна была.
У бедной коровки выросла морковка,
Коровка морковкой довольна была.
У бедной коровки выросла морковка,
Коровка морковкой довольна была.
У бедной коровки выросла морковка,
Коровка морковкой довольна была.
У бедной коровки выросла морковка,
Коровка морковкой довольна была.

И так далее, как на испорченной грампластинке.

Казалось бы, чего тут страшного? А ведь страшно.

Такие сны и бессонницы изводили меня не только в поездах.

Как-то мне привиделись (во сне или бессоннице) летучие детские трупы, некрупные упырята с выворото-

ченными ноздрями; мой черный саблезубый кот Кси начал на них охотиться. Почти по Франсиске Гойе.

Еще я полз сквозь узкие трубы, скользил над огромными стремнинами, падал в бездонные выгребные ямы.

Сны и бессоницы, кривые и перепутанные, как ветви яблони. Только на той яблоне вместо плодов — ублюдные головы.

Обычно я ложился на живот, вжимался в тахту: уж слишком близко окошко (я живу на 6-ом этаже).

Вся эта гоевщина наводит на размышления. Возможно, сумасшествие передается по индукции, причем через третье лицо.

Итак, я основательно побывал в обледенелой Казани.

«Мы надеемся, что побывав в Казани, вы увезете теплые воспоминания».

Татьяна, Алла, Клара. Заказ В-454, стр. 12

«Звучи, о арфа! Ты всё о Казани мне!»

Г. Р. Державин. «Арфа». 1798 г.

Теперь, через 173 года, моя арфа (или, как ее, лира) звучит чуть иначе:

От белизны глухого дня
Невесело глазам.
Со всех сторон, вокруг меня —
Холодная Казань.
Кругом зима. Кругом снега.
И безымянный век.
Шуршит бесшумная пурга
Над башней Сюимбек.
Осколки странной старины,
Следы другой поры.
И пахнут завалью войны
Татарские дворы.

И что еще случится днесь?
И некому сказать,
Зачем я очутился — здесь,
Зачем кругом — Казань.

III ЧАСТЬ. ДЕЛО № 326

Дело моей дочери вел пожилой майор госбезопасности следователь *Константин Григорьевич Мочалов* (служебный телефон 224-54-90). Я хорошо рассмотрел его на допросах. Недоразвитый рот, скорее не рот, а присосок. Во всем телосложении — неестественный перекосяк. Похрюкивая и похаркивая в себя, он пугал мою дочь спинномозговой пункцией, грозил ей пожизненным заключением в спецбольнице, поскольку «шизофрения неизлечима». Так этот славный сталинский чекист выжимал нужные показания. Эх, ему бы 37-ой год! Тут бы он показал пункцию! То-то зазвенели бы позвонки моей дочери!

Следователь КГБ Мочалов пугал также и мою жену. Он утверждал, что во время войны, в плену, моя жена «сотрудничала с немцами», работала в Министерстве пропаганды — чуть ли не в должности личной секретарши Геббельса.

Пытался он пугать и меня. Впрочем, мы не из пугливых.

Даже сослуживцы Мочалова, казуисты и иезуиты нынешней школы, относятся к нему с явно слышной насмешкой и брезгливой неприязнью.

Между прочим, в деле № 326 главным поводом для экспертизы, основным ее доводом оказалась такая шутовская записка:

«Завещание. Я, Иофе Ольга Юрьевна, завещаю свою машинку марки «Москва» № 2820 и личные бумаги Каплун И. М. Всё остальное оставляю родителям. Воспитание моего сына Мумбы до исполнения ему 18-

ти лет поручаю моей матери Шатуновской Н. Я. Прошу ее оградить его от посягательств расистов Каплун И. М., Иофе Ю. М. и Журавлева Г. И. Человечеству завещаю погибнуть до 2000-го года во избежание бóльшего зла. Чёрт с ними, с друзьями! и с врагами! Завещание написано 23. III. 68 г.».

Так и осталось в анналах КГБ: «Мумба — это кукла под названием Мумба».

Справка. Мумба, вернее Мумбо-Юмбо — пластмассовый негритенок. Социально опасная деятельность моей дочери перемежалась игрой в куклы...

А великой уликой самого преступления явился плакат-аппликация, на котором — «в карикатурном виде В. И. Ленин» (протокол обыска от 1-го декабря 1969 г., лист 6). Автор плаката — подруга моей дочери, красавица и умелица *Татьяна Хромова*, Таня с крестом, наша утешительница в мрачные 20 месяцев. Теперь она замужем за однодельцем Ольги *Вячеславом Бахминным*, славным парнем (он запросто мыслит категориями де Бройля). Оба они достойны не беглого упоминания среди 77-ми имен, а: Таня — вдохновенной поэмы, Слава — специального исследования.

Судил мою дочь член Московского городского суда *Богданов*, прокурором был *Ванькович* — оба без характерных примет. В памяти застряла лишь чья-то хохма: *Ванькович* — Ванька с еврейским окончанием. Эти стражи советского закона работали дружно и слаженно, без сбоев. Работали, как линоотливные машины).

Публику в зале суда играли несколько мочаловых.

Сам доктор Д. Р. Лунц не удостоил нас своим высоким присутствием. В роли эксперта выпендривалась некая *Мартыненко*, тонкошеяя лицемерка. На лобовые вопросы адвоката *Ю. Б. Поздеева* она реагировала только красными пятнами на лице и шее. Ни одного конкрет-

ного примера в поддержку и подтверждение диагноза «шизофрения» пятнистая экспертиза не привела.

Впрочем, линотипы всё это попросту игнорировали, они отливали готовые строки.

«Судье заодно с прокурором
Плевать на детальный разбор.
Им лишь бы прикрыть разговором
Готовый уже приговор».

*Юлий Ким. «Юридический вальс»,
Самиздат, 1969*

«...в нашей стране судебно-психиатрическая экспертиза организована на основах строгого научного исследования... Она не является аренной состязаний экспертов, как это имеет место, например, в Англии и США...»

Д. Р. Луни, доктор медицинских наук, профессор. «Советская судебная психиатрия», изд. «Знание». Москва, 1970, стр. 32

«Попрощаемся, жизнь, знаю я, что игра проиграна.
Но невольно прислушиваешься к каждому шороху.
Будто ждешь. И от напряженья дрожишь.
Ничего я не жду. Не такая уж я наивная.
Просто трудно поверить, что так глупо с тобою
прощаемся, жизнь.»

Ольга Иофе. Стихи сочинены 2-го июня 1970 г. в ЦНИИ Судебной психиатрии им. В. П. Сербского. Записаны на коробке из-под сигарет «Bulgartabak».

Нужно ли рассуждать о доносчиках и наушниках? Их было достаточно: юный энтузиаст *Владимир Тишинин*, герой берлинского подполья *Григорий Зайцев*, престарелая петлюровка, жовто-блакитная шляха *Вера Александровна Громыченко*. Страшны не они: страш-

но то, что в них нуждается наш режим; они — опорные кариатиды всей системы.

К ним же по своей сущности принадлежат 3 двоюродные бабушки моей дочери, 3 Соломоновны, 3 идейные карлицы, карликовые сталинистки: бородатая, патлатая и лысая. Это бородатая надписала книгу В. Катаева...

Об адвокатах. Лучшие из них: Софья Васильевна Каллистратова и Дина Исааковна Каминская. У Софьи Васильевны несколько простоватое, но прекрасное русское лицо с мудрыми морщинами. Дина — смуглая и умная еврейка, привлекательная по всем статьям.

Эти лучшие, бесстрашные адвокаты не имеют допуска к 70-ой статье — таинственного допуска, не предусмотренного законом.

Итак, мою дочь гуманно спланировали в психиатрическую больницу специального типа, спецтюрьму, учреждение УЭ-148/ст.-6 на пустыре у реки Казанки.

Дело № 326 было закрыто.

И это —

Не мешает есть и пить,

Курить, блудить, рядиться, раздеваться

И радоваться.

И это —

Не мешает лезть и льстить,

Дурить, родить, резвиться, развиваться

И сматываться.

«Остановить расправу над Анджелой Девис»

«Правда» от 7-го января 1971 г., № 7 (19150)

«В защиту Анджелы Девис»

«Правда» от 8-го января 1971 г., № 8 (19151)

«Прекратить позорное судилище»

«Правда» от 9-го января 1971 г., № 9 (19152)

Параллельно с органами КГБ я вел свое следствие по делу № 326. Я вел свое следствие, и след привел меня в квартиру Петра Якира, сына Ионы Якира, известного большевистского полководца, большого человека, истребленного в незабываемом 37-ом.

Якир второй, библейский красавец Петр, в отличие от Кисы Воробьянинова, оказался только лишь отцом русской демократии. (Как известно, Киса был еще и гигантом мысли.)

А если всерьез, то вот основные тезисы из моей статьи «Вопросы к Петру Якиру».

1-ый. Петр Якир действует тщетно, ибо вокруг нас — воистину тысячелетнее государство, tausendjähriges Reich*. Ведь я помню учреждение УЭ-148/ст.-6.

2-ой. Петр Якир действует вредно, ибо неволью является подсадным селезнем для всех этих свободолюбивых шмокодявок. А я помню учреждение УЭ-148/ст.-6.

3-ий. Петр Якир действует скверно, ибо на Западе создается иллюзия мифического «демдвижения». Но я помню учреждение УЭ-148/ст.-6.

Что касается соратников Петра, т. н. Инициативной группы и других демократов, то все они для меня на одну бороду.

Только совсем особняком стоит Ким, безбородый зять бородатого Петра, маленький кореец и огромный русский актер и поэт.

«Конечно, усилия тщетны,
И им не вдолбить ничего.
Предметы для них беспредметны.
А белое просто черно.
Судье заодно с прокурором
Плевать на детальный разбор.
Им лишь бы прикрыть разговором
Готовый уже приговор».

* Мечта Адольфа Гитлера. — Ю. И.

Юлий Ким. «Юридический вальс». Посвящен адвокату Каллистратовой. Самиздат, 1969

IV ЧАСТЬ. УЧРЕЖДЕНИЕ УЭ-148/СТ-6

*Главному психиатру г. Москвы
г. Янушевскому И. К.
от Иофе Ю. М.*

З А Я В Л Е Н И Е

Уважаемый тов. Янушевский!

Я обращаюсь к Вам по поводу моей дочери Иофе Ольги.

15-го сентября 1970 года моя дочь была направлена в Казанскую психиатрическую больницу специального типа согласно определению Московского городского суда от 20-го августа того же года.

В скором времени, 1-го декабря, первая же медицинская комиссия выписала мою дочь в больницу общего типа. Однако еще целых 3 месяца она находилась в Казанской спецбольнице, сначала в ожидании суда, затем в ожидании путевки.

Наконец, 28-го февраля 1971 г. мою дочь отправили из Казани, но, вопреки определению суда, не в больницу общего типа, а в Бутырскую тюрьму!

Мне непонятно, на каком основании моя дочь содержится в тюрьме на положении заключенной.

Прошу Вас вмешаться в этот беспрецедентный случай. Неужели моя дочь недостаточно наказана в свои 20 лет?

С уважением

Ю. Иофе .

Москва, 4. III. 1971 г.

Мой адрес: Москва, Е-118; 8-ая ул. Соколиной горы, д. 7, кв. 131. Тел. 265-87-45.

В больнице общего типа, в 3-ей городской психиатрической больнице, социально опасную Ольгу выдерживали еще полгода — до 28 июля.

Разумеется, здесь было легче: галоперидол заменили трифтазином, который вызывает только закатывание глаз, но не судороги. Участились свидания и передачи. Да и обстановка стала не столь колоритной. Пример: Ольгина сокоечница Алла Шлёпкина не была ни убийцей, ни нимфоманкой, она всего-навсего периодически удлинялась и укорачивалась.

Короче говоря, моя дочь очутилась в обычной советской больнице: теснота, духота, хамство и т. д. — в общем, всё, что положено.

Окна Ольгиной палаты упирались в розовую стену с колючей проволокой, за ней — знаменитая московская тюрьма Матросская тишина. Оттуда, из верхних этажей, жизнерадостные уголовники то и дело зазывали «девочек» к себе.

Такое соседство безусловно полезно душевнобольным.

По другую сторону от психобольницы — Стромьинский студенческий городок. Здесь я жил и познавал жизнь перед войной.

Юность кончилась вдруг.
Я еще не успел ощутить ее.
Пусть шаблонно звучит,
Но и вправду ее не верну.
Я не сделал открытий.
Оставил стихи в общежитии.
И студентом, как был,
Беззаботно ушел на войну.

Итак, моя дочь дома.

А я совершаю 7-ое путешествие в Казань. На этот раз — воображаемое.

На унылом пустыре, на берегу реки Казанки — учреждение УЭ-148/ст.-6. Моей дочери теперь там нет.

Но там еще содержится социально опасная поэтесса *Наталья Горбаневская*; ей 34 года.

Но там еще содержится социально опасная полупоэтесса *Валерия Новодворская*; ей 21 год.

Но там еще содержится социально опасная непоэтесса *Елизавета Марохина*; ей 23 года.

Перечень, конечно, не кончен, он станет, несомненно, пополняться — тенденция очевидна.

Садится Солнце за рекой Казанкой.
Вдали. В пыли.
Земля земная кажется изнанкой
Иной Земли.
Чернеют деревянные скелеты
Над пустырем.
И мысли непонятны и нелепы
И ни о чем.
Нам никуда не выбраться, не деться.
Везде заслон.
Садится Солнце, дальше, как детство,
Во тьму времен.
И так пустынно на Земле залятой,
И как во сне:
И судороги зимнего заката,
И синий снег.

Солнце садится за белым брандмауером. Скоро в кормушке покажутся металлические миски с овсянкой или сечкой. В ожидании ужина каждая занята своим делом: королева Виля воюет с чертями и змеями, Ольга Ножак, бодрая и сгорбленная, уже 17-ый год играет на гитаре, а бритоголовая полупарализованная Ховря ладно поет сквозь плевки и блевки:

М... вошка из окошка
Высунула голову:
П...е, ради бога,
Помираю с голоду!

И нимфоманки блаженно онанируют.

«...гражданам СССР гарантируется законом:

а) свобода слова;..»

И это — не мешает есть и пить. Курить, блудить, рядиться, раздеваться. И радоваться.

И это — не мешает лезть и лстить. Дурить, родить, резвиться, развиваться. И сматываться.

И это — не мешает цвести и гнить. Варить, следить, стремиться, страховаться. И скатываться.

ПРИЛОЖЕНИЕ. TAUSENDJÄHRIGES REICH

Сообщаю, что существует ничтожное меньшинство, преимущественно из молодежи, которому это всё же мешает. И есть, и пить, и прочее.

23-го января 1969 г. *Ян Палах*, студент философского факультета пражского университета Каролиnum, вышел один на Вацлавскую площадь, одну из центральных площадей города Праги, столицы Чехословацкой Социалистической Республики. Ян Палах пропитался горючей смесью и поджег себя. Теперь он находится на одном из пражских кладбищ, возможно, на Ольшанском. Ему было 22 года.

27-го июня 1971 г. *Надя Емелькина*, бывшая студентка Московского геолого-разведочного института, вышла одна на Пушкинскую площадь, одну из центральных площадей города Москвы, столицы Союза Советских Социалистических Республик. Надя Емелькина несла плакат: «Свободу политзаключенным в СССР!» Теперь она находится в одной из московских тюрем, возможно, в Бутырской. Ей 24 года.

События мелкие, события крупные.

Крошится со звоном столетие хрупкое.

Пестрят фестивали веселыми флагами.

И вохровцы бдят на вышках концлагеря.
История крупная, история мелкая.
Ах, Наденька, Наденька, Надя Емелькина!
Чехословакия тоже пропала.
Ах, Яничек, Яничек, Ян Палах...

Случается многое, случается всякое.
И гибнет планета, как Чехословакия.
Того и гляди, самого тебя за ноги...
Тут не до Наденьки, тут не до Янека.
Сбывается всякое, сбывается многое.
Крошится столетие, рушится логово.
Денек протянуть бы, часок — ну и ладненько.
Яничек, Яничек... Наденька, Наденька...

Яничек. Наденька. Оленька. Демдвижение... Дым-
движение.

Но большинство — это мы. А с нас что взять? Ведь
каждый из нас

Проснулся утром,
Взглянул в окно:
Кругом — tausendjähriges Reich

Конец поэтоочерка № 5, документального.

Москва—Казань
15 дек. 70—5 сент. 71

Вячеслав Менжинский — чекист СССР № 2

В 1920 году Дзержинский принимает удивительное решение, повергшее в недоумение даже самых близких сотрудников Ленина. На место Кедрова он назначает начальником Особого Отдела ВЧК В. Менжинского — человека постороннего и в чекистских делах малоискушенного.

Кедрова надлежало убрать с Лубянки немедленно и без шума. Доверенный ему Особый Отдел ВЧК приобретал в это время (конец Гражданской войны) всё большее значение: в его обязанности входила и охрана государственных тайн. Оставлять такое важное дело в руках умалишенного становилось совершенно невозможным. А сумасшествие Кедрова усиливалось с каждым днем. В течение «незабываемого девятнадцатого года» он заполнил московские тюрьмы детьми от девятилетнего до пятнадцатилетнего возраста, основываясь на том, что «это юное отродье буржуазных семей» — злейшие враги пролетариата. В смутное время, которое переживала тогда страна, в Кремле на это мало кто обращал внимание. Но когда в начале двадцатого года по приказу Кедрова отряд чекистов открыл огонь по группе ребятишек, шедших в школу, даже Ленин, ни в грош не ставивший человеческую жизнь, счёл нуж-

A. Stolypine. Histoire secrète de la police soviétique. Editions de Crémille. Genève.

Книга в ближайшем будущем выходит из печати. Публикуемая нами глава — авторизованный перевод с французского.
— Ред.

ным положить конец кедровским «развлечениям». Он был арестован и до конца своих дней запрятан в «дурдом»... куда с бóльшим основанием, чем это делается у нас теперь.

Для наведения порядка в Особом Отделе после безумств Кедрова требовался человек ясного ума и железной воли. И вот, вопреки всем ожиданиям, должность эта была вверена Менжинскому. Троцкий, выражая свое удивление, пишет, что Менжинский — вообще не человек, «а лишь тень человека, эскиз неоконченного портрета». Один из близких друзей Менжинского — советский дипломат Дмитриевский* — набрасывает словесно этот «эскиз» к портрету Менжинского:

«Непропорционально длинное туловище, развинченная походка, руки в непрерывном движении, даже тогда, когда их обладатель находится в сидячем положении, тусклое выражение утомленных глаз — всё это создает впечатление, что человек этот тяжело болен. Он и в самом деле страдает тяжким заболеванием спинного мозга. В силу этого он старается как можно чаще сидеть или лежать. Однако болезнь поразила не только его тело».

Таков был этот человек, рожденный для барской спокойной жизни, а не для бурь революции. Но в отличие от своего начальника Дзержинского — недочки и фанатика, Менжинский был очень умен и блестяще образован.

Отец его Рудольф Менжинский — совсем обрусевший поляк — был заслуженным преподавателем в одном из самых привилегированных учебных заведений империи — в Пажеском Его Величества Корпусе. Царь Николай Второй лично знал его и любил. Юный Вячеслав** прекрасно учится: кончает Петербургский универ-

* S. Dmitrievsky. Dans les coulisses du Kremlin. Librairie Plon. Paris, 1933.

** Родился 1. 9. 1874 г. — Ред.

ситет, бегло говорит на девяти языках, увлекается литературой. В студенческом литературном кружке он зачастую встречается с неким студентом Борисом Савинковым. Менжинский пишет декадентские романы, которые никогда не заканчивает, Савинков — неплохие стихи. Между юношами, после кратковременной дружбы, рождается острая неприязнь, которая, увы, продолжится всю жизнь... В прокуренных студенческих комнатах они иной раз спорят и на политические темы, здесь-то и обнаруживается непримиримость их взглядов. Савинков утверждает, что русский народ — будущее человечества», по мнению Менжинского — это «скот, ставший жертвой социализма».

Окончив университет, Менжинский не находит себе применения в жизни — не знает, чем ему заняться. Брат его, богатейший банкир, берет его на полное содержание. И по состоянию здоровья, и по прирожденной склонности Вячеслав чуждается какой-либо работы. Он становится членом меньшевистской фракции социал-демократической партии и уезжает в Париж — не бежит из России, а спокойно, по-барски уезжает. В свое время в университете его называли «Вечя-божия коровка»; такой «божьей коровкой» он и представлялся царской полиции: она не обращает на него никакого внимания.

«Революционность» Вячеслава было совсем особой, свойственной лишь ему. С высот Монмартра наблюдает он за революцией 1905 года. Он интересуется чем угодно, только не революционными событиями: то провозглашает себя великим лингвистом и начинает зубрить японский язык, затем чувствует себя великим художником и в Латинском квартале предлагает прохаживать свои пошлые акварели.

Так живет он без цели и толку до 1909 года. И вдруг в нем пробуждается «политическая» страсть: наконец он нашел недруга, на которого можно изли-

вать накопившуюся жёлчь; и недруг этот не кто иной, как сам Ленин. Наносить «Ильичу» болезненные удары, отыскивая наиболее уязвимые у него места — становится главной целью жизни Менжинского.

В 1909 году он обвиняет Ленина в присвоении для личных нужд кругленькой суммы в шесть тысяч рублей (деньги были присланы в Париж группой террористов Поволжья для закупки оружия). В следующем году он публикует в органе эсеров «Наше эхо» две статьи, где в одной из них, в частности, говорится:

«Цель большевиков — власть, влияние на народ, желание обуздать пролетариат. А Ленин — политический иезуит, обращающийся с марксизмом по своему усмотрению и применяющий его к мимолетным целям; в настоящее время он окончательно сбился с пути».

В этой же статье Менжинский подчеркивает:

«Ленинцы это не политическая группировка, а цыганский крикливый табор. Они любят размахивать кнутом, воображая, что их неотъемлемое право — стать погонщиком рабочего класса».

После Февральского переворота, происшедшего столь неожиданно для Ленина и его соратников, Менжинский из чистого любопытства и забавы ради возвращается в Петроград. Ленин, как правило, беспощадный к своим политическим врагам, не испытывает к Менжинскому (в отличие от Сталина) чувства личной мести. Постепенно Менжинский становится в Смольном своим человеком. Насмешливо щуря глаза, Ленин как-то бросает фразу по его адресу: «Наше хозяйство будет достаточно обширным, чтобы каждому талантливому мерзавцу нашлась в нем работа».

В дни подготовки Октябрьского переворота, когда политические единомышленники Ленина спорили, целесообразно ли восстание в данный момент, Вячеслав Менжинский в соседней комнате упоенно играет вальсы Шопена...

После успешно проведенного переворота Ленин, составляя свое первое правительство, предлагает Менжинскому пост народного комиссара финансов (очевидно, по той лишь причине, что брат его был известный буржуазный банкир). Менжинский принимает предложение и тут же превращает его в шумную бутафорию. Для того, чтобы взять в свои руки Государственный банк, он вызывает два полка. В роскошной шубе марширует он в сопровождении двух оркестров... На этом, в сущности, и завершается его государственная деятельность на данном этапе. Когда несколько месяцев спустя Ленин формирует свое второе правительство, в которое он включает нескольких левых эсеров, Менжинскому предлагается временно отдохнуть: в течение нескольких месяцев последний успел привести финансовые дела страны в хаотическое состояние. Где можно найти применение такому путанику и сумасброду?

В апреле 1918 года, после заключения Брест-Литовского мира, Менжинский вновь появляется на политической арене, и притом в новом амплуа. Он — генеральный консул советской России в Берлине. С этого времени всё меняется.

«Будучи в Берлине, пишет Дмитриевский, он впервые познакомился с областью, дотоле ему незнакомой, и, ко всеобщему изумлению, в нем сразу обнаружился виртуоз дела. Со всей страстью окунулся он в работу по политическому шпионажу и большевистской пропаганде. Сам того не зная, он обладал невероятной интуицией, которая позволяла ему идти по следам, распознавая их там, где они были неуловимы для людей более сведущих и опытных, чем он. Одним словом, он ощущал то, что невозможно было предвидеть и постичь при помощи рассудка».

И вот он — во главе Особого Отдела. Что же ждет его: успех или провал?

«По истечении нескольких месяцев, продолжает Дмитриевский, Менжинский понял, что эта деятель-

ность наиболее соответствовала его капризной натуре. Там, где чутье чекистских сыщиков не давало никаких результатов, его прирожденная интуиция творила чудеса».

В самом деле, Менжинский решительно пресекает террористическую деятельность эсеров и анархистов, направленную против Ленина и его непосредственного окружения. Расстрелы и пытки продолжаются, но в несколько замедленном темпе и не всегда вслепую. Не в пример своему начальнику Дзержинскому «Вечя-божия коровка» никогда не присутствует на допросах, никогда не спускается в нижние этажи Лубянки — в царство пыток и смерти. Он брезгливо называет ленинские тюрьмы «социалистическим зверинцем». Всё это — подальше от глаз!

В 1921 году Менжинский становится заместителем председателя ГПУ, а в 1926 году, после внезапной смерти Дзержинского, — председателем этого почтенного заведения, первым чекистом страны.

Всю неприятную, грязную работу он со вздохом облегчения возлагает на своего помощника, бывшего фармацевта Генриха Ягоду. Последний проявляет к своему начальнику трогательные чувства любви и преданности. Когда Менжинский садится в автомобиль, Ягода кутает его немощные ноги пледом, «с материнской заботливостью», как отмечает один из современников. Не считая себя достойным восседать рядом со своим начальником, он скромно ютится рядом с шофером, стыдливо опуская глаза. «Тартюф, лицемер», — шепчут некоторые недоброжелатели. Но утонченный и капризный буржуй Менжинский ценит такое к себе отношение.

Вся интуиция и все усилия Менжинского, начиная с 1924 года, направлены на то, чтобы обезвредить и уничтожить врагов тоталитарного советского строя, орудующих из-за рубежей России. Пресловутый «Трест» (о котором всё еще не написано полностью) —

это в значительной степени его выдумка. Во всяком случае, с неутомимой энергией он проводит это дело до конца, то есть до поимки заманенного на советскую территорию своего бывшего знакомого Бориса Савинкова...

1927 год — год юбилейный: исполнилось десять лет с момента основания ВЧК. Этот год — год апогея в политической карьере Вячеслава Менжинского. За исключением Кутеповской организации, внешний враг обезврежен (по крайней мере на время), ИНО-ГПУ (подрывная сеть советской тайной полиции на чужих территориях) протянуло свои щупальца по всему земному шару; а в стране, в лагерях смерти, гибнут сотни и тысячи «врагов народа» — вдали от нескромных глаз и ушей. В глазах цивилизованного мира Менжинский «реабилитирует» своих чекистов: они одеваются по последней моде, разглагольствуют «на уровне» о «мирном сосуществовании», совершают похищения и убийства с виртуозностью, которая палачам эпохи военного коммунизма даже и не снилась.

Можно ли себе представить нечто более безобидное и трогательное, чем празднование десятилетия ВЧК в 1927 году в Москве? Приглашенных было более семи тысяч (что послужило со временем Гитлеру добрым образцом). Вначале выступают «сознательные граждане». Один из московских рабочих-ударников читает по подсунутой ему шпаргалке: «ГПУ должно просуществовать до того дня, пока последний капиталист исчезнет с лица земли». Затем слово предоставляется великим мира сего. Партийный теоретик Бухарин утверждает, что ГПУ совершило «величайшее чудо всех времен». Оно сумело видоизменить сам характер, саму природу русского человека: устранить его прирожденное добродушие и влить в его сосуды «некоторые специфические качества большевизма».

Менжинский оказался чудодейственным хирургом, создавшим нового советского человека. В ту же пору

Михаил Булгаков пишет свою повесть «Собачье сердце». Уж не ответ ли эта повесть на слова Бухарина? Новый человек у Булгакова — хирургическое чудо профессора Преображенского — помесь алкоголика с хулиганом и псом...

Но вот и сам герой дня — Менжинский — поднимается на трибуну под звуки «Интернационала». Все ждут от него торжественной юбилейной речи: историческую панораму возникновения ЧК и оценку «наших героических чекистов, взращенных родной любимой партией и лично вами, товарищ Сталин». Но ничего подобного не происходит. Менжинский, чекист Советского Союза номер два, скандирует всего лишь шесть слов — ровно шесть: «Главная заслуга чекиста — уметь хранить молчание». Что это? Издевательство над собравшейся публикой? Очередной номер капризного буржуазного выродка? Менжинский верен себе.

Всероссийский староста Калинин старается спасти положение. Он бросается навстречу спускающемуся с трибуны Менжинскому и со слезой в голосе читает от имени партии и государства благодарственный адрес. Всхлипывая от умиления, он заканчивает словами: «ГПУ — оплот революции, неумолимый меч пролетариата».

После апогея наступают сумерки. Несмотря на то, что в 1929 году Менжинский всё еще на вершине своей карьеры, он ощущает томящую скуку: всё на свете надоело. Внезапная смерть молоденькой его жены — удар, который сразу состарил его на много лет. Начавшаяся лобовая атака против крестьянства — коллективизация — ему не по нутру. Казалось, он искоренил всех врагов существующего строя, и вдруг — да что же это? — врагов миллионы, миллионы крестьян. Лагеря смерти — этот ленинский «социалистический зверинец» — расплозятся по всей стране.

Последнее крупное дело, которым лично руководит Менжинский, — похищение из Парижа в январе

1930 года генерала Кутепова. Но и этот утонченный макиавеллевский замысел идиотски срывается косолапыми и тупыми чекистами. Генерал должен был быть доставленным на Лубянку живым, чекисты же сделали ему впрыскивание, усыпившее его навсегда...

«Вечя-божия коровка» мечтает уйти на покой, но об отставке не может быть и речи. Сталин, подозревающий в крамоле всех и вся, слепо верит начальнику своей тайной полиции. Менжинский совсем забрасывает работу, но никто не смеет упрекнуть его за это. Малейшая, случайная инициатива с его стороны встречается шёпотом одобрения, в то время как другие сподвижники Сталина, боясь «споткнуться», проводят ночи в своих кабинетах, изматывая до потери сознания своих подчиненных.

На далеком Севере русский народ — мужчины, дети, старики, женщины — гибнет миллионами, даже не понимая, за что... А выхоленный буржуй Менжинский в чекистском мундире постепенно возвращается к увлечениям своей юности: он вновь становится блестящим дилетантом. В нем пробуждается былая страсть к математике и языковедению. Напрягая последние силы, этот больной, изношенный шестидесятилетний человек изучает древнеперсидский язык: цель его жизни — читать в подлиннике Омара Хайяма — знаменитого поэта и математика XIII века. Стол его на Лубянке, вместо докучливых, однообразных и примитивных рапортов чекистов, завален произведениями персидского поэта. «Рубай» (четверостишия) Хайяма — последняя его страсть.

Живой труп Вячеслава Менжинского будет еще в течение нескольких лет номинально возглавлять Лубянку, до того самого дня — 10 мая 1934 года, когда его покорный и преданно-заботливый сподвижник Ягода не поднесет ему излишне крепкую дозу снотворного собственноручного изготовления.

Эпигон Великого Инквизитора

*К портрету Сталина в романе А. И. Солженицына
«В круге первом»*

*«Настанет год, России черный год,
Когда царей корона упадет;
.
В тот день явится мощный человек. . . .»*

М. Лермонтов, «Предсказание», 1830 г.

Чтобы разобраться в сложной системе героев романа, необходимо, прежде всего, уяснить себе ее взаимосвязь с авторским видением сталинской России как земной преисподней. Ироническое острие этого видения нацелено, разумеется, на «обетованный» Марксом и Лениным коммунистический земной рай, и таким образом роман связан с иудейско-христианской культурной традицией. Хотя тема ада вводится в поле зрения читателя самим названием романа и прямыми ссылками на такие шедевры мировой литературы, как «Божественная Комедия» Данте и «Фауст» Гёте, существенные контуры и краски солженицынского видения восходят также к русской традиции изображения демонических и inferнальных мотивов. Эта традиция начинается с Пушкина и Лермонтова, проходит через Гоголя и Достоевского,

Статья является авторским переводом из докторской диссертации Polyphony of The First Circle: A Study in Solženicyn's Affinity with Dostoevskij. — Р е д .

Владимира Соловьева и Мережковского и с новой силой возрождается в творчестве советских «адописцев», таких, как Булгаков, Пастернак и Твардовский.

Связь с Достоевским представляется особенно важной ввиду того, что действительность тоталитаризма, изображенная в романе Солженицына, была предсказана и в наиболее существенных чертах предугадана автором «Бесов» и «Братьев Карамазовых». Как известно, Шигалев, бесноватый идеолог социализма в «Бесах», предлагал,

«в виде конечного разрешения (социального. — В. Г. К.) вопроса — разделение человечества на две неравные части. Одна десятая доля получает свободу личности и безграничное право над остальными девятью десятыми. Те же должны потерять личность и обратиться в роде как в стадо и при безграничном повиновении достигнуть рядом перерождений первобытной невинности, в роде как бы первобытного рая, хотя, впрочем, и будут работать»¹.

Другой литературный глашатай тоталитаризма — на этот раз не социалист, а католический кардинал и по совместительству Великий Инквизитор — предвкушал, как «сто тысяч страдальцев» добровольно возьмут на себя проклятие познания Добра и Зла, а заодно и бремя власти над «тысячами... миллионов младенцев»².

Ясновидение Достоевского проистекало из близкого личного знакомства с идеями революционно настроенных социалистов того времени. Однако при жизни писателя эти идеи представляли собой не более чем призрак. Бродивший довольно привольно по Западной Европе, этот призрак лишь изредка, да и то опасно и неохот-

¹Ф. М. Достоевский. Бесы. Т. I. YMCA-PRESS, Париж, стр. 428.

²Ф. М. Достоевский. Братья Карамазовы. Т. I. YMCA-PRESS, стр. 338-339. Дальнейшие ссылки на эти произведения взяты из того же издания.

но, захаживал на русские просторы. Тем не менее писатель признал в нем грядущего супостата и в «Бесах» показал, что даже ничтожная шайка «благодетельных» смутьянов и головорезов может преуспеть и хоть на время да устроить свой шабаш на русской земле.

История доказала его правоту: спустя каких-нибудь полвека духовные, или лучше сказать идейные отпрыски «бесов» установили полную диктатуру надо всей страной. Лозунги большевистской революции, обещавшие всеобщий мир и хлебы земные мировой коммуне человечества, были как списаны с учений Шигалева и Великого Инквизитора. И средства для создания «земного рая» были те же: ни к селу ни к городу не подходившее марксистское понятие «диктатура пролетариата» заведомо не могло в аграрной России означать диктатуру большинства над меньшинством. В лучшем случае это понятие могло привести к господству десятой части над девятью десятymi, но ленинская «поправка» к марксизму (именно большевизм) фактически передала всю власть не в руки рабочего класса, а в руки партийных конспираторов, которых было никак не больше чем «сто тысяч», затребованных Великим Инквизитором.

Из ленинских цветочков выросли сталинские ягодки. Сталинская «поправка» к марксизму-ленинизму обеспечила мечтам «провидцев» Достоевского наихжеланный плод: абсолютная и безграничная власть единственного и непогрешимого Вождя Всего Прогрессивного Человечества (читай: власть Беса и Человекобога) стала повседневной, повсеместной и больно, мучительно больно осязаемой действительностью. Очевидно, стесненные в своих фантазиях модными либеральными фразами своего времени, и Шигалев и Великий Инквизитор соизволили даровать, или только наобещали, личную свободу «десятой доле» и «сотне тысяч». Сталину же не было нужды стесняться, и он довел идею тоталитарного правления до предельной точки: ни пролетарское происхождение, ни партийный билет не давали охранной грамоты

от его произвола. Но и перешеголяв Шигалева на деле, Сталин все-таки остался у того в идейном плену, ибо тот уже давно заявил: «Выходя из безграничной свободы, я заключаю безграничным деспотизмом»³.

В романе А. Солженицына «В круге первом» Сталин изображен в апогее своего владычества, в декабре 1949 года, только что отпраздновавшим семидесятилетний юбилей. В фокус романа он попадает в ночной час, когда он обзревает свое прошлое, чтобы лучше запланировать будущее. Как бы говоря устами диктатора, писатель замечает: «Как сказочный богатырь, Сталин всю жизнь рубил вырастающие и вырастающие головы гидры»⁴. Свою привычку рабстать по ночам диктатор объясняет так: «Беззаботная страна может спать, но Отец ее спать не может!» (т. 3, стр. 132). Такая готовность к самопожертвованию может показаться особенно великодушной ввиду того, что Отец-то стране в деды годится: лишь три дня назад «всё прогрессивное человечество» отпраздновало его «славную годовщину». Но старец отнюдь не тешит себя мыслью о выходе на пенсию или надеждой на личное вознаграждение за бескорыстную службу на пользу человечества.

«Положив себе дожить до девяноста лет, Сталин с тоскою думал, что лично ему эти годы не принесут радости, что он просто должен домучиться еще двадцать лет ради человечества» (т. 1, стр. 124).

Создавая в своем мозгу «богатырский», «сказочный» образ самого себя, диктатор едва ли отдает себе отчет в том, что образ этот близок другому «легендарному» ге-

³ Бесы. Т. I, стр. 427.

⁴ Александр Солженицын. Собрание сочинений в шести томах. В круге первом. Т. 3. Изд-во Посев, Франкфурт-на-Майне. 1970, стр. 130. Последующие ссылки относятся к этому же изданию, и будут указываться в тексте статьи в скобках — том и страница.

рою, другому ветхому «страдальцу на благо человечества», именно девяностолетнему Великому Инквизитору. Правда, нашему герою стукнуло всего лишь семьдесят, но — случайно ли? — ему почему-то хочется пожить как раз еще двадцать, да и не просто пожить, а «домучиться еще двадцать лет ради человечества».

Помимо «страдания на благо человечества», некоторые другие черты так же присущи Сталину, как и Великому Инквизитору. Последний сочетал в себе, например, недоверие к «слабому, вечно порочному и вечно неблагодарному людскому племени»⁵ с желанием облагодетельствовать это самое племя. Коммунистический Вождь тоже был убежден, что:

«Целые народы — подобно королеве Анне, вдове из шекспировского «Ричарда III» — их гнев недолговечен, воля не стойка, память слаба — и они всегда будут рады отдаться победителю» (т. 3, стр. 159). Презирая людей, он не доверял им до такой степени, что «недоверие к людям было его мировоззрением» (т. 3, стр. 148).

И тем не менее он считал себя благодетелем, призванным «одному ему известным путем привести человечество к счастью и ткнуть его мордой в счастье, как слепого щенка в молоко — на! пей!» (т. 3, стр. 159).

Великий «благодетель» у Достоевского тоже обещал «привести человечество к счастью» и, презирая людей, был уверен, что они с радостью променяют свою свободу на «хлебы земные». Хотя Солженицын не упоминает ни Инквизитора, ни «хлебов земных», в сталинской подачке в виде «молока» не трудно усмотреть первое искушение Христа в пустыне «страшным и умным духом». Если у Достоевского сатана говорил устами Великого Инквизитора, то у Солженицына он говорит устами Сталина.

⁵ Братья Карамазовы. Т. I, стр. 330.

У Достоевского, как известно, католический кардинал в конце концов признается своему узнику, что он только лжет во имя Христово, но на самом деле «мы не с Тобой, а с ним, вот наша тайна!»⁶. Ассоциация «Владетеля полумира» в романе Солженицына с сатанинскими силами возникает сама собой. У читателя создается впечатление, что Сам-то Хозяин и является сатаной. В числе его сатанинских черт бросаются в глаза его ночные бдения. Раз за разом писатель напоминает читателю, что «самым плодотворным временем Сталина были ночи» и что «все лучшие мысли его родились от полуночи до четырех часов ночи...» (т. 3, стр. 133). «Лучшие», разумеется, с сатанинской точки зрения. Как Алеша постиг за «возвышенным идеалом» Инквизитора и иже с ним «самое простое желание власти, земных грязных благ, порабощения... вроде будущего крепостного права, с тем, что они станут помещиками»⁷, так среди «лучших» решений коммунистического диктатора и «указ о каторге и виселице», и «как закрепить рабочих и служащих на их местах навечно» (там же) — [выделено мной. — С. Р.]. И уж, конечно, ночью крутится скорее всего аппарат красных чиновников Москвы, приспешествующих сатане:

«Одному-единственному человеку за дюжиной крепостных стен не спится по ночам — и он приучил всю чиновную Москву бодрствовать с ним до трех и до четырех часов ночи. Зная ночные повадки владыки, все шесть десятков министров, как школьники, бдят в ожидании вызова. Чтобы не клонило в сон, они вызывают заместителей, заместители дергают столоначальников, справкодатели на лесенках облазывают картотеки, делопроизводители мчатся по коридорам, стенографистки ломают карандаши» (т. 3, стр. 5-6).

⁶ Братья Карамазовы. Т. I, стр. 336.

⁷ Братья Карамазовы. Т. I, стр. 340.

И если уж Владетель Полумира собрал в своем ночном логове книги уничтоженных им соперников, то лишь для того, «чтобы злей быть по ночам, когда принимает решения» (т. 3, стр. 163).

Даже и о внешнем виде диктатора писатель пишет как бы по поговорке «Бог шельму метит». То здесь, то там он сравнивается с хищным филином, со свирепым тигром, со зловещим вороном. Так как собаки по традиции порой ассоциируются с сатанинскими силами, то и диктатор и его приспешники смыкаются в романе с породой псовых. Абакумова, например, Сталин сам обзывает «собакой» (т. 3, стр. 164), а когда раздастся «легкий четырехкратный стук в дверь — не стук даже, а четыре мягких поглаживания по ней, как будто о дверь терлась собака» (т. 3, стр. 128), то Хозяин знает, что это его личный секретарь Поскребышев пришел прислуживать в ночных бдениях. Даже о самом себе Сталин не может думать, не прибегая к «собачьим» образам: «Это была собачья старость... Старость без друзей. Старость без любви. Старость без веры. Старость без желаний» (т. 3, стр. 64).

Достопримечательны и заключительные строки солженицынского портрета Владетеля Полумира, боящегося и нос высунуть за пределы «ночного кабинета»:

«Это ощущение погасающей памяти, меркнувшего разума — одиночества, надвигающегося, как паралич, заполняло его беспомощным ужасом.

Смерть уже свила в нем свое гнездо — а он не хотел этому верить!» (там же).

Такой заключительный штрих одновременно и предвещает реалистически действительную смерть Сталина, которая была на самом деле мучительной, судя по свидетельству его дочери; и наталкивает на мысль об узурпаторе, которому тяжела «шапка Мономаха»; и предваряет сумерки коммунистических кумиров, начавшиеся с падения его собственного «культа лично-

сти»; и символически довершает портрет современного собрата «духу смерти и разрушения», вещающего у Достоевского устами Великого Инквизитора.

Еще одна черта связывает Сталина с обликом его литературного предтечи — богоотступничество. Как известно, Иван не преминул напомнить Алеше, что его герой сызмала «готовился стать в число избранных» Христовых. И Вождь безбожников у Солженицына вспоминает из своего детства именно свою былую набожность и смирение:

«Ведь до девятнадцати лет он рос на Ветхом и Новом заветах, на житиях святых и церковной истории. Он прислуживал на литургиях, был певчим на клиросе — и как любил петь «Ныне отпускаеши» Строкина! Он и сейчас споет — не соврет. И сколько раз за одиннадцать лет училища и семинарии он прикладывался к иконам и всматривался в загадочные их глаза» (т. 3, стр. 160—161).

Фотография выпускника духовного училища Джугашвили вырезывается в память и диктатора, и читателя — да кто ее в СССР не видел! —

«матовый, как бы изнуренный молениями, отроческий овал лица; длинные волосы, подготавливаемые к священнослужению, строго пробраны, со смирением намазаны лампадным маслом и напущены по самые уши; и только глаза и напряженные брови выдают, что этот послушник, пожалуй, пойдет до митрополита» (т. 3, стр. 161).

Как Ракитин, «семинарист-карьерист» у Достоевского, солженицынский «смиранный» и «изнуренный молениями» послушник оказался на деле незаурядным оппортунистом, предпочевшим «карьере» духовного служения карьеру революции и атеизма. Ведь первая обещала ему не больше, чем жезл одного из нескольких митрополитов. Вторая же, хоть и не без риска, могла привести и привела к скипетру и державе Вождя мирового коммунизма. Но и сейчас, в возрасте семиде-

сяти лет, честолюбивый старик еще не вполне удовлетворен, и на следующую двадцатилетку планирует, между прочим, «провести и выиграть» третью мировую войну и потом, как бы переплюнув Наполеона, объявить себя Императором Планеты. Ведь по его мнению, «это ничуть не противоречит мировому коммунизму» (т. 3, стр. 160). И уж во всяком случае это ничуть не противоречит ни третьему «искушению», которым сатана пытал Христа в пустыне, ни «кесарским» вождениям Великого Инквизитора, мечтавшего о соединении всего человечества в «беспорный общий и согласный муравейник»⁸.

Но и кесарева нашему «кесарю» кажется мало — захотелось ему Божьего отведасть. Двадцать лет он еще как-нибудь помучается ради человечества, «а там, может быть, найдут средство такое, лекарство, чтобы сделать хоть его одного бессмертным?...» (там же). Не доверяя, однако, докторам и будучи хорошо знаком с очковтирательной сущностью социалистических «успехов», он реалистически заключает: «Нет, не успеют» (там же). Но и примирившись как будто бы с тем, что и ему придется умереть, он все-таки исполнен решимости загодя «понастроить себе памятников» на Казбеке и на Эльбрусе,

«и чтобы голова была всегда выше облаков. И тогда, ладно, можно умереть — Величайшим из всех Великих, нет ему равных в истории Земли.

И вдруг он остановился.

Ну, а... — выше? Равных ему, конечно, нет, ну, а если там, над облаками, выше глаза поднимешь — а там?..

(Он опять пошел, но медленнее.)

Вот этот один неясный вопрос иногда закрадывался к Сталину» (там же).

⁸ Братья Карамазовы. Т. I, стр. 336.

«Неясный вопрос» касался, между прочим, существования Христа. Несмотря на попытки «Корифея» безбожников убедить самого себя, что «доказано было, что нельзя доказать, что Христос был», вопрос остается для него «неясным», потому что «ткань нашей души, то, что любим мы и к чему привыкли, создается в нашей юности — и никогда после» (там же), а в юности то он как раз и «рос на Ветхом и Новом заветах, на житиях святых и церковной истории» (там же). Очевидно, «неясный вопрос» не дает покоя семидесятилетнему старику потому, что и сейчас, как в юности, где-то в закоулках своей души он чувствует, что Христос являлся миру, но боится признаться себе, ибо такое признание изблещило бы его как павшего ангела и антихриста.

Так, наделив безбожника чертами «человекобога», посягающего на «божественное право» бессмертия, писатель раскрыл духовную биографию Иосифа Джугашвили в плане богоборчества, соперничества с Богочеловеком, как борьбу против Христа.

Можно предвидеть возражение, что по чисто «историческому» смыслу «Легенды» Сталин должен быть отождествлен не как прямой наследник католического сановника, а как один из строителей новой, атеистической и социалистической, Вавилонской башни. Это о них Великий Инквизитор предрекал своему узнику, поначалу как бы отгораживаясь от них:

«Знаешь ли Ты, что пройдут века, и человечество провозгласит устами своей премудрости и науки, что преступления нет, а стало быть, нет и греха, а есть лишь только голодные. «Накорми, тогда и спрашивай с них добродетели!» — вот что напишут на знамени, которое воздвигнут против Тебя и которым разрушится Твой храм. На месте храма Твоего воздвигнется новое здание, воздвигнется вновь страшная Вавилонская башня...»⁹

⁹ Братья Карамазовы. Т. I, стр. 330.

Большевицкая революция на самом деле произошла под знаменами земных хлебов, на самом деле разрушила «храм» православного христианства в России, и Сталин на самом деле титуловался Великим Зодчим «светлого здания социализма». Символическим актом победы атеизма в России было разрушение, по приказу Сталина, Храма Христа Спасителя в Москве. Этим разрушением символика, однако, не кончилась. Вместо взорванного храма предполагалось воздвигнуть, в пущее досаждение Христу, атеистический Дворец Советов, но возникли какие-то непредвиденные трудности, и в конце концов, уже после смерти Сталина, котлован был использован для строительства плавательного бассейна. Любопытно, что в романе Сталин хочет «домучиться» до девяноста лет между прочим и потому, что «не достроено здание» (т. 3, стр. 159). Из контекста ясно, что если речь и не идет о Дворце Советов как таковом, то все-таки это намек на «светлое здание социализма». И беспокоится Сталин не зря. Ведь согласно предречениям Великого Инквизитора, здание-то никогда и не будет достроено, во всяком случае не первоначальными зодчими. Только лишь после того, как станет ясно, что они не в состоянии обеспечить народ обещанными «хлебами» (и это подтверждается историей год за годом), голодные «отыщут нас тогда опять под землей, в катакомбах, скрывающихся (ибо мы будем вновь гонимы и мучимы)», предрекал Великий Инквизитор от лица «христиан» своего толка. «И тогда уже мы и достроим их башню, ибо достроит тот, кто накормит, а накормим лишь мы, во имя Твое, и солжем, что во имя Твое»¹⁰. Итак, несмотря на то, что сталинская «инквизиция», террор и чистки с чисто исторической точки зрения кажутся несовместимыми с инквизицией «католического кардинала» и Великий Инквизитор как бы даже осуждает «бесчинства свобод-

¹⁰ Братья Карамазовы. Т. I, стр. 330.

ного ума», «науки» и «антропофагию» атеистов, их цели и метафизическая сущность одни и те же. Открыв духовное родство между такими клерикальными пастырями как Великий Инквизитор, с его «христианством» без Христа, и такими социалистами-атеистами, как Шигалев, с его «земным раем» без Бога, Достоевский предвидел возможность слияния этих казалось бы разнородных сил. В романе Солженицына на этот раз атеист как бы делает шаг навстречу кардиналу из «Легенды». Отступившись, как и кардинал, от Христа на деле, он правда пока еще лжет не во имя Христа, а во имя Ленина и Маркса, но уже заигрывает с Московским патриархом, провозгласившим его «Богоизбранным Вождем».

Кстати, можно добавить, что хотя по размаху замысла солженицынский Сталин представляется прежде всего эпигоном и духовным отпрыском Великого Инквизитора, нетрудно обнаружить в нем и черты «прямых» социалистических «бесов» и безбожных «человекобогов» Достоевского. С Шигалевым, например, он разделяет, помимо неприятного физического облика, апломб великого философа и страсть к наукообразному догматизму. Как Шигалев признавался: «Я запутался в собственных данных, и мое заключение в прямом противоречии с первоначальной идеей, из которой я выхожу», и тем не менее имел наглость заявить, что «кроме моего разрешения общественной формулы не может быть никакого»¹¹, так и Сталин упрямо пытается заложить марксистские основы языкознания, хотя у него язык заплетается и он сам признается: «Чёрт его знает, тупик какой-то» (т. 3, стр. 137). С Петром Верховенским его роднят такие черты, как банальность, посредственность, жестокость, подозрительность, любовь к заговорам и коварство. Любопытно, что как фамилия у Петра намекает на его желание «верховенствовать», а также и на поверхностность его ума, так и Вождь эгалитарно-

¹¹ Бесы. Т. I, стр. 427.

го движения из всех дореволюционных слов больше всего умиляется словом «верховный». К тому же его преданность идее так же сомнительна, как у Петра. Что касается бонапартистских планов Сталина, то, помимо их сходства с «кесарскими» устремлениями Великого Инквизитора, напоминают они и мечты Раскольникова. Наконец, как уже было упомянуто, Сталин показан таким же оппортунистом, как «семинарист-карьерист» Ракидин. Подводя итог, можно сказать, что Сталин у Солженицына являет собой не только духовного отпрыска и эпигона Великого Инквизитора, но и исторический гибрид целого ряда «бесов» и «человекобогов» Достоевского.

Указанные выше сходства и совпадения в характеристике Сталина у Солженицына с определенными чертами героев Достоевского восходят, в конечном счете, к существенному сходству тех идей, которые они воплощают. Эти идеи сводятся к тому, что коль скоро человеческое счастье «раз и навсегда» и для всех определяется как счастье набитого брюха и затем провозглашается самозванными «благодетелями» наивысшей целью истории, все средства хороши для достижения этой цели. Выражаясь языком метафизики Достоевского, эти идеи, независимо от того, обряжались ли они в кардинальскую сутану или в гуманитарное красноречие социалистов, были отмечены знаком сатаны и антихриста. В нашем же веке они получили название тоталитаризма, независимо от того, продавались ли они под вывеской Третьего Интернационала в Москве или под маркой Третьего Рейха в Берлине. Изобразив Сталина в романе «В круге первом», Солженицын как бы продолжил — для нашего века — работу Достоевского по сдиранию с волка овечьей шкуры. Не его вина, что «шкура» эта оказалась неразличимой от красного знамени. Установив существенное сходство между сталинизмом и сатанизмом, писатель земли СССР бросил вызов не только наследникам Сталина в Кремле, но и коммунистам все-

го мира, вызов, который они не осмеливаются ни открыто принять, ни отвергнуть.

Хотя вопрос остается открытым, стремился ли Солженицын сознательно придать Сталину определенные «бесовские» черты и тем самым сблизить его с пророческой фантазией Достоевского или диктатор на самом деле унаследовал их от литературных и внелитературных «бесов» вместе с генами их идей, сходство это едва ли можно отрицать. Кроме того, сатанинские контуры и краски этого портрета как нельзя лучше подходят к inferнальной атмосфере Первого Круга. Они как бы восполняют новым смыслом и прямые ссылки писателя на дантовский «Ад» и на гётевский «Фауст». Описание ночного кабинета диктатора, например, несмотря на обилие реалистических деталей, напоминает читателю о дантовской Джудекке, откуда Люцифер в муках правит Адам. Правда, если дантовский сатана наказан Богом и обречен вечно сидеть в замерзшем озере Коцитте, то Сталин сам себя заковал на «собачью старость» и «беспомощный ужас» в беспространственном кабинете:

«Пространство им самим было названо коренным условием существования материи. Но овладев его сухой шестой частью, он стал бояться его. Тем и хорош был его ночной кабинет, что здесь не было ПРОСТРАНСТВА» (т. 3, стр. 139).

Более того, создается впечатление, что Сталин создал преисподнюю именно там, где он помышлял построить «земной рай», то есть в «свободном» обществе. Там же, где он замышлял создать ад для инакомыслящих, то есть в девяти кругах шарашек и лагерей, существует большая свобода, и он не властен над совестью своих узников. Как гётевский Мефистофель «часть силы той, что без конца творит Добро, всему желая Зла», так в романе Солженицына «злые» замыслы Сталина насчёт шарашек приносят, ему вопреки, один «добрый» результат: шарашки были единственными в стране островками, где цвет русской интеллигенции был собран вместе,

мог кое-как общаться и смел порой свое суждение иметь и отвечать на сталинский идеологический монолог, заглушивший голоса всех «свободных» граждан. И автор романа делает все, чтобы донести до читателя «многоголосие», или полифоничность, ответов из шарашки. Именно с «того света» доносятся до читателя голоса и коммуниста Рубина, и «мракобеса» Сологдина, и «идеалиста» Нержина. В многообразии и независимости их идеологических голосов состоит полифонический замысел романа, о котором автор говорил в своем интервью словацкому журналисту Павелу Личко¹².

Что касается солженицынского портрета Сталина, то сам по себе он едва ли может считаться главным мериллом успеха полифонического замысла романа, каким является Великий Инквизитор для «Братьев Карамазовых». Нетрудно было бы указать, например, что для портрета Сталина не характерна та двусмысленность, которая позволила критикам приписывать Достоевскому взгляды его литературного героя. Кроме того, острая ирония и сарказм Солженицына по отношению к своему герою кажутся несовместимыми с той «объективностью», которая отличает подход Достоевского к его «героям идеи». Нужно помнить, однако, и то, что и у Достоевского не все герои настоящие «герои идеи». И Солженицын отнюдь не ставил себе задачи изобразить Сталина героем коммунистической идеи. Снова и снова писатель напоминает, что Корифей марксизма-ленинизма серьезно отклоняется от всех основоположников этой идеологии. Писатель особенно подчеркивает расхождение Сталина с Лениным, чьим «верным учеником и продолжателем» диктатор был официально провозглашен. Весьма знаменательно, что как Великий Инквизитор хотел «исправить» Христа, так и Сталин умиляется мыслью о том, «как часто он серьезно предупреждал и

¹² Один день у Александра Исаевича Солженицына, «Посев», № 25/1967.

п о п р а в л я л (выделено мной. — С. Р.) слишком доверчивого, опрометчивого Ленина» (т. 3, стр. 125). Одно из этих расхождений раскрывает именно оппортунизм «верного ученика»:

«Если вспоминался семнадцатый год, то — как приехал Ленин и своими самоуверенными тезисами перевернул, что было до него, и как смеялись над Сталиным, что он предлагал растить легальную партию и жить с Временным правительством тихо-мирно» (т. 3, стр. 128).

Ленинскому лозунгу «Каждая кухарка должна управлять государством» Сталин противопоставляет свою «сотню тысяч» кадровиков «в привычных руках Вождя», и затем уверяет, что «тут Ленин напутал, только рано это говорить» (т. 3, стр. 134). Не умри Сталин три года спустя, не исключено, что и Ленин мог бы посмертно попасть в какую-нибудь антипартийную группу. Таким образом, Солженицын замыслил и нарисовал Сталина не героем идеи, а лжегероем лжеидеи, то есть мошенником, подхватившим идею, которая развязывала руки именно мошенникам. Если о Рубине можно сказать, что он на самом деле одержим идеей коммунизма, как одержим своими идеями Иван Карамазов или Кириллов, то Сталин, наоборот, единолично насилует эту идею, пользуется ею для утоления своего властолюбия. То, что Достоевский устами Алёши сказал о «тайне» Великого Инквизитора — «Самое простое желание власти, земных грязных благ, порабощения...» — вполне применимо и к его историческому эпигону.

Крест и камень

(О романе В. Максимова «Карантин»)

И проходя увидел человека, слепого от рождения. Ученики Его спросили у Него: Равви! кто согрешил, он или родители его, что родился слепым? Иисус отвечал: не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нём явились дела Божии.

От Иоанна, IX, 1-3

Тем, кто успел полюбить роман В. Максимова «Семь дней творения», проникнуться его тоской по изначальной религиозной цельности человека, перестрадать русскую действительность от революции до наших дней, — возможно, новый роман писателя «Карантин» задаст новые загадки, а у некоторых вызовет и недоумение.

И правда, на первый взгляд новый роман Максимова конструктивно и идеологически не есть продолжение тех духовных, онтологических задач, которые запечатлены писателем с такой поразительной художественной откровенностью в «Семи днях творения», обогащенных к тому же изнутри лучшими традициями русской прозы XIX в. и свободных от затормаживающих влияний прозы двадцатых и тридцатых годов, чуждой всякой религиозной проблематики. Я уже пи-

Эта статья получена из России, печатается под псевдонимом. См. статью того же автора в «Гранях» № 89-90. — Ред.

В. Максимов. Карантин. Изд-во «Посев», Франкфурт-на-Майне, 1973.

сал, что роман «Семь дней творения» был нацелен на оформление глубоких религиозных переломов, означенных в наше время. Многим казалось, что в своем поступательном развитии творчество Максимова будет тяготеть к воплощению такого совсем нового религиозного типа, в котором совершилось бы христианское «восстановление» (Ф. М. Достоевский). Эта проблема — может быть, центральная духовная проблема современности — была близка Максиму в первом романе, или, лучше сказать, к этой проблеме Максимов прикоснулся через тему «восстановления» в психологическом срезе. Через род Лашковых выдвигалась идея «попранного человека», униженного или угнетающего, неважно, ибо и тот и другой одинаково «попраны» через свое отпадение от веры. На эту мысль наводило и то мастерство, с которым писатель закрепил психологические типы наших современников, построил характеры героев, сквозь психологическую полноту которых начинало уже просвечивать то осмысление, которое рождает сложный мир религиозной проблематики. Что ж, подобное ожидание свидетельствовало бы лишь о глубокой заинтересованности творчеством писателя, если бы в психологию современного человека не вкоренилась некая воинственная требовательность, прочное сознание превосходства читателя над писателем. Нечего и говорить, что подобное «ожидание» есть своего рода тайное посягательство на свободу писателя, хоть и отличное от того явного, которое уж слишком знакомо нам; таким читателям и судьям не под силу понять писателя «перспективно», то есть попытаться вникнуть в его сложный и загадочный путь. Кстати сказать, бесконечное и трагическое одиночество честного и мыслящего современного художника, будь то Максимов, Солженицын или кто другой, как раз и объясняется этим требовательным «ожиданием»; в наше время читатель понял, что и сам он важная вещь, что писатель для него одного и существует. Такой чи-

татель сразу торопится что-то противопоставить, выскочить с каким-нибудь критическим вызовом, что, дескать, я того или иного писателя не приемлю, словно в этом и впрямь есть нечто замечательное, а не одна пустая гордыня. А познание истинного пути писателя всегда давалось через сочувствие и приятие в свою душу его проблем и тревог. Поэтому, я думаю, читателям, сочувствующим Максиму и его проблематике, а не только воспринимающим его роман в сфере общественной жизни, станет ясно, что такая видимая отдаленность «Карантина» от «Семи дней творения» объясняется попыткой писателя освоить те явления, которые будут ему необходимы (и уже необходимы сейчас), может быть, как раз для создания нового религиозного типа. И это не означает, что «Карантин» имеет какое-то служебное назначение, ничто не говорит о его переходности. Напротив, в «Карантине» ставится и резко означает внутренняя тема — тема *покаяния*. В первом романе герои Максимова — страдающие, пытающиеся осмыслить катастрофические события — загнаны в тупик своего нерелигиозного сознания; роман в целом скорее онтологичен, чем антропологичен. «Карантин» же полон одной внутренней темой — *покаянием*, и она напряженно стремится перерасти в проблему.

С этой внутренней темой крепко спаяны и конструктивные особенности поэтики романа «Карантин». Какова ни была бы форма покаяния, она требует жесточайшей обнаженности (отсюда — происхождение того событийного ряда в романе, который свидетельствует о предельном падении человека), душевной и событийной, потери чувства «устойчивости бытия», отворачивания к этому бытию, ослепленности им, отталкивания от него и вечной прикованности к нему. В отличие от «Семи дней творения», в «Карантине» тема покаяния раз и навсегда определила единичность смысловой установки; отсутствие контрапунктического насыщения дало сюжету романа однозначность, но зато в сфере

этой однозначности тема покаяния нашла предельное обогащение, развитие вглубь. Кстати, «Карантин» Максимова может научить, как полезно современному роману сознательное сужение темы как неперменное условие его глубины. Понятна и активность событийного ряда — из глубины темы вырос сюжет, а не сюжет определил тему. Вся поэтика романа представляется драматургической: событийный ряд замыкается внутри самого себя, сообщая лишь свою энергию последующему развитию романа, введение фантастического элемента (исторические вставки, Иван Иванович, сон о Возмездии), который, казалось бы, не лежит в структуре самого романа (как в «Мастере и Маргарите» Булгакова) и драматургически служит ускорителем, способствует созреванию темы, минуя ее психологическую оснастку. Как и в драме, психологические линии остаются неслиянными, находя свое разрешение только в действии...

Но ведь этот разнородный материал — а Максимов как бы усиливает ощущение чуждости событий еще и тем, что заставляет соседствовать их, на первый взгляд чуждых друг другу, даже противоположных — сплавляется драматургически, в том стремительном внутреннем действии, в котором смешиваются сон и явь, безумие, реальность и мнимость, реальность, ставшая мнимостью, мнимость, оказавшаяся горше любой реальности. Противостояние таких «действ», как повесть о «тихом семинаристе» и рассказ о похоронах Гершензона, снимается не их реальной в романе значимостью, а их отношением к теме покаяния. Любая ложь или неправда, моральная грязь и падения, чем они глубже запечатлены, тем более вероятна возможность покаяния. Таков «апофатический» путь современного покаяния, — и у кого хватит сил отрицать этот факт? Кто упрекнет Максимова в том, что вся чернота современной жизни, как деготь, залила его страницы? Тот, чей вкус оскорбится главой о Сильве, — не должен ли

он сперва восскорбеть о безмерном унижении человека, о скотском падении «одного из малых сих»? И не должен ли он расслышать глухой, полный отчаяния зов писателя к той теме, которая мучит его на протяжении всего романа?

Однако, при всех драматургических свойствах, «Карантин» остается именно романом, причем романом новейшего типа, где-то отдаленно перекликающимся не только с традицией русского романа, но и европейского последних десятилетий. Я думаю, что драматургизм романа связан с обособлением темы покаяния. К нему приложимо то определение романа, которое выдвинул еще в начале века Вяч. Иванов, характеризуя его как «знаменосца и герольда индивидуализма; в нем личность разрабатывает свое внутреннее содержание, открывает Мексики и Перу в своем душевном мире, приучается сознать и оценивать неизмеримость нашего микрокосма». В потоке событийного действия индивидуальности (герои) как бы концентрируются, насыщаются собственной судьбой; то, что казалось бессмысленным, случайным, давно забытым в их жизни, вновь возвращается к ним, создавая реальную почву для покаяния; они еще не в силах глубоко почувствовать греховность своей индивидуальности, так как было затерто и утеряно чувство самой личности, ценности собственного бытия. И как это ни может показаться странным, «знаменосец и герольд» индивидуализм — их первый шаг на долгом пути покаяния. Самоутверждение героев поможет им *полюбить* свои несчастные судьбы, исполниться той *amor fati**, которая в начале религиозной жизни должна противопоставить их бессмыслице, разврату, безлюбовной тягостной атмосфере, в которой они пребывают. Через *amor fati* героев идет тот процесс самосознания, духовного примирения с миром,

* Любовь к судьбе (лат.). — Р е д.

когда проблема покаяния становится внутренним принципом сознания.

В чем заключается сущность покаяния в романе «Карантин»? В какие оно облекается образы? Каково духовное содержание этой темы? Перерастает ли она в проблему, или, иначе сказать, возникает ли она как *идея* покаяния?

Прежде чем ответить на все эти вопросы, необходимо отметить одну специфику современного религиозного сознания.

Тот промежуток, который отделил нас, быть может, только видимо, от христианского мира, сформировал качественно новое сознание, а-историческое, утопическое с одной стороны (самой обширной), либо изуродовал и ослабил сознание, сформировавшееся еще на духовно-культурной традиции начала века.

Указанные мною два типа сознания являются наиболее стандартизованными, но, вне всякого сомнения, ими не исчерпываются в целом: истинно христианское сознание не исчезло, православная мысль ушла в подполье, там утвердилась и очистилась от множества соблазнов, или, лучше сказать, излишеств, и, крепко вкоренившись в русскую почву, со временем даст щедрые плоды. На наших глазах происходит глубокий процесс духовного перерождения людей. Вчерашние атеисты, богоборцы, либо попросту равнодушные к любым религиозным явлениям идут в Церковь. У них нет ни инерции духовной традиции, ни, тем более, прочного религиозного возрастания. Им трудно; их путь зачастую трагичен. Максимов пока не затрагивает эту сложнейшую и интереснейшую проблему «неофитов». Надо полагать, это не входит еще в его задачу. Но специфика религиозного сознания новообращенных как-то свяжется с психологией героев романа «Карантин», есть много схожего в формах покаяния.

С другой стороны, можно заметить, что Максимов, художник необыкновенно чуткий к духовному состоя-

нию нашего общества, не обращается к теме «неофитов» именно потому, что этот процесс еще в самом обществе духовно не оформлен.

Вообще тема покаяния одна из самых сложных тем христианской литературы. Среди множества разработок можно было бы выделить две в качестве образцов — попытки покаяния Раскольников (у Достоевского) и Нехлюдова из «Воскресения» (Толстого). После того, как Соня читает убийце главу о воскрешении Лазаря и велит ему землю целовать, он на базарной площади опускается на колени и под гиканье и смех зевак трижды лобызает землю, как бы возвращая ей свой грех. Здесь поражает гениальность духовного запечатления яростной души Раскольникова, его попытка к покаянию, может быть, и не свершившемуся. Раскольников к покаянию ведется Соней, «евангельской душой», его попытка покаяния и унижение связаны с прочным ощущением своего греха перед землей, а не перед Христом. Истинное покаяние, церковное, ему еще не под силу. Он в грехе перед людьми кается, не перед Богом. У Нехлюдова чувство стыда и вины перед Катей Масловой замыкается внутри его самого, по сути дела лишь увеличивая грех эгоцентризмом этих чувств. И нельзя не признать, что в этом замечательном романе Л. Толстой несколько искусственно дарует герою покаяние. Я еще вернусь к толстовскому разрешению этой проблемы.

Героев Максимова, Бориса Храмова и Марию, проживших полжизни впустую, встретивших и любивших друг друга, роднит между собою глухой протест против того безобразного существования, которое привело их к осознанию невозможности жить так дальше. Внутри них происходит какая-то борьба, часто выражающаяся в немотивированных поступках, — так они влачат страшное и унылое богооставленное бытие. Отказ этот не связан ни с *Umwertung aller Werte** в

* Переоценка всех ценностей (нем.). — Р е д.

прямом смысле, ни с благодатным внутренним преобразованием. «Тяжесть бытия», бред, разврат, пьянство, прелюбодеяния проходят через всю их жизнь и достигают такого предела, когда возникает «животворное чувство вины перед близкими». Сущность их покаяния адекватна возвращению к первоосновам бытия. В сознании Бориса (хотя авторская смысловая установка не снимается полностью) возникают видения, история его рода Храмовых, «из которых на земле» он «остался один». Да, возникновение подлинно религиозного сознания и характеризуется отказом от ложных ценностей и прикосновением к «первоосновам бытия», из которых понятия Рода, исторического родства имеют огромное значение. Сперва Крещение Ильи, первого из рода Храмовых, еще в ту пору, когда «стараниями греческих монахов по киевским городищам стал укрепляться соблазн новой веры, именуемой ими христианской» (стр. 21), потом Кирилл Храмов, «пострадавший за веру» при Петре, и многие другие... Эти «исторические сны» восстанавливают историческую перспективу бытия самого Храмова, «ускоряют» процесс его самосознания, приоткрывают завесу смысла бытия... В этом приеме опять сказывается драматургизм романа: «исторические сны» Бориса Храмова — это не *Doppelbewußtsein**, не подведение мировоззренческого пласта, а как бы исполнение действия в тот момент, когда психологически ситуацию героя надо снять с мертвой точки. Появление чувства *рода* в а-историческом сознании — первый шаг к утверждению положительных религиозных ценностей, недаром монах в сне о Крещении, открывая Илье запредельные тайны, говорит: «Я буду рядом с тобой... Везде... Всегда...» (стр. 26). В этих «исторических снах» Бориса, как я уже сказал, везде ощущается авторская смысловая установка, и это органично связывается с уровнем сознания героя. Ведь в нем

* Двойное сознание (нем.). — Ред.

только что проснулось чувство, «животворное чувство вины перед близкими»; неслучайно образ самого покаяния расплывчат и надрывен, он еще не отлился в подвижную и, вместе с тем, твердую форму идеи покаяния, это еще *материал* идеи. Поэтому Борис нуждается в Иване Ивановиче, некоем «добром спутнике», существующем лишь как «знак», как «зов», просвещающем Бориса духовно, ибо и у него покуда еще «попытка покаяния». Но как свидетельство о том, что этому огню не дано будет угаснуть, автор в заключительных главах дарует ему видение «своих ближних», которые шли «к Нему» (то есть к Спасителю). Борис узнает, что «страдать — значит любить» (хотя страдать лишь во имя Христа означает — любить), и с ним — «Его Любовь». Оттого, с «благодарным замиранием сердца» и вырывается у героя освободительный зов: «Слава, слава Тебе, Господи, за то, что Ты породил меня и спас!» (стр. 362).

В этих словах Бориса Храмова, которыми оканчивается роман, заключено всё духовное содержание образа покаяния в романе. Я думаю, что Максимов и не преследовал иной цели, как высветить то дно человеческого сознания, из которого пробиваются ростки религиозного сознания. Покаяние Бориса означено как перелом, катастрофа изнутри, и сквозь распадение «ветхого человека» как залог нового его возрождения прорываются ликующие слова о Господе. Герой Максимова не идеологичен по существу; в нем не совершаются трагедии воли или самосознания, выбора или неверия. Я думаю, Максимова более всего вело желание показать человека, пробудившегося от безрелигиозного сна. С этой точки зрения становятся понятными и абсолютно оправданными отсутствие психологической мотивировки этого процесса, который автор так сознательно ускоряет, и та свобода, с которой явлен этот образ покаяния, и не только понятными, но и художественно, идеологически точными. Борису еще неведом

свет мистической реальности покаяния, который возникает от сознания, что «приблизилось Царствие Божие». Покаяние Бориса облеклось пока в довольно смутные мистические очертания, оно персоналогично лишь в сфере душевного переживания.

Тем же возвращением к «первореальности» означает и характер Марии; в ее любви обнаруживается жертвенность по отношению к Борису именно тогда, когда в ней возникает чувство ценности их любовных взаимоотношений, полных каким-то смыслом, еще неясным для нее самой. Правда, подчас слишком трудно уловимая черта отделяет любовь Марии от тех «пресных» влечений, которыми полна ее жизнь. Ее так же мучает бес сладострастия, как Бориса — идея бессмысленности и абсурдности бытия; бушующая и сгорающая страстями плоть и не может осуществить иначе попытку покаяния, как осознав «жертвенность» своей плоти, ее связь с высшими жизненными началами. При всей определенности характера Марии, в ней есть какая-то трудно понимаемая затаенность, быть может, связанная с тем, что многие в ее жизни (в том числе и Борис Храмов) ищут *просветиться* через нее, или, иначе говоря, в Марии больше, чем в других, сохранена тяга к «первоосновам бытия». Сознание ее не омрачено теми ложными ценностями, которыми мучаются и Храмов, и Жгенти; она, чуть ли не единственная из всех героев, виновна лишь перед Богом, не пред людьми, ее душа обессилена бесплодной борьбой «с человеками». Ее грех, сколь великим бы он ни был, не породил в ней конструктивного греховного сознания, в котором растворяется и само сознание греха. Грех, порожденный демонической мнимой силой, всегда будет отчаянней и упорнее противиться покаяниям, чем идущий от слабости человеческой, от безмерной униженности человеческого. Марии поэтому легче дается попытка покаяния, ибо для нее естественна любовь, хоть и оболганная, нечистая.

Вероятно, для того, чтобы реализовать в своих героях эту попытку покаяния, автор должен был дать универсальный образ покаяния, его «точку отсчета», мыслимую в романе, осуществить его в духовной структуре романа. Таким универсальным образом, — по воле автора или вне ее, — получилась глава «Преображение тихого семинариста». В ней Максимов пытается не только определить самую меру покаяния, но и вскрыть его психологический механизм (причем трудно судить, является ли смысловая установка авторской или в данном случае она сдвигается) на тех событиях, которые так трагически отразились в сфере религиозного бытия.

Жизнь и личность Сталина, безусловно, представляются каким-то загадочным, трудно уловимым явлением. «Историческое» понимание всегда будет по сути механистическим, этическое — односторонним. Нам понятен Иван Грозный, Петр I, Павел I, Распутин, явления, может быть, глубоко отрицательные, но прочно связанные с русской почвой и выражающие различные идеи соблазна русского сознания. Сталин же — птица залетная, всё его существо было противоположно русской действительности, и тем не менее она надолго «очаровалась» им. «Заплакал ли народ по своим старым богам» (Ф. Достоевский) или изнемог он под бременем мессианского назначения, но, уйдя от Христа, он непременно должен был «очароваться» существом, наиболее далеко отстоявшим от него, ничем не связанным с ним. Причем сама судьба и личность Сталина были слишком подходящими для тех, кто собирался пустить «Ивана-Царевича» через грады и веси как новое, никому не знакомое божество, в которое, однако, непременно все уверуют. Сталин — это какая-то жуткая загадка русской действительности, и вполне понятно, что этот человек будет привлекать внимание тех, кто пытается понять и выразить загадки нашей действительности.

Та мифологема, которую строит автор, может многое прояснить не только в личности Сталина, но и в мере покаяния, им утвержденной. Но, отталкиваясь от концепций «исторических», автор исходит из тех духовных положений, с которыми никак нельзя согласиться. Если Жгенти видит в Сталине причину всех несчастий, то, конечно, лучше определить меру покаяния (т. е. ее безмерность), утвердив прощение и этому человеку, вина которого неопределима. Священнику, рассказывающему повесть о семинаристе, с самого начала должно быть известно, что не существует в сфере христианского сознания принципиально непрощаемых людей, и не тяжесть греха, а мера покаяния определяет прощение. Жгенти относится к вине Сталина вполне безрелигиозно, для него мифологема священника не только не изъясняет, но как бы и усугубляет вину Сталина перед людьми. Священник выбирает Сталина, может быть, потому, что в глазах Жгенти и ему подобных Сталин — предел человеческой злобы; но и такой человек, свидетельствует священник, достоин прощения, если в нем не умерло покаяние. «Лишь бы покаяние не ослабевало в вас», учат святые отцы. В том, что священник, которому важно запечатлеть в сознании Жгенти всю беспредельность меры покаяния, выбирает именно Сталина как предел падения человеческого, есть большая правота, ибо в сознании Жгенти как раз общественно-социальное зло является чем-то автономным, непрощаемым. Но вот образ духовного становления и падения Сталина представляется совершенно неприемлемым.

Этому «тихому мальчику с недюжинным для его лет умом», с «болезненным самолюбием», штудирующему «святоотеческую литературу», открываются «горные истины... во всей своей красоте и величии»; и даже «в минуты наивысшего просветления и подъема пастыри Царствия Божьего являют ему свой запредельный лик». Но в рвении своем он возжаждал «превзойти

всё содеянное святыми отцами во имя Господа» (стр. 83-84).

Можно, не колеблясь, утверждать, что открытие «горних истин», то есть осенение Благодатью Божией, может внушить только смирение, любовь и молитву, а отнюдь не жажду превосходства, да еще над святыми отцами, конечно, если «дорогие истины» — мистическая реальность, а не метафорическое определение. Духовная форма становления семинариста внутренне недостоверна; не от Бога является «тихому отроку» понимание, что «подвиг Иуды, предавшего себя на позор и проклятие ради утверждения славы Христовой, не кажется ему пределом самоотречения» (стр. 84). Он взывает «к Господу, моля Его о непосильном для других кресте» (там же). Услышав «явственный голос: «иди на Афон», отрок попадает в Ново-Афонский монастырь, где знакомится «со знаменитым... старцем Игнатием» (там же). На исповеди отрок открывает свое желание принести «жертву, которой нет равных со дня Вознесения Христова» (стр. 85). И старец Игнатий посылает «тихого семинариста» в мир, чтобы своим отречением, своим непосредственным участием он остановил людей, которых гонят «бесы корысти и гордыни» (там же), ибо если не остановить их, рвущихся к пропасти, т. е. к устройению на земле, они погибнут, «свет уйдет из мира, и воцарится тьма» (там же). Но остановить их можно лишь теми средствами, по мысли старца Игнатия, которыми пользуются они сами в борьбе с Богом: предательством, кровью, насилием. «Мы спасем их души, тела же пусть примут всю меру страданий, какую уготовили они для других!» (стр. 86). Следовательно, Игнатий посылает отрока не для их спасения (раз души «спасем»), а для отмщения заблудшим насильникам. И сам Игнатий, стало быть, уже не верит в действительность евангельской проповеди и Христовой любви и признает реальными средствами те же насилие и преступление? Разве он не знает, что «во все века не кнут,

а музыка» (Б. Пастернак) поднимала людей? Может ли христианин утверждать, что «если человеку не достало крови Спасителя, чтобы прозреть, пусть умоется он своею собственной»? (там же). Разве он не знает, что Кровь Спасителя «мир спасла», не метафорически, а реально; умывшись же собственной кровью, человеку достанет сил лишь для того, чтобы возжаждать мести. Если Великий Инквизитор ненавидел и боялся Христа потому, что «разумное устройство» вне Спасителя казалось ему единственным спасением, то Игнатий вроде не чужд Христу; но отношение к человеку у него столь же отрицательное, безлюбное и презрительное, как и у Великого Инквизитора. Жаль, что Максимов не развил положения Игнатия более определенно, ибо его система взглядов могла бы свидетельствовать о той опасности, которая стала реальной в наши дни, когда христианская мысль так переплелась с определенным правовым сознанием. Но как бы там ни было, тема Игнатия глубже и могущественней темы «тихого отрока», возжаждавшего жертвы, хотя и на первоначальном становлении, без горних истин, христианину ведомо, что «жертва Богу дух сокрушен: сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит». Преображения не получилось, ибо семинарист, достигнув высшей власти, устав от кровопролитий и насилий, следующих одно за другим, исполняется удушливым страхом, его гнетет единственный вопрос: «кто, где и почему подвинул его через случайного анахорета на это крестное восхождение?» (стр. 89). Этот единственный вопрос предполагает ответ — через собственную демоническую гордыню; но для того, чтобы показать покаяние души, опутанной столькими преступлениями, нужно писать другой роман, поэтому Максимов метафорически снимает столкновение «единственного вопроса» и гордыни «тихого отрока»: в считанные минуты перед «небытием» ему видится Спаситель, пришедший «подарить мир» его «смятенной душе». «Подвиг проклятия» оказался

сатанинским подвигом, актом гордыни, но не неверия или ненависти к Христу. Не потому ли рассказ молодого священника приводит в бешенство Жгенти, чье безрелигиозное сознание требует «ответственности» и «мести»? Правда, точка зрения молодого священника внутренне совершенно одинакова с концепцией Игнатия: он тоже считает, что люди «ничему... не научились» и «другого выхода нет». Он тоже готов к «кровавому усилию» единения с Христом, путем насилия и наказания. Чем объяснить психологически эту структуру образа священника, у которого совместились в сознании правовые и христианские пласты? Не тем ли, что этот молодой священник, хоть и бегло, но точно оформлен как тип современного новообращенца, который и «первым атеистом считался», и слыл в школе будущим Эйнштейном, но после остающихся нам неизвестными внутренних катастроф в «Духовную Академию подался» и со всем пылом неопита перенес методы осуществления прежнего своего мировоззрения в новую духовную сферу, где всё — Любовь, Свобода и Всепрощение, где любое насилие, совершайся оно даже во имя Христово, будет всегда противоположно Ему?

Проблема покаяния всегда тесно связана с проблемой катарсиса. Этот термин, пришедший к нам из античной трагедии через святых отцов, приобрел в наше время различные смысловые решения, в которых иногда вовсе стирается его религиозная природа (Д. Выгодский). Вяч. Иванов, этот учитель и тайный соблазнитель русским религиозным ренессансом, дал такое психологическое толкование катарсису: «... в нас совершилось какое-то неизгладимое событие, что мы стали отныне в чем-то иными и жизнь для нас чем-то иною навек и что какое-то неуловимое, но осчастливливающее утверждение смысла и ценности, если не мира и Бога, то человека и его порыва, затеплилось звездой в нашей, от чего-то жертвенно отрешившейся и тем уже облагороженной, что-то приявшей и в му-

как зачавшей, но уже этим богатой и оправданной души»*.

Эти слова живо отражают психологическое перерождение героев Максимова. Такое перерождение еще не является нравственным и духовным перерождением, но центр тяжести души героев переместился, и обратного пути нет. Подобно тому, как Л. Толстой лишь проецирует на Нехлюдова идею катарсиса, свидетельствует о его очищении, но не вскрывает его процессуально (и с Нехлюдовым случилось то, что часто случается с людьми, живущими духовной жизнью; случилось то, что мысль, представлявшаяся ему сначала как странность, как парадокс... вдруг предстала пред ним как самая простая, несомненная истина), Максимов одаривает своих героев «очищением», опережая процесс их реального покаяния, как бы торопясь засвидетельствовать, что оно совершается в современном мире; в данном случае его тема покаяния не нуждалась в освоении психологического процесса самого церковного покаяния, покаяния Христу — оно было бы немотивированным, и эта немотивированность не слилась бы со структурой самого произведения, в котором даны души, «что-то услышавшие», но еще не очистившиеся от «болезни» века. Говоря метафорически, они еще не осознали, что «их болезнь — к славе Божией», что их начинающее просветляться страдание — только камень, который они несли всю жизнь, а ныне им предстоит, когда исполнится мера покаяния, несение Креста во имя Того, Кто «победил мир».

* Вяч. Иванов. Борозды и межи. М., 1916, стр. 22. — Н. А.

О русской свободе и русском равенстве

Беседа вторая

В а с и л ь е в. Наша вторая встреча — следствие высказывания Голубева во время первой беседы. Он сказал тогда, что следовало бы найти «синтез и формулу «российской свободы». К этому вопросу можно подходить с разных сторон: постараться найти примеры такой свободы в русской истории — у славянофилов, или у декабристов, или у евразийцев... А можно обратиться, по Федотову, к далеким временам Киевско-Новгородской Руси. Если же рассматривать наше настоящее, следовало бы, вероятно, сосредоточиться на высказываниях Солоухина или на журнале «Вече». А может быть, взять в основу взгляды Солженицына. Или «социал-христиан». Были интересные в этом отношении статьи церковных писателей в «Вестнике РСХД».

Федотов как-то высказался довольно определенно в том духе, что идеей свободы русский народ увлечь нельзя; что в России единственными носителями этой идеи всегда были привилегированные сословия: вначале православная Церковь, затем бояре и дворяне, и наконец интеллигенция, оторванная от народа и поэтому не сумевшая передать ему свои мысли.

Правда, у Федотова есть и другая, несколько провокационная мысль: он ставит вопрос о том, нужно ли связывать русскую национальную идею с имперской

См. начало «Традиционалисты» (беседа первая) в «Границах» № 87-88, 1973. Ред.

и не будет ли отказ от имперской идеи условием очищения русской национальной идеи от того неприятного «привкуса», который в ней имеется.

В наше время такие темы особенно важны: необходимо найти мысли, которые смогли бы помочь той части современных русских «почвенников», которые испытывают определенное тяготение к так называемому национал-коммунизму или к новой «победоносцевщине».

Б е л ь с к и й. Есть еще один подход к теме «русская свобода». Мы уже в прошлый раз упоминали о том, что имеется некое особое мирозерцание у русского человека. Русская душа обладает целым рядом свойств (положительных и отрицательных), которые заставляют по особому рассматривать вопрос о том, чем является свобода для русского человека. Об этом не стоит забывать, размышляя о свободе в историческом разрезе. Выражаясь схематично, западную свободу можно определить как свободу от, в то время как русскую — свободу для.

Г р и н б е р г. Мне нравится ваша формулировка: свобода от и свобода для. Свободу можно рассматривать и как конкретную возможность выбора, например, между злом и добром. А можно пуститься и в область относительного, где уже не свобода (в единственном числе), а свободы, зависящие от конкретных исторических обстоятельств, от отношений между правящими и управляемыми, где возникают в связи с этим уже и другие специфические характеристики. Откуда появилось понятие Свободы с большой буквы? Это — понятие христианское. В древнем мире понятие свободы было по сути дела понятием «привилегии». Слово «свобода», когда его можно употреблять в множественном числе, уже не свобода, а именно привилегия. Во времена древнегреческой демократии такими привилегиями обладала одна элита, остальные же — рабы, иностранцы — этих привилегий не имели.

Г о л у б е в. Утверждение Федотова, что в Киевско-Новгородской Руси были те же элементы свободы, как и в Западной Европе, но что с приходом наследников татарских ханов — московских царей — всех запрягли в тягло и завели свою деспотию и самодержавие, мне кажется неверным. И не знаю, верна ли концепция, по которой теперь в России якобы по-новому зарождаются элементы демократических свобод. Увы, это лишь слабый, хилый росток, который всё время подавляется наследством Московской Руси... Хотя Федотов историк очень хороший, эта схема, на мой взгляд, несколько примитивна. Ведь происхождение демократических свобод — это латинская «libertas», «вольность». И в Речи Посполитой говорилось о вольности, о «вольностях дворянства». Вольность есть прежде всего свобода от определенных обязательств по отношению к государству и к национальному целому, и она рождается из феодализма. Слово «свобода» в русском языке не есть система вольностей, а есть нечто по самой своей природе иное.

Современная проблематика лежит в том, что в национально мыслящих кругах сегодняшней России, при всей их наивности, острое ощущение любви к своему национальному бытию, к России перевешивает жажду интеллигентских вольностей, за которые боролось Демократическое движение.

П о п о в. Когда мы говорим о свободе, мы, разумеется, всегда помним, что свобода городских муниципий, их борьба за независимость, их договоры с представителями феодальной государственности, называвшиеся (напомню) в ранней истории Франции «communes», всё это было началом той большой столбовой дороги, по которой пошло историческое развитие западноевропейских народов.

Еще Г. П. Федотов, следуя, впрочем, за Костомаровым, отметил, что в Киевской Руси на том же основа-

нии, как и на Западе, начали появляться первые побеги свободы.

Совершенно верно, что развитие городского самоуправления у нас началось не позже чем, например, в Италии.

Мы знаем также, что уже в 1136 году в Новгороде произошла первая городская революция. Князь Всеволод Мстиславович был изгнан за то, что он нарушил «commune» (договор), на что ему указало вече. И неслучайно в дальнейшем развитии русской городской демократии в качестве главы государства стал избираться по жребию один из настоятелей новгородских монастырей, ставивший свою архиепископскую печать на все договоры, заключаемые с Новгородской республикой. Православная Церковь активно соучаствовала, была главным духовным началом в развитии этого первого опыта русской демократии, став арбитром в вечевых спорах.

Но утверждая, как и многие другие, что условия для личной и политической свободы исчезли, были сметены татарским нашествием, Федотов прошел мимо, не заметил, что условия, в которых у нас развивалась свобода, были иные, чем на Западе, ибо с самого начала наша государственность была построена на многоплеменной основе. Еще новгородской демократии, в отличие от итальянских коммун, приходилось переносить свое отношение к свободе на племена или народы, обладавшие другой культурой, другой верой, другими обычаями и языком.

С этими проблемами едва ли кто-либо сталкивался на Западе в эпоху первых «communes». А Александру Невскому пришлось обращаться накануне битвы со шведами к старейшине Ижорской земли Пелгусию, охранявшему морские рубежи Новгородской республики. Да и в самой битве отличился Яков, родом половчанин.

Достаточно перечесть «Слово о погибели Руския земли», чтобы убедиться, что уже в середине XIII века

проблему свободы русские люди воспринимали как распространение известных им норм права на равной основе на нерусские племена и народы.

Еще до крещения, когда он стал Филиппом, Пелгусий разделял с русскими ответственность за судьбу земли, «стерег» русскую землю.

С тех пор в России, не без влияния православной Церкви, утвердилась идея равенства. На ее уже социальном профиле настаивают новгородские былины, и для Васьки Буслаева «вольность» совмещала в себе не только политическую свободу, но и социальное равенство.

Равенство как основа справедливости, как условие для существования «вольницы» очень рано вошло в русское сознание, и в этом заключается главное отличие нашего понимания свободы от западного.

Говоря об идее равенства, мы, конечно, исключаем как шигалевское ее понимание, то есть подмену равенства одинаковым бесправием всех перед лицом горсти тиранов-фанатиков, так и ленинское, согласно которому в равенстве (до построения коммунизма) нет ничего, кроме «величайшего обмана».

Мы начали наши поиски свободы в условиях многонационального государства очень давно, может быть, слишком рано и непоследовательно стремясь к созданию сверхнации.

К этой проблеме Европа подошла вплотную только теперь, в поисках путей для экономического и политического объединения на основе Общего рынка, мечтая пока лишь о сверхнациональном правительстве, ответственном перед общеевропейским парламентом. Только теперь в рамках Европейского сообщества некогда гордая Великобритания признает равенство с маленьким Люксембургом, никогда не обладавшим заморской империей.

Мы не всё потеряли, как думают многие, в период татарского ига. Разумеется, в этот период был разру-

шен вечевой строй, и Новгород с Псковом остались исключением из правила, вызывавшим зависть и раздражение. Но идея равенства и справедливого в тогдашних понятиях и условиях распределения ответственности нашла свое отражение при создании централизованного Московского государства.

Академик Веселовский еще в своей ранней работе «Село и деревня в Озеро-Восточной Руси» доказал, что сельская община, на «исконном» происхождении которой строили свои схемы как народники, так и марксисты, была не чем иным, как институтом, введенным при создании тяглого государства.

Только путем ликвидации феодальных привилегий или их строгого ограничения, только при условии выполнения повинностей по отношению к государству всеми без исключения, — считал Ивашка Пересветов, — можно было сохранить справедливость-равенство, без которого в обстановке XV-XVI веков не могло устоять российское государство.

Не месть по отношению к бывшим завоевателям и поработителям, не суды инквизиции по отношению к инаковерующим, а равенство с ними в рамках сложившейся социальной структуры.

Еще до назначения Иваном Грозным Симеона Бенбулатовича в качестве местоблюстителя царского престола, уже при Иване III касимовские татары получали поместья в новгородских тетинах наравне с многочисленными русскими княжатами и просто дворянами, среди которых находилось немало бывших великокняжеских слуг, выделившихся на поле брани.

А ведь касимовские татары перешли на службу к московскому великому князю всего за двадцать пять лет до покорения Новгорода.

Федотов, вслед за Фундаминским-Бунаковым (см. «Современные записки» № 32), утверждает, что Московское государство было восточной тиранией, всех уравнивавшей. В нем не было свободы, но было равен-

ство. Но едва ли Бунаков прав, утверждая, что один из главных устоев свободы — человеческая личность была совершенно стерта и нивелирована в Московском государстве.

В отличие от восточных деспотий духовная свобода в России стойко выдержала все испытания, сохраняясь в лоне православной Церкви. Надо ли напоминать, что шумные и бурные споры между учениками Нила Сорского и Иосифа Волоцкого заполняли русскую духовную жизнь в течение всего XVI века...

Да и о равенстве, как заметил еще проф. Кизеветтер, в Московском государстве можно говорить лишь условно, лишь как о замысле, далеком от исторической действительности. Но тем не менее этот замысел сразу почувствовал и схватил первый теоретик сверхнационального государства Юрий Крижанич, приехав в XVII веке в Россию. Он воспринимал русское равенство как свободу, необходимую для духовного и культурного формирования нового человеческого объединения — сверхнации.

Для этого европейца из южных славян, считавшего, что свобода, обеспеченная законами, «людоство учинит блаженным», было очевидно, что в России существуют предпосылки сочетания свободы с равенством. Недаром он выступал против «людодёрства» Ивана Грозного и опасался русского «чужебесия», которое, как известно, восторжествовало при Петре Великом.

Для Крижанича, хорошо знакомого со свободой, основанной на привилегиях, равенство являлось необходимой предпосылкой для создания сверхнационального государства. С этой точки зрения, указ о вольности дворянству, освобождение целого сословия от обязательной службы было «чужебесием», охватившим Россию в XVIII веке.

Условное, конечно, равенство, которое так горячо защищали Ивашка Пересветов и Юрий Крижанич, было нарушено, и это нарушение привело к пугачёвщине.

История русской интеллигенции не начинается с Симеона Полоцкого, Кантемира и других сподвижников Петра. Мне хотелось обратить внимание на то, что для многих представителей русской политической мысли свобода как понятие была не привилегией, а принципом, в основе которого лежало равенство. Символом его был монарх. Народ разлюбил царя с тех пор, как в XVII веке этот принцип был грубо нарушен. Во имя чего? Еще верховники, предлагая первую российскую конституцию в 1730 году, пытались применить аристократическую формулу неравенства, основанную на привилегиях. Анна Иоанновна, опираясь на дворян, еще помнивших, что они обязаны служить, разорвала эту конституцию. Вероятно, так же поступил бы и Петр I, открывший доступ в дворянское сословие (следуя в этом московским великим князьям) любому способному дослужиться до чина прапорщика.

Либералы в России, — я имею в виду, прежде всего, идеи и идеалы декабристов и славянофилов, — в поисках свободы никогда не исключали сочетания ее с равенством. Но это уже другая тема. Мне хотелось бы только подчеркнуть, что от идеи равенства в русской политической мысли полностью отказались лишь марксисты ленинского толка, стремившиеся навязать диктатуру партии, называемую «пролетарской». К ним примыкали левые эсеры, тоже допускавшие диктатуру одной партии. Едва ли можно поэтому согласиться с модными теперь заключениями о происхождении ленинизма от радикального народничества, никогда не расстававшегося с исторически сложившимся в России пониманием свободы как равенства.

И в сегодняшней России несвобода воспринимается, прежде всего, как социальное неравенство, как неравенство национальное и наконец — ведь мы живем в XX веке — как материальное неравенство по отношению к западному благополучию.

Идея свободы в условиях правового государства зародилась в России, как я говорил, не позже, чем на Западе. На нашем историческом пути на первом плане в течение долгого времени была идея равенства. Откуда она взялась? На чем она основана? Конечно, на Православии. Она пришла к нам из Церкви, а не от татарских ханов.

Будучи пересаженным на русскую почву, византийское Православие развило идею равенства в силу тех условий, в которых оно оказалось в России. Это не так трудно проследить по нашим источникам. И с этой идеей не следует расставаться. Она снова займет свое место, когда вплотную встанет вопрос о нашем участии в создании сверхнациональной государственности. Ведь после создания Европейского сообщества неизбежно, рано или поздно, встанет снова проблема: Россия и Европа.

Г о л у б е в. Великолепные мысли! Мне кажется, в нашей беседе и в самом деле начинает проступать исторический облик нашего специфически русского понимания свободы: не как вольностей, не как привилегий, не как свободы от повинностей, а как свободы служения, как проявления терпимости, как готовности на равных правах тянуть общее тягло.

И тут, прежде чем перейти к современности, мне хочется бросить еще один взгляд еще дальше назад, подчеркнуть еще одну особенность нашей древнейшей истории, отлично укладывающуюся в схему Попова. Я имею в виду еще докиевский период, тот переход восточных славян от племенного устройства к территориальному, который П. Б. Струве так выразительно сравнил с образованием архаических эллинских полисов.

Уже с образованием первых доваряжских княжеств с более или менее очерченными территориями, не всегда совпадавшими с их этническим расселением, славянские племена разных там кривичей, древлян и полян стали довольно быстро терять свои племенные осо-

бенности. Главный город сколько-нибудь значительного первоначально племенного княжества, в котором сидел князь с дружиной и жили именитые семьи с многочисленной челядью и домочадцами, стал превращаться в своего рода столичный центр, господствовавший уже не столько над племенем, сколько над территорией, частично разноплеменной. Как в древней Элладе, племя превратилось в население, а территория стала называться по имени города; сравним: Афины, Фивы, Спарта — княжество Новгородское, княжество Киевское, княжество Смоленское.

Политический строй этих городов-государств определялся конкретным отношением между двумя в принципе самостоятельными источниками власти и права — князем и вече, то есть собранием свободных граждан. Не стоит объяснять, что в этом вече, как в античных полисах, господствовала богатая аристократия, опиравшаяся на свою челядь в городе и зависимое от нее крестьянство вне его.

Примерно так же, как город господствовал над определенной подданной городскому князю территорией, сильный и энергичный князь стремился превратить в своих данников окружающих его более слабых князей. Нет сомнений, что выходящие за рамки племени государственные образования появились у восточных славян не позже IX века. Первоначально это были, вероятно, союзы племен под водительством более сильного, но они очень скоро приобрели территориальный характер и вобрали в себя (наряду со славянскими) туранские, финские, балтийские и норманские этнические элементы.

Уже к середине IX века господствующим городским центром на севере стал Новгород; на юге — Киев, названный князем Олегом в 882 году «матерью городов русских».

Из интеллектуального наследия этого дохристианского периода в России сохранилось два важных момен-

та: привычка мыслить в территориальных категориях и убеждение в служебном назначении княжеской власти. Разумеется, эти моменты никак не были зафиксированы (ведь и русской письменности еще не было), но они в значительной мере определили жизненность зарождающегося русского народа; и в той или иной форме мы будем встречать их снова и снова в русском политическом мышлении. Русский человек и до сего дня лучше слышит зов родной земли, чем голос родной крови, и склонен считать своими всех, кто живет с ним на одной земле, независимо от племенной, а впоследствии и национальной принадлежности. И до сего дня области называются у нас по городам: Смоленщина, Тамбовщина, Полтавщина, — в противоположность Германии с ее Саксонией, Швабией и Баварией, или Франции с ее Бургундией или Бретанью. Само слово «Русь», о происхождении которого спорят филологи, не обозначало ни одно из славянских племен в отдельности, ни даже их совокупность. Оно с самого начала несло в себе территориальный и государственный заряд, и русскими людьми стали называться все, кто живет на Руси, кто населяет русскую землю и исповедует русскую веру. И через полтысячелетия Москва начнет собирать под себя не русских людей, а русские земли...

Идущий из глубины веков перевес территориально-го признака над племенным определил тот национальный и сверхнациональный характер русской государственности, а следовательно, и русской свободы, о которой так хорошо говорил Попов. И мне хотелось только добавить, что уже в докиевский, можно сказать, доисторический наш период, оказавшись на перекрестке исторических путей, поставленные перед пусть неосознанным, но тем не менее важнейшим выбором между племенным и территориальным началами, будущие русские люди выбрали территориальный принцип, причем с такой ясностью и определенностью, что от ранних славянских племен вскоре осталась лишь смутная память,

а возможность понимания народа как единокровной расы была заблокирована с порога. Экспансия Руси приняла соответственно характер терпеливого освоения бескрайней восточноевропейской равнины... Какая огромная разница по сравнению с созидателями европейской государственности, ранне-средневековыми германскими племенами с их кровным братством, верностью конунгам и дальними завоевательными походами, зачастую с полным отрывом от первоначальной территории!

И добавляю (это уже как бы на полях, как иллюстрация): мне недавно попала в руки хорошая книга, Пауля Радина «Теория и методы современной этнографии», вышедшая по-английски в США. Там в разборе различных этнографических школ автор с большой похвалой подчеркивает, что, начиная уже с XVIII века, русские этнографические описания отличаются (особенно от английских и немецких) полным отсутствием «естественных для европейца» национальных предрассудков, что позволяет их авторам лучше понять и верней отразить заботы и тревоги других народностей, глубже войти в их жизнеощущение, поскольку они, по-видимому, жили и соседствовали с ними на началах взаимопонимания и терпимости...

Что же касается редакции европейского понимания свободы, как уже говорилось выше, свободы-привилегии, то она основана на неравенстве. Из такой свободы с великим трудом может родиться равноправие, но уж никак не братство. Европейцам приходится распространять привилегию «liberté» и «égalité» на всё более широкие слои населения, «fraternité» же остается добавкой к этой пресловутой формуле. В русском жизнеощущении свободы, как об этом сказал Попов, заключается мысль о том, что нужно жить вместе разным людям на равном основании. В русской свободе содержится элемент терпимости, которого нет, например, в польской шляхетской свободе, где свобода была и всегда оставалась привилегией.

Факт невероятной бытовой свободы и колоссальной терпимости в России совершенно несомненен для того, кто умеет видеть и чувствовать. Даже в такой среде, как русская интеллигенция, где нетерпимость порой принимала самую острую форму, человек, с которым были несогласны, считался по крайней мере равным.

Элемент русской свободы, который сейчас нащупал Попов, — именно тот элемент русского жизнеощущения, который нам сейчас нужен. Если переносить на Россию, как это делал Федотов, а до него — Ключевский, западное понятие свободы, само собой разумеется, что она покажется страной вечной деспотии.

Попов. На Западе была феодальная система, которая предполагает обязательное неравенство и привилегии, а в России этого не было!

Гринберг. Я в общих чертах согласен с тем «историческим конспектом», который нам представил Попов. Но мне хотелось бы вернуться к самому важному, по моему ощущению, из того, что он говорил, и подчеркнуть роль русского православия. Подчинение Церкви государству, осуществленное Петром, было трагическим шагом потому, что он лишил этим актом страну ее совести. Независимая православная Церковь была совестью России; подчиненная же кесарю, она уже не могла полностью осуществлять эту функцию.

Уже либералы XIX столетия отошли от самого главного: от признания высшего начала — Бога. Во имя чего существовал идеал равенства перед властью? Власть была символом Бога на земле, и перед ней все были равны. Свобода воспринималась в основном, как я уже говорил вначале, как свобода выбора между злом и добром, в остальном же люди принадлежали обществу, строй которого был порой тяжелым, но в котором не должно было быть привилегий, с точки зрения чисто духовной. Когда же привилегии появились, люди

противились этике государственного устройства, и тогда в народе возникало брожение.

С того момента, как русские повернулись лицом к Западу и приняли его формулу свободы, что-то надломилось в их душах; тогда-то и возник тот сумбур в умах, от которого в России страдают и по сей день. С того момента, когда согласно марксистской концепции свобода оказалась «осознанной необходимостью», мы очутились в сумасшедшем доме, где нет и не может быть ни равенства, ни свободы, не говоря уже о братстве. Очень трудно, живя в аду такого рода, суметь определить источник его несвободы. И всё-таки люди рвутся к пониманию того, что с ними происходит, остро ощущают необходимость восстановить «какие-то» рухнувшие ценности и отдают себе отчет в том, что те крохи со стола их хозяев и повелителей, которые изредка переппадают им, — всего лишь привилегии, которые отнюдь не соответствуют подлинному понятию свободы.

Если в период Московской Руси наша Церковь была совестью России, а во времена Петра Великого — совестью лишь частично, то в наши дни, когда остатки этой совести подменены «осознанной необходимостью», уже не приходится говорить ни о какой свободе, ни о каком равенстве.

Бельский. Я еще хорошо помню дореволюционную Россию и могу принести личное свидетельство о том равенстве, о той терпимости, о которой говорили выше. Я бывал в Туркестане, где большое разнообразие народов; там люди принадлежали не только к различным племенам, но и к различным расам: были там, например, узбеки, индоевропейцы или чистые монголы. На линии Турксиба были деревни, которые назывались Антоновка, Ивановка, Сидоровка и которые перемешались с аулами, населенными местными жителями. В этих деревнях, возникших в конце XIX века, было уже много смешанных молодых семей. Дома их

были окружены садами и выглядели такими же богатыми, как и дома местных жителей этих богатых мест. В подобных местах России терпимость была той основой, на которой строилось равенство, строилась русская свобода.

П о п о в. Сегодня Европа стала перед невероятно сложной проблемой: бывшая Великобританская империя, бывшая Великая Франция со своей империей решили объединиться на равной ноге с Люксембургом... Откуда у них появилось такое желание?

Г р и н б е р г. От страха.

П о п о в. Это объединение стало, конечно, необходимым в силу международной обстановки, в силу новых экономических условий, но также и в силу, того, что сложились два великих государства, основанных (если отбросить советский период русской истории) на принципе равенства. Мировой исторический процесс подсказал Европе, что решение на ином пути, на пути элиты (на котором была построена вся Великобританская империя, державшая часто одной ротой огромные территории) — нереально.

Нужно смотреть на сегодняшнее и будущее России в свете этого исторического процесса. Преодолев сталинское (или еще более старое) «людодёрство» (например, по отношению к полякам), российская государственная традиция позволит строить российское сверхнациональное государство. Сегодняшняя российская интеллигенция, лишившаяся своих аристократических элементов, снова стала эгалитарной, несмотря на все свои недостатки. Ее можно сравнить с дворянской интеллигенцией XVI века.

Б е л ь с к и й. Современная советская интеллигенция ни в коем случае не соответствует истинному понятию «интеллигенции», тому семантическому значению, которое мы здесь придаем этому слову. Советская интеллигенция как правило — полуинтеллигенция, потому что она оторвана от огромной части куль-

турных ценностей современного мира, она «укорочена», ее нельзя брать как полноценный пример интеллигенции.

П о п о в. Когда Ивашка Пересветов в XVI веке в сердцах написал свое знаменитое сочинение, он указывал на следующие истины: вы хотите создать руководство государства из каких-то особо избранных бояр, которые всё знают, всё видят, всё понимают и везде побывали. Их для нашей службы на наших границах, на засечных чертах, никогда не хватит. Нам их нужно много — «конно», «людно» и «оруженно», поэтому каждый вчерашний холоп может быть сегодня служащим государству, то есть дворянином, то есть интеллигентом.

В а с и л ь е в. К сожалению, нам пора кончать нашу сегодняшнюю беседу. По-видимому, мы исчерпывающего ответа на вопрос о «синтезе и формуле «российской свободы» не нашли, хотя на эту тему были высказаны свежие и ценные мысли. Готовясь к следующей встрече, мы могли бы продумать этот вопрос с другой стороны, а именно постараться представить себе модель будущего российского общества, в котором могли бы на практике осуществиться все те принципы, о которых мы говорили сегодня.

Третий путь

7. ВЕРНЕМСЯ ВНОВЬ НА РОССИЙСКУЮ ПОЧВУ

Нетрудно увидеть, что если для развитых демократических стран путь к самоуправлению может лежать через эволюционное развитие, то для нынешней России самоуправление представляется наиболее вероятным укладом сразу же после падения существующего режима. В современной России капитализм нереален: нет капиталистов и капиталов, утеряны соответствующие навыки и традиции, да и, главное, нет желания у большинства советских подневольных людей всё это иметь*.

Окончание. Текст печатается с сокращениями. См. начало в «Г р а н я х» № 91, 1974. — Р е д.

* Чего, например, нельзя сказать о закавказских республиках, а также, возможно, о среднеазиатских и прибалтийских. Благодаря целому ряду факторов (например, возможности жить за счет рыночной торговли фруктами и овощами), там сохранились и подпольные капиталисты, и соответствующие навыки, и даже имеются начальные капиталы. И в то же время там относительно малочислен слой инженеров-рабочих, более всех заинтересованный в самоуправлении. Думается, что если этим республикам предоставить свободу выбора, то они, возможно, предпочтут капитализм. И хотя капитализм у них поначалу, наверное, будет не лучшего сорта, он всё-таки может оказаться намного здоровее и полезнее для них, чем нынешний их подпольный и спекулятивный капитализм. Конкурировать со здоровой экономикой и на свободном рынке — это далеко не то же самое, что с государственно-капиталистическим сельским хозяйством, которое не то что фруктами и овощами, но даже и хлебом не может обеспечить страну. — В. Б.

Пятьдесят пять лет советским людям твердили, что они хозяева страны и когда падет лживый режим предельного угнетения, они захотят стать действительно таковыми.

В России решающий фактор — наличие огромной, гипертрофированной индустрии (и соответствующей армии инженеров и рабочих), поэтому и строй всей страны будет определяться, по крайней мере на долгие годы, статусом этой индустрии. Некоторые мечтают «приватизировать» ее с помощью акций. Но это — несбыточные надежды. Рабочие и инженеры вряд ли добровольно согласятся на то, чтобы их доходы попадали в руки бывших советских дельцов и коллаборантов власти. Не согласятся они и на внутренне-заводское распределение акций: инженер или малосемейный рабочий и без того будет более обеспечен, за счет же акций неравенство еще увеличится, так как малосемейный рабочий или инженер смогут, естественно, покупать акции в большем количестве, а потом и скупать акции у своих коллег!

Распределение доходов по труду и квалификации — единственно приемлемый принцип для трудящихся в России.

«Приватизация» экономики может произойти лишь в результате долгой эволюции при условии, что богатейшие частники из сферы обслуживания и сельского хозяйства смогут платить своим наемным рабочим большую зарплату, чем на коллективных предприятиях, и будут побеждать их на рынке.

Между прочим, самоуправляющееся государство, допуская частный сектор, разумеется, вряд ли допустит при этом обратную частную «экспроприацию» каких бы то ни было государственных предприятий. Везде и всюду, в том числе и в сфере обслуживания, государственные предприятия перейдут в руки тех, кто работал на них. Частные предприятия будут создаваться частниками рядом с коллективными. И более того: государство

ТРЕТИЙ ПУТЬ

будет осуществлять и здесь расширенное воспроизводство, будет расширять сеть коллективных предприятий в сфере обслуживания. Мерами агитации и экономической помощи государство должно будет, очевидно, стремиться к созданию коллективных хозяйств и в деревне, так как нынешнее, ослабленное оттоком мужчин сельское хозяйство вряд ли сможет обеспечить городское население продуктами на основе одного только единоличного хозяйства, да еще на изуродованной, иссушенной земле, требующей для своего восстановления серьезных затрат.

Ряд людей и групп в эмиграции предлагают так называемую смешанную экономику. Тяжелую и среднюю промышленность (то есть примерно 80% промышленности) оставить в руках государства, а часть мелкой легкой промышленности, торговлю и обслуживание передать в частные, кооперативные или «самоуправляющиеся» руки. Панацеей от всех бед эти люди считают ликвидацию КПСС.

«Ликвидируйте политическую монополию КПСС над государством и обществом — и нет больше класса «гегемонов», и открываются возможности и для смешанного хозяйства... и для *неадминистративного* планового хозяйства» (М. Михайлов).

Но как можно до сих пор не понять, что в СССР давно уже существует фактически *беспартийное* общество, что КПСС — это не партия, а декорация партии. С того момента, как все ключевые посты в государстве захватывают члены одной партии (и оппозиционные партии уничтожаются), она превращается в сообщество чиновников, связанных двойной дисциплиной и маскирующих свое господство партийными билетами. Рядовые же граждане — члены партии — превращаются в этом случае в камуфляжный «гарнир». Для них членство в партии играет лишь роль добавочных уз, не давая им на деле никаких особых прав или привилегий.

Быть исключенным или выйти из партии в СССР хуже, чем иметь уголовную судимость.

КПСС правильнее сегодня расшифровывать как Карьеристскую Партию Советского Союза.

Ликвидировать монополию КПСС сегодня — означает снять с работы 90% всех руководящих работников во всех областях государства. Но нельзя снять и даже 70%, если поставить себе цель сохранить в руках государства большую часть промышленности. Централизованная государственная промышленность требует гигантского руководящего аппарата как центрального, так и на местах и в производственных подразделениях (для учета казенного имущества и контроля за ним и за неотчетливыми работниками). Что изменится от того, если отнять у нынешних чиновников их партбилеты? Люди их ненавидят и всё равно не будут их слушать. Восставшие польские рабочие, например, первым делом потребовали поголовной смены руководящих кадров. Что же говорить о советских рабочих и инженерах, которые пятьдесят пять лет терпят своих чиновников, про которых сегодня с еще большим основанием можно сказать ленинскими словами как о «подлецах и насильниках по природе своей».

При такой ситуации не будет ни заинтересованности, ни дисциплины. Начнется развал, инфляция и разруха, которых так боятся противники революций и «ломки жизни».

И не стоит здесь говорить о том, что национализация большей части промышленности неизбежно рождает госкапитализм со всеми его «прелестями», как и нет никакого смысла доказывать очевидную истину, что государственной промышленностью невозможно управлять иначе, как *административно-плановыми методами* (с планами на текущую работу предприятий, которые также являются предметом жгучей ненависти советских людей).

ТРЕТИЙ ПУТЬ

Короче говоря, и «голова», и «тело» (по терминологии М. Михайлова) одинаково важны. Тоталитарное «тело» так же неизбежно приводит к всеобщему тоталитаризму, как и тоталитарная «голова».

Нэп (та же смешанная экономика!) дал некоторый положительный эффект лишь потому, что не было еще тогда в России гипертрофированных тяжелой индустрии и огромного аппарата чиновников, как не было и сегодняшней всеобщей ненависти к ним. И, наконец, тогда были еще целы кадры мелких капиталистов и частные средства, которые смогли обеспечить быстрое возрождение частного сектора. К тому же еще существовало крепкое и многочисленное единоличное крестьянство как база частного сектора.

И все же нэп был обречен. Государственный сектор (если он преобладает) неизбежно давит частный и по той еще причине, что начинает остро нуждаться в притоке капиталов для затыкания брешей от многочисленных потерь. Капиталы эти он высасывает из частного сектора, который обречен на вырождение и усыхание в этом случае даже без применения насильственных методов.

«Есть только один способ экспроприировать правящую элиту, не восстанавливая класса буржуазии — резко сократить монопольный государственный сектор, передать большинство средств производства, заводы, институты и т. д. в собственность трудовых коллективов» — провозглашают в известной самиздатовской работе «Время не ждет» С. Зорин и Н. Алексеев.*

И с ними трудно не согласиться, если реалистически подходить к жизни. Предлагать как конечную цель смешанную экономику (то есть оставить львиную долю промышленности в руках государства) значит фактиче-

* С. Зорин и Н. Алексеев. *Время не ждет*, «Посев», Франкфурт-на-Майне, стр. 41.

ски не предлагать ничего, а точнее — предлагать развал и анархию.

И отсутствие приемлемой и реальной альтернативы пагубным образом сказывается на борьбе с советским режимом. Пропаганда, особенно идущая с Запада, в массе своей является негативной, критической. И хотя критическая пропаганда по-своему полезна и нужна, но сейчас она уже явно недостаточна. Ее можно вести до скончания века всё с теми же результатами. Большинство существующих позитивных программ по существу, повторяю, не являются позитивными: они представляют собой не синтез, ныне необходимый, а механическое смешение всего и вся по принципу: взять 70 г государственной собственности, 15 г — частной, 10 г — кооперативной, 5 г — групповой; всё это подсластить местным «вспомогательным» самоуправлением, добавить демократических свобод по вкусу и запекать в многопартийном тесте.

8. ЕЩЕ О «МНОГОПАРТИЙНОМ ТЕСТЕ»

Требование многопартийной системы, казалось бы, является всё-таки серьезным позитивным элементом большинства программ противников марксистского социализма.

Но, как мы уже говорили выше, это, во-первых, совершенно недостаточно для ликвидации режима государственного капитализма. Во-вторых, образование мощных партий, способных руководить государством, дело очень длительное и, главное, очень сомнительное в бесклассовом обществе, каким окончательно станет общество России после падения существующего режима.

Достаточно открытыми глазами всмотреться в то, что уже происходит с партиями в развитых капиталистических странах.

ТРЕТИЙ ПУТЬ

Возьмем для примера США — самую развитую капиталистическую страну. В США (где никогда, как известно, не было «классической» классовой борьбы) если прежде и существовало заметное различие между демократической и республиканской партиями (а в период обострения классовой борьбы, в начале века, появилась и заметная рабочая партия Хейвуда и J. W. W.), то сейчас различие уже явственно сходит на нет. Растворяются классы и растворяются партии.

США — страна наиболее свободного федерального самоуправления, и вот, пожалуйста, — выборы в Конгресс происходят там уже больше по принципу выборов представителей от штатов, чем по партийной принадлежности. Больше конкурируют личности кандидатов и их личные программы, чем партии с их программами. Конгрессмены более ответственны перед своими избирателями и штатами, чем перед своими партиями, и чаще голосуют в Конгрессе не по своей партийной принадлежности, а по своим и своих штатов интересам: демократы с республиканцами против демократов и республиканцев. Не группировки превращаются в партии, а партии распадаются на межпартийные группировки. Эти партии фактически представляют собой рудименты старого классового общества.

Кроме того, США единственная, кажется, страна, где существует железное ограничение срока пребывания у власти президента (то есть высшей исполнительной власти страны) и всей его администрации, которая должна уходить вместе с ним. Сказывается самоуправление! Свободные «коллективы» штатов (и корпораций), естественно, заинтересованы в объективной, подчиненной воле большинства штатов (и корпораций) власти. Они не хотят, чтобы исполнительная власть была независима от них, над ними.

Теперь сравним США и СССР. Оба государства представляют собой две крайности сегодняшнего мира.

И как все крайности они во многом сходятся. И там и здесь нет четких антагонистических классов. И в США самая мощная, после СССР, государственная машина и военно-промышленный комплекс. И в США уже начинается борьба людей из всех слоев общества против этих «машин» — от бывшего президента Эйзенхауэра до студентов. И даже Никсон в своем новогоднем послании Конгрессу в конце 1971 г. сказал знаменательные слова о том, что государственная машина в США растет и усиливается, в то время как жизнь становится все более неуправляемой. И будущие благополучие и жизнеспособность системы зависят от того, сумеют ли американцы добиться, чтобы широкие слои граждан могли оказывать конструктивное влияние на жизнь общества и государства.

Но вернемся к вопросу о многопартийности. В классовом обществе многопартийность, разумеется, главная гарантия демократии. И при становлении самоуправления в России партии, конечно, возникнут и будут играть серьезную роль, но, мне думается, что со временем они автоматически, в результате действия принципа вертикального перемещения (пребывания определенным сроком у власти) выбираемых руководителей, отделятся от государственного аппарата и будут, возможно, играть лишь роль теоретических клубов. Представители разных партий будут, конечно, избираться на различные должности, но вряд ли в таком количестве и качестве, чтобы они смогли оказывать решающее *партийное* влияние на государственные дела. Да и коллективы вряд ли будут допускать, как мы уже говорили, чтобы их представители защищали и проводили какую-либо чужую волю, то есть волю каких-то партий. Влияние через слово, через идеи, — это другое дело.

9. СПОСОБНЫ ЛИ СОВЕТСКИЕ ЛЮДИ
К САМОУПРАВЛЕНИЮ?

Андрей Амальрик отвечает категорически: «Русскому народу... почти совершенно непонятна идея самоуправления»*.

И ему вторят многие голоса: нужны традиции, которые вырабатываются очень медленно. Они стали только-только складываться в старой России и были пресечены Октябрем. За советский период люди и вовсе отвыкли от самостоятельности.

На первый взгляд звучит убедительно. Но и тут при более глубоком и спокойном размышлении всё предстает в ином свете.

Медленно вырабатываются традиции и навыки? Конечно, медленно — в условиях ограниченной, полуфиктивной свободы, при отсутствии заинтересованности (в этом случае) у большинства людей в самоуправлении. Какие права были у тех же земств в царской России? Какие средства и возможности? Какой узкий круг людей они интересовали! В таких условиях достаточные навыки к самоуправлению у большинства народа вообще никогда выработаться не смогут. И, наверное, нигде, кроме США и старой Швейцарии, и не выработались (а теперь и там стали теряться). История развития этих навыков, как и история доброты, топчется на месте и всё по тем же самым причинам.

На примере воспитания детей мы знаем, что лучшее средство воспитания самостоятельности — это предоставление самостоятельности. По принципу: бросить не умеющего плавать в реку. Если же откладывать предоставление самостоятельности до того момента, когда человек наконец созреет для нее, то такой момент

* Андрей Амальрик. Просуществует ли Советский Союз до 1984 года? Изд-во Фонда имени Герцена, Амстердам, 1970. Стр. 30.

может никогда и не наступить (неслучайно советская молодежь отличается инфантильностью).

Советские люди отвыкли от самостоятельности больше других? Верно. Но, добавим мы, и больше других истосковались по ней. И не все отвыкли в одинаковой степени, чтобы быть к ней совершенно неспособными. Есть инженерно-рабочий слой, который в силу самого характера своей деятельности и труда, — особенно инженеры, хозяйственники, снабженцы, — вынуждается постоянно принимать самостоятельные решения. (То, что решения эти направлены в основном на обход решений и планов, спускаемых сверху, в данном случае отрицательного значения не имеет). Если бы советские люди этого делать не умели, они бы просто не могли жить, вся жизнь в стране сделалась бы физически невозможной. (Правда, следует при этом заметить, что объективно самостоятельность такого рода пока идет на пользу режиму).

И такой вот инженерно-рабочий слой, как научную и лучшую часть гуманитарной интеллигенции, и большую часть крестьянства смело можно бросить в «реку» самостоятельности и самоуправления. Эти люди не «утонут» еще и по той причине, что все будут находиться примерно в одинаковом положении, будут начинать от одного уровня. (Монополия внешней торговли в переходный период должна, конечно, оставаться в руках у государства и ограждать молодые коллективы от внешней конкуренции). Мыслимо и приглашение в страну иностранных специалистов по научной организации труда и управления для консультаций, обучения и помощи в организации широкой сети специальных курсов.

Необходим, разумеется, и переходный период для поэтапного вступления коллективов в полное самоуправление и для налаживания его на всех уровнях. Но перспектива должна быть ясной, чтобы предотвратить разруху, а может быть, и междоусобицу. И эта пер-

ТРЕТИЙ ПУТЬ

спектива должна быть гарантирована всеми другими реформами государственной власти, о которых мы говорили выше. «Голова» должна быть переделана, конечно, в первую очередь. Советы инженеров, рабочих и т. д. (с контрольными функциями), как и их центральные координационные и законодательные органы, должны быть созданы сразу и как можно быстрее.

И они будут созданы и будут стремиться взять в свои руки всю полноту власти в стране и всю собственность, вне зависимости от каких-либо теорий, программ и «утопий». Так это происходило в Венгрии, в Польше (в 1956 г.), так шло к этому в Чехословакии в 1968 г. и так произошло в России в 1917 г.

— Если вы (большевики) позволите разогнать Советы, то знайте, что нам с вами не по пути! — сказал, как известно, один из представителей Петроградского Совета на заседании ЦК РСДРП(б) перед Октябрем (Д. Рид, «10 дней, которые потрясли мир»). И большевики не дали разогнать Советы, но захватили их и незаметно ликвидировали изнутри, превратив их в декоративную безделушку. Теперь, в случае новой революции, сделать что-либо подобное будет неизмеримо труднее: опыт уже есть, и рабочих стало много больше, образованность их повысилась, и, главное, с ними пойдет большая часть разросшейся заводской интеллигенции и лучшая, активнейшая часть интеллигенции гуманитарной и научной, то есть политически активное большинство народа.

К самоуправлению люди в России ринутся сами, потому что, повторяем, это единственный путь для подневольных людей-пешек стать людьми, свободными и независимыми, и приобрести гарантию, что они вновь не будут обмануты.

И думается, задача теоретиков, публицистов и политических деятелей (прежде всего в эмиграции), не тратя сил на действительные утопии, помочь советским людям (в том числе и самим себе!) глубже осознать не-

избежность, необходимость и спасительность самоуправления для России, помочь разработать узлы, элементы и принципы соответствия государственного устройства и создать ориентировочный план переходного периода.

К самоуправлению люди в России ринутся сами, но в наших силах приблизить этот час и сделать его менее кровавым, разрушительным и жестоким. А может быть, мы в силах упредить даже и другой час, час всемирной катастрофы...

Ни на минуту не следует забывать и о самом, может быть, страшном наследии государственного капитализма в России — о чудовищных диспропорциях в структуре промышленности. Для преодоления и рассасывания их потребуются огромные усилия, средства и время. И эти усилия будут возможны лишь в атмосфере подъема и уверенности людей в незыблемости своей власти-свободы.

В заключение (для особо закоренелых скептиков) я хочу привести высказывание специалиста — доктора исторических наук, председателя исследовательской секции по социологическим проблемам села АН СССР Ю. Арутюняна.

В начале 1972 г. на страницах «Литературной газеты» прошла дискуссия о так называемых шабашниках — самодеятельных строительных бригадах, по сей день преследуемых властями как паразитический элемент. Эти бригады строят дома для частных лиц в деревнях и различные хозяйственные постройки для смелых председателей колхозов, отчаявшихся дожидаться государственной помощи. Ю. Арутюнян, включившись в эту дискуссию, обобщая наблюдения возглавляемой им секции Академии наук, пишет:

«Эти бригады отличались удивительной сплоченностью, основанной на здоровых коллективистских началах. Все вопросы обсуждались «миром»: и уж что решалось, то становилось законом. Отсутствие пьянства, взаимная выручка, стремление

ТРЕТИЙ ПУТЬ

довести строительство до конца, сделать все, как надо, чтобы заказчик не был в обиде, — этим отличались бригады.

Производительность их труда была такова, что ломались все привычные нормы и мерки. Если бы колхозы поставляли материалы без перебоев, то производительность была бы еще выше».

Комментарии к его словам излишни.

Конечно, этого еще мало для успешного функционирования самоуправления в масштабах всего государства, для его высшего уровня. Многому придется, конечно, учиться людям на ходу, обжигая руки. В какой-то степени, действительно, получается, что Россия опять вынуждена круто поворачивать, не созрев еще до такого поворота во многих отношениях (а в экономике, можно сказать, даже перезрев, — мы имеем в виду диспропорции). Но сейчас, в отличие от 1917 года, другого выхода и пути у России нет, и пока она не вступит на этот новый путь, она для него не созреет окончательно.

Иными словами, существующий режим можно свалить только влево*. Задним ходом из той ямы, в которой находится Россия, выбраться невозможно. И это

* Понятия «влево», «левый» и «правый» сейчас запутаны до предела. Поэтому стоит сказать, что мы здесь понимаем под этими весьма условными понятиями. «Левое» направление исторически, а не по сегодняшнему дню, можно, думается, определить как стремление к развитию демократии, к расширению его человеческой базы, к ослаблению всяческой кастовости, элитарности и реального политического неравенства; к увеличению гарантий, прав и привилегий для все большего числа людей, социальных слоев и т. д. Иначе говоря, в основе «левого» направления лежит вера в человека, в самоценность человеческой личности, в то, что люди рождаются достойными свободы и демократии, то есть народоправия. И можно сказать, что идеалом демократии («левых») является реализация истинного

→

должны бы понять все, кто искренне желает добра народам России, кто борется за свободу в России, а не за трон в Кремле. В том числе это нужно понять и общественности западных демократических стран, если она желает добра хотя бы самой себе.

И последнее: противники любых революций говорят, что история — непрерывный поток, его нельзя рвать, что необходима преемственность и постепенность. И с этим, конечно, нельзя не согласиться, но с той важной оговоркой, что реальность истории и жизни — прежде всего в тенденциях ее развития. И уж если самые прагматичные капиталисты в высокоразвитых странах стали задумываться о децентрализации и о «распределении (или передаче) доверия» как о способе повысить заинтересованность и добросовестность рабочих (ввиду отмирания конвейерных систем и усложнения рабочих функций), если и осторожные западные социалисты заговаривают о самоуправлении, то, очевидно, направление «потока» по третьему пути — реальность истории.

смысла этого слова — народоправия (что тождественно самоуправлению).

«Правое» же направление, в лучшем случае, консервативно, стремится к сохранению кастовости и элитарности в том или ином виде или даже к усилению последних (крайне «правые»), или же к установлению новой кастовости, «нового класса».

«Правые» являются, в сущности, в той или иной мере мизантропами и идейными наследниками Великого Инквизитора, считающими про себя, что свобода и демократия не по плечу «простым» людям.

И, между прочим, если так понимать «правых», то ими являются и сегодняшние коммунисты и многие «крайне левые» на Западе, так как они стоят за новые диктатуры и касты. Впрочем, ведь все крайности сходятся... — В. Б.

ТРЕТИЙ ПУТЬ

Единственный же мыслимый способ «разорвать поток» — это поставить ему запруду. И революции в действительности никогда не были разрывом «потока», а наоборот — результатом падения плотин под напором скопившейся «воды». И если плотина слишком крепка, у воды не остается иного выхода, как внезапно ее разрушить. Конечно, это уже катаклизм. Вода выходит из берегов, муть поднимается со дна, люди гибнут. Но главная вина за это лежит на тех, кто упрямо ставит «плотины» и укрепляет их, не замечая, что они тем самым «разрывают поток». Так, правители России войной 1914 года прервали поток начавшегося бурного развития России.

И истинная беда многих революций была в том, что они не до конца разрушали плотины. В результате на месте старых и недостаточно прочных плотин воздвигались новые, куда более прочные. Особенно отчетливо это заметно на примере нашей революции 1917 г. Большевики направили поток в такое русло, где на его пути оказалась самая мощная из всех известных до того времени плотин — государственный капитализм.

И в России, как нигде, сторонники самоуправления и революции являются сторонниками преемственности и неразрывности истории. Ведь самоуправление — это развитие Советов, созданных народом в 1905 г. (между прочим, вопреки сопротивлению большевиков, которые затем быстро «повернулись» и использовали Советы) и воссозданных в 1917 г. Кстати сказать, сталинская Конституция 1937 г. уже и формально упразднила Советы, заменив производственный принцип выборов территориальным, особенно недемократичным в условиях однопартийной системы.

Так вот, мы стоим за продолжение и развитие институтов советской власти 1905—1917 годов; производственный принцип выборов предлагаем дополнить принципом ограничения срока пребывания у власти (то есть развитием принципа сменяемости), предлагаем

воссоздать принцип «вооруженного народа», убрать антисоветский и антидемократичный на деле принцип совмещения исполнительной и законодательно-контрольной власти, как и однопартийности Советов, и, наконец, предлагаем подвести под Советы единственно мыслимую для них экономическую базу — групповую собственность на средства производства, к чему стремится и сам «поток», провозглашая: «Заводы — рабочим!» И мы сегодня с легким сердцем призываем к Советам, так как если в 1917 г. Советы охватывали максимум 50% населения, то сегодня, когда в СССР большинство народа — пролетарии, Советы смогут охватить уже 90% населения (включая и будущих мелких частных, которым ничто не будет мешать создать свои Советы и делегировать из них своих представителей в правительство). Иными словами, сторонники самоуправления на деле не за «коренную ломку», а лишь за то, чтобы убрать плотину и сделать невозможным ее воссоздание.

Сторонники же возрождения капитализма и сторонники смешанной экономики (с оставлением крупной промышленности в руках государства), сами того не замечая, стоят за «разрыв потока», за сохранение плотины стремлению людей к свободе и независимости, а то и за поворот «потока» назад.

Нарушение преемственности в структуре и тенденции сказывается и на нарушении не менее важной преемственности в области идей и культуры. Ведь многие сторонники «смешанной экономики» и противники «коренной ломки» «вырубают» из «потока» мысли и идей огромный и великолепный кусок, составлявший гордость русской культуры. «Вырубают», например, Чаадаева, Герцена, Белинского, Кропоткина, Плеханова и множество других «левых» мыслителей. Косо смотрят и почти не упоминают даже о Короленко, Чехове и других: как же, они «чернили» русскую жизнь и способствовали тем самым революции!

Сторонники же самоуправления никого не выбрасывают и не вырубают. Мы не приемлем лишь то, что служило оправданию строительства плотин и необходимому для этого насилию. И мы стояли бы за развитие без катаклизмов, если бы такое было возможно в СССР. И мы за то, чтобы использовать любой шанс для смягчения грядущих катаклизмов, если бы он представился (конкретно, в виде бескровной чехословацкой революции 1968 года). Мы — за постепенность и потому даже не против «смешанной экономики», но лишь в качестве *переходного* периода. Наконец, самоуправление, как и истинно советский строй, это ведь открытая система, дающая возможность людям самим выбирать дальнейшие пути развития.

Другое дело, что элементарная логика убеждает нас в том, что «смешанная экономика» не может (в условиях свободы) быть чем-то иным, кроме переходной стадии. Подозреваю, что и иные сторонники «смешанной экономики» про себя это понимают и надеются потом перейти к «единственно естественному строю — капитализму». Непонятно только — зачем это скрывать? Если сейчас иные диссиденты и внутри СССР выступают за «смешанную экономику», то лишь потому, что видят в этом единственно мыслимый компромисс при отсутствии революционной ситуации (компромисс, как это становится всем уже ясно, иллюзорный, так как советские правители скорее пойдут на распродажу богатств страны иностранцам, на создание «смешанной колониально-госкапиталистической экономики»!). Но когда в той же Чехословакии возникла революционная ситуация, то почти все оппозиционеры пошли дальше: к «отделению промышленности от государства», к самоуправлению и групповой собственности.

Но очень поздно и рискованно, особенно в России, разрабатывать и пропагандировать идеи самоуправления, когда за окном уже будет гудеть нарастающая революционная ситуация. Без ясной и приемлемой для

большинства народа (для «инженерно-рабочего» слоя, научно-технической интеллигенции) альтернативы существующему строю революционная ситуация может разродиться серией бесцельных и несвязанных бунтов, которые будут в конце концов подавлены, как бунты в начале шестидесятых годов (Новочеркасск, Александров и т. д.). Будут подавлены, не вызвав цепной реакции.

*

Но наступит ли всё-таки день, когда существующий режим падет?

Если жизнь сохранится на земле, то, конечно, наступит, как наступит и день утверждения «экстрорвертированного» общества самоуправления, идеи которого восторжествуют, «потому что они верны».

Да, на этот раз это так. Надо, повторим, не поддаваться панике и не терять веру в разум. Богом ли, природой, но голова дана нам, чтоб использовать ее для устройства наших человеческих дел. «К свободе призваны вы, братья!»

Был тезис, антитезис, теперь в наших руках очевидный синтез. Ничего не поделаешь, общий закон развития людям преодолеть, видно, не дано. А то, что этот закон слишком дорого обходится, в этом виноваты, видимо, сами люди или условия земные.

Кто знает, может, и существуют в космосе планеты, где развитие общества сознательных существ, в силу каких-то специфических обстоятельств, проходит более мягко. А где-то, может быть, и еще жёстче. И, может быть, даже срывается на самоуничтожение.

Мыслимо, конечно, и такое положение, что нигде в природе существа, осознающие свою смертность, не успевают или оказываются не в состоянии создать условия, при которых они бы переставали быть рабами страха смерти и его бесов, успевая в то же время создавать средства всеобщего уничтожения. То есть, что со-

ТРЕТИЙ ПУТЬ

знание везде обречено на гибель от собственной силы (способности познавать как тайны природы, так и смертность всего живого). Это тоже вполне в духе диалектики.

В этом случае сознание пришлось бы признать перехлестом, излишеством природы (а наши идеи самоуправления — утопией).

Но познать это, всеобщую судьбу сознательных существ, нам, слава Богу, не дано. Поэтому стоит все-таки исходить из лучшего предположения. Хватает же у отдельного нормального человека разума, чтобы обуздать свое желание броситься в пропасть. Может быть, хватит и у человечества...

Библиография

ОБРАЗ РОССИИ

*А вдали, где полгода (иль более) мрак,
Где слова, как медведи, косматы:
Воркута, Магадан, Колыма, Ухтпечлаг...
Как терновый венец или Каина знак —
Круг полярный, последний, девятый.*

Николай Моршен

1

«Огромная, в основном христианская страна превратилась в питомник выращивания новой породы людей, сформированной в обстановке тотального террора и массового безбожия. Принципиально новая нелюдь начала карежить и разрушать всё человеческое и духовное, топить жизнь в зверствах. Выкристаллизовалось новое общество, управляемое питекантропами».

«...Страну превратили в концлагерь, население истребляли, как скот, а от людей требовали поддержки ненавистного режима, чекистов, колхозов, коммунизма».

Так пишет Дмитрий Панин в книге своей «Записки Сологодина».

Так пишет человек, только недавно вырвавшийся из Советского Союза, прошедший там все круги концлагерного ада.

Прототип одного из главных героев романа «В круге первом» — Сологодина, Дмитрий Панин просидел в концлагерях тринадцать лет, из них пять лет — с 1947 по 1952 год — вместе с Солженицыным, подружился с ним. С 1953 по 1956 год был в ссылке. Частично реабилитированный, в 1956 году вернулся в Москву.

Д. Панин, «Записки Сологодина», «Посев», Франкфурт-на-Майне, 1973, стр. 575.

БИБЛИОГРАФИЯ

Дмитрий Михайлович Панин в Москве и родился. В 1911 году, в семье офицера. Хорошо знает интеллигентскую, пред-революционную Москву. Хорошо помнит революцию. Многочисленные знакомые семьи Паниных отношения к революционным партиям не имели, но, как и многие русские интеллигенты того времени, считали себя либералами, ругали правительство, вздыхали о революции...

«Вначале я жадно слушал разговоры, — пишет Панин, — позже понял что это поколение банкротов, не имевших идей, идеалов, решимости бороться».

Восприняв Октябрьский переворот как катастрофу, русская интеллигенция ничего или почти ничего не сделала, чтобы эту катастрофу предотвратить, сама стала жертвой питекантропов, захвативших в России власть.

Разумеется, десятилетний мальчик не мог постичь всей глубины трагедии России, но в его сознании осталось «...общее впечатление о Ленине, Троцком как о маньяках, не понимающих жизнь; дилетантах во всех вопросах, кроме насилия и угнетения; наглых обманщиках, ненавистниках России; ярых безбожниках...»

Впечатления детства, пережитого вместе со взрослыми, — и определили дальнейшее формирование убежденнейшего, последовательного противника коммунистического режима.

За границу вырваться возможностей не было: надо было жить, учиться. Кончил техникум. Три года работал рабочим на заводе. В 1936 году окончил машиностроительный институт. Специальность инженера-механика очень пригодилась в концлагерях, помогала вырваться хоть на время с тяжелых общих работ, на которых заключенные были обречены на гибель.

Арестован Панин был по доносу в 1940 году. Обвинен в антисоветской агитации и приговорен к пяти годам исправительно-трудового лагеря.

Человек глубоко верующий, Панин рассказывает, как за несколько дней до ареста почувствовал непонятную предсмертную тоску. Увидев позже дату выдачи ордера на арест, понял, что час тоски совпал с часом вынесения решения об его судьбе.

Через три года, уже в лагере, был осужден еще на 10 лет за подготовку вооруженного восстания. Борец по духу своему, человек большой силы воли, он действительно участвовал в организации забастовки заключенных, которая могла вылиться в восстание. Мечтал о побеге и побег готовил, но бежать не удалось.

С 1956 года, до своего отъезда за границу, жил в Москве, работал инженером-конструктором. В свободное от работы время писал, но такое, что в печати КПСС опубликовано быть не могло.

За границу вырвался в 1972 году. «Записки Сологодина» — первая книга его. Готовит к печати вторую.

2

В первой книге «Записок Сологодина» описывается подробно один из наиболее тяжелых периодов в истории сталинских концлагерей: период военный и послевоенный.

Страшные и до войны, советские концлагери стали еще страшнее во время войны, когда мизерный лагерный паек еще больше сократился, когда окончательно осатаневшая власть обрекла заключенных на смерть.

Сколько заключенных погибло от голода, от непосильной работы в военные и послевоенные годы — кто скажет, кто назовет хоть приблизительные цифры?

Панин называет одну цифру: семь миллионов погибших только за один год войны.

«Ужасающий первый год войны, — пишет он, — истребивший убийственным голодом и непосильной работой около семи миллионов заключенных, оставил во всех, переживших его, неизгладимый след».

В главе «Лагпункт — обитель смерти» описывается, как вымирал один из тысяч лагпунктов концлагерного Архипелага.

С душевной мукой, с гневом пишет Дмитрий Панин:

«Я никогда не забуду: их вывозили из зоны в особом ящике с крышкой, и на вахте прокалывали затылки, чтобы исключить возможность симуляции и последующего побега».

БИБЛИОГРАФИЯ

Сколько свидетельств уже услышал мир, сколько книг написано — и снова, и снова сжимается сердце и сжимаются кулаки, когда читаешь о том, что нельзя забыть, что нельзя простить!

3

Нет, книга Дмитрия Панина не только свидетельство страданий миллионов людей — мужчин, женщин, стариков, детей. Это призыв к борьбе против нелюдей, правящих Россией, к борьбе бескомпромиссной, к борьбе беспощадной.

Перед читателем проходят не только бесконечные ряды мучеников — проходят герои и павшие, и устоявшие в борьбе.

Перед нами власовцы.

Им посвящены строки, за которые Дмитрию Панину нужно крепко пожать руку:

«Власовца следует сравнивать и сопоставлять не с мобилизованным в Красную армию, а с добровольцем, причем с таким, кто остался до конца идеалистом-патриотом. Власовцы своим умом дошли или согласились с необходимостью страшной войны на два фронта, с двумя тиранами. Они решили уничтожить сталинскую деспотию, тогда как остальные ее поддерживали».

Перед нами украинские и литовские партизаны, героически боровшиеся с оружием в руках против общего врага — ненавистного режима.

Перед нами немецкий или венгерский офицер — перед лицом общего врага все равны, все братья. Держался он обособленно, но его все уважали. Однажды, на глазах других эков, он молча пошел на конвоиров, не остановился, когда те заорали, и был скошен автоматной очередью.

Самоубийств в лагерях было в общем мало, и даже те, кто восставали, шли на смерть с надеждой — победить.

Восстание в Печорских лагерях, на второй год войны, было организовано начальником одной из глухих подкомандировок лагпункта, бывшим заключенным-бытовиком. Штаб вос-

стания тоже состоял из бывших заключенных, главным образом из осужденных по 58 статье.

Подчеркивая, что восстание было организовано бывшим заключенным, Панин пишет: «...когда человек доведен до полного истощения, он становится пассивным».

Именно это было одной из причин неудач восстаний в концлагерях, когда на призывы инициаторов восстаний вконец истощенный ээк безнадежно махал рукой.

Начало восстания, описанного Паниным, было удачным: в назначенный день в зоне была натоплена баня для вооруженной охраны лагеря — вохровцев. Когда все, кто не был на постах, отправились париться, их в бане и закрыли. Руководители восстания, надев форму вохровцев, разоружили оставшуюся на своих постах охрану. Захваченное оружие, боеприпасы, полушубки и валенки вохровцев были розданы самым надежным ээкам. Сформированный повстанческий отряд, ликвидируя по пути, на командировках, вохровские посты, захватывая оружие и продовольствие, двинулся походным порядком на Усть-Усу, где находилось управление Печорских лагерей.

Когда восставшие ворвались в центральную казарму вооруженной охраны лагерей, завязался первый крупный бой. Ээки знали, что пощады им не будет — и сражались героически. Власти, перетрусив, в спешном порядке начали подвозить войска. На подавление восстания была брошена авиация.

Две недели окруженный отряд восставших сражался с врагом вдесятеро сильнеешим, устал трупам карателей мерзлую землю — и погиб весь, до одного человека. Последним застрелился начальник отряда.

«Я называю их героями, — пишет Панин, — ибо они доказали, что человек не может быть превращен в скотину, с которой расправляются, как хотят...»

Написанная просто, но предельно убедительно и правдиво (я верю каждому слову автора!), книга Дмитрия Панина — значительный исторический документ, а одновременно обвинительный приговор режиму нелюдей, царству Каина.

Велика ненависть Дмитрия Панина к режиму.

Велика любовь его к России.

Где-то, на бесконечной русской равнине, на переезде небольшой станции, остановился эшелон с заключенными. В одном из вагонов — Дмитрий Панин и друг его — Александр Солженицын. В окно было видно: у шлагбаума стоит женщина неопределенного возраста, в старой латаной черной одежде. На ногах разбитые ботинки. Голова по-крестьянски повязана старым платком. Неприметная фигура: таких на станциях в то время было немало.

Вдруг оба увидели: по щекам женщины текут слезы. Она пристально смотрела в вагон, словно пытаясь разглядеть лица заключенных, и крестила их, крестила. Поезд тронулся, а она продолжала крестить вслед.

«Кто была эта бедная женщина? — спрашивает Дмитрий Панин. — Сколько родственников и близких ей людей погубили чекисты? Сколько мук выпало на ее долю? Благословила нас страдальца на продолжение нелегкого пути, и мы оба унесли в своем сердце ее чудный образ в рубище».

Скорбный образ этой женщины в рубище — образ самой России, какой встает она перед читателем со страниц книги замечательного русского человека Дмитрия Панина.

Владимир Самарин

О СБОРНИКЕ СТИХОВ «ЧАША ЖИЗНИ» НАТАЛИИ ИЗЮМОВОЙ*

1

Книжка, в которой есть и очарование и подлинность. Безыскусственность и естественность (но не мнимая безыскусственность, соединенная с нарочитостью) и вместе с тем нечто подлинно «свое», острое восприятие мира и жизни, и стиль этой лирики, несомненно — глубокий и — прибавлю — скромно индивидуальный, в нем есть невольная захваченность, но вместе с тем, взор порой остро и пытливо врезается в окружающую

* Мадрид, 1973.

действительность, запечатлевает характерные ее черты. Вот, например, очень простое беспритязательное стихотворение, в котором, однако, есть «тонкость профиля», подлинность «своего» восприятия:

Небо светлое, раннее,
Лес с откосами рыжими,
Кроткая тишь и молчание
Над низкими серыми крышами.
Странно все сердцу милое,
Помнится тропка талая,
Словно бы тут ходила я,
Словно бы все узнала я:
Бело дворы застелены,
Небо — окно без полога,
Медлит над темными елями
Низкое синее облако.

(«К весне», стр. 55)

А вот: возбужденная весенняя радость, радость почти «мальчишеская»:

Сегодня день и свеж и синь,
Сегодня всем на радость день,
Сегодня в сердце динь-динь-динь,
Сегодня шапка набекрень.

И каждый кустик Богу храм,
На каждой горке благодать,
До неба, глянь, как близко нам,
До Бога, глянь, рукой подать!

(Стр. 87)

Картинка утра на пригорке над морским заливом — одно, по-моему, из самых радостно-животрепещущих стихотворений сборника:

БИБЛИОГРАФИЯ

Море ярче лиможской эмали,
Словно белые бабочки, лодки,
В глубине голубеющей дали
Паруса ослепительно четки.

Ветер утренней свежестью плещет,
Греет солнце над кручею лавку,
И живет, и блестит, и трепещет
Каждый листик и каждая травка.

От веселого утра привета,
Мне обвившего плечи, милуя, —
От морского прохладного ветра
Жадных уст оторвать не могу я.

И от бледного неба и моря,
Уходящего в даль голубую,
И от ряби в зеленом уборе
Глаз счастливых отвести не могу я.

И от лавки, где в трещинок кудри,
Въелись солнца горячие струи —
От тепла благодатного утра
Рук безвольных отнять не могу я.

(«На круче», стр. 47)

Но особенно характерны для гаммы лирических переживаний сборника чувства томления, тоски, жажды, неудовлетворенности душевной, неутолимой глубинной жажды:

Мне помнится сосуд из грубой темной глины.
Зеленая глазурь его проста
И облик строгий амфоры старинной.
И в нем . . . прохладная, прозрачная вода.
Мне помнится... И все же: где, когда?
Видала ль я и впрямь его однажды?
В нем чистая, прохладная вода.
Как я давно, как безнадежно жажду...

(«Тоска» II, стр. 62)

И еще:

О эти ночи, тягостные ночи,
Когда от дум усталой не уснуть,
О эти ночи, благостные ночи,
В небытие спускающийся путь.
Приходит день и все опять сначала:
И свет и шум, но вот и день прошёл,
И снова ночь мне стелит покрывало,
Готова путь в безмолвный темный дол.

(Стр. 86)

Преходящее, неуправляемое ускользание всего в эту огромную, неисследимую бездну умирания, исчезновения — часто и мучительно предносится взору. Об этом говорит сильное и яркое образами стихотворение:

Далеко от солнечной земли
В изумрудно-черной глубине,
Где трава багряная на дне,
Где вокруг покрытых мохом глыб
Бродят стаи разноцветных рыб,
Где живой колышется цветок,
Проползает тенью осминог,
Там, как древние чудовища земли,
Затонувшие уснули корабли.

.
Но иные знаю я моря:
Нет меры мутной глубине,
Нет волны, что так загубит зря,
Нет пучины глубже и темней.
Там, как мертвые, немые корабли,
Дни и ночи затонувшие легли.

(«Моря», стр. 73)

Но эта безнадежность, уход всего дорогого, пронизывается любовью, памятью любви и еще более *жалостью* любви:

БИБЛИОГРАФИЯ

Ты выложил сокровища свои,
И стало мне и жаль тебя и больно,
И я едва-едва касалась их
Рукою чуть дрожащею невольно...

.
А некогда иных сокровищ круг
Берег, любя, у светлых ты окошек:
Стручки и камешки, быть может, дохлый жук,
Быть может, новый перочинный ножик?
Чудесный мир, где все желанный клад,
Где яркость глаз, как полдня блеск над садом...
Теперь, взгляни, из зеркала глядят
Глаза усталым, равнодушным взглядом.
И ты один. А дни бегут, бегут,
И жизнь течет порожними часами,
И ты уйдешь, и люди назовут
Твои сокровища ненужным хламом.
И грусть прядет свою, прядет и тянет нить.
Что надо мне? О жизнь пустая наша!
Но за тебя я буду, друг, просить,
Да обойдет тебя сия печали чаша.

(«Сокровища»)

2

Вот — глубины, из которых течет струя этой то светлой, то грустной — часто за сердце хватающей лирики. Есть тут и умиленные картины и детства и юности, и волнующие отзвуки захватывающей душу красоты и глубокого, сокровенного чувства. Встает из внутренних ласкающих далей образ Бабушки:

Там, где красный, громоздкий комод
Погрузился в задумчивый сон,
Где печально мерцает киот
Тусклым золотом темных икон,
Где в старинных шкатулках на дне

Дремлют запахи прежних духов,
И незримо в скупой тишине
Тихо падает пыль на покров,
Среди старых забытых вещей,
Прикурнувших в уютной тени,
Там текли, как прозрачный елей,
Моей бабушки тихие дни.
Где он, старьёй зелёный капот,
Пелеринки повыцветший плющ,
Улыбнувшийся ласково рот,
Дней ушедших дремучая глушь?
Никогда, никогда не забыть
Прошлой жизни ласкающих снов!
Как же может всё это не быть,
Когда в сердце осталась любовь?

(«Бабушка», стр. 10)

А вот «Лунные вечера» дома — в усадьбе:

Луна стоит над белым цветником,
За каждым тень маячит на песке,
А лунная дорожка по реке
Зовёт идти куда-то напрямиком.
Два новых мира стали дом и сад —
Огонь свечи и торжество луны.
И взрослые на ту луну глядят
А мы, девчонки, спим и видим сны.

(«Лунные вечера»)

Опять лунная ночь:

Чёрная тень кипарисов,
Месяц в серебряном блеске,
И за оградой тенистой
Волн однозвучные всплески.
Благоухание пиний,
Ветра прохладная ласка,

БИБЛИОГРАФИЯ

И над пучиною синей
Каменный город из сказки.
(«Еще о Дубровнике», стр. 117)

Картина вечернего, предзакатного моря:

Черной тенью челн скользящий
Золотую режет гладь.
Хорошо в воде горящей,
Предзакатной утопать.
Плыть прекрасным незнакомцем,
Ветром голову обвить,
Хорошо навстречу солнцу
В золотом сияньи плыть.
(«Перед закатом», стр. 47)

Много — повторяю — в этом сборнике грусти, тоски, но сдержанной грусти. Но также — *просветленной любовью* грусти — о прошлом, а также и об этом, еще столь прекрасном, сиянии, разлитом в мире и угасающем. *Просветленная грусть*. Просвечивает, кое-где — чуть-чуть намеченным — задний фон некой негаснущей жизни.

Некоторой, как бы заключительной философией этого сборника является, может быть, эта молитва к Ангелу Хранителю:

Развей мой путь, как Божий свиток,
Да не сумнясь я им иду,
Да будет малость мне избыток,
И да не знаю пустоту.
Храни от мыслей злых кипенья,
Над днем заботы вознеси,
И чаши светлого терпенья
Дай мне безропотно вкусить.

Нужно желать распространения этой книжке. Она пораду-ет многих читателей.

Николай Арсеньев

АМЕРИКАНСКИЙ ЖУРНАЛ О КУЛЬТУРЕ РУССКОГО
ЗАРУБЕЖЬЯ

«Трайквартерли», издающийся в Чикаго три раза в год американский литературно-художественный журнал, посвятил два своих последних номера (27 и 28) русской литературе и культуре за рубежом. Эти номера содержат статьи о русских писателях, музыкантах, художниках и др., а также переводы написанного ими на английский язык.

В предисловии, один из соредакторов, проф. Карлинский, пишет, что западная интеллигенция долго отвергала русскую эмигрантскую литературу, считая всех, кто не участвовал в «блестящем опыте построения социализма» реакционерами и врагами прогресса. Переводы произведений русских писателей очень часто отвергались иностранными издательствами, как, например, один из рассказов Набокова в Англии в 1936 году, или глава о советской позиции в отношении музыки, изъятая французским редактором из книги Стравинского. То, что все-таки удавалось кому-нибудь издать, враждебно встречалось критикой и общественностью; так, когда Бунин и Бальмонт опубликовали в конце 20-х гг. несколько документов о подавлении литературной свободы в Советском Союзе, Ромен Роллан выругал их в печати, а в 1943 г., когда роман Алданова «Начало конца» (The Fifth Seal) был представлен к премии американским клубом Book-of-the-Month, целая группа интеллигентов подписала протест против награждения книги, автор которой является врагом Советского Союза.

В отличие от писателей, замечает Карлинский, русские зарубежные художники, композиторы, танцоры не подвергались в западном мире такой органической цензуре. К сожалению, это положение редактор не детализирует; он вообще больше ничего не говорит о художественных деятелях в иных отраслях искусства, кроме литературы (хотя весь второй том сборника, № 28, посвящен главным образом им). В действительности, у тех же художников существовали проблемы не только творческие. После революции за границей оказались почти все художники-модернисты; многие из них были первоклас-

БИБЛИОГРАФИЯ

ными мастерами, — во всяком случае, они не уступали своим европейским собратьям. Однако ни Гончарова, ни Экстер, ни даже Кандинский не достигли известности Эрнста, Миро, Клее. Сергей Шаршун (упоминаемый во французской истории модернистического искусства, как член группы дадистов во время первой мировой войны) рассказывал мне лично, что в 20-х гг. ни один русский художник в Париже не мог практически стать членом процветающей тогда группы сюрреалистов, так как Бретон, считая Советский Союз воплощением идеального нового общества, заставлял всех участников вступать в коммунистическую партию. Во всех отраслях искусства русские были политически «лишними людьми», и это отражалось в отрицании их творчества европейскими критиками.

Карлинский пишет, что цель предлагаемого двухтомника — рассеять миф о художественной неполноценности русских писателей-эмигрантов, ознакомив западного читателя с их произведениями или их деятельностью. Карлинский считает, что впервые внимание западной публики к русской «несоветской» литературе привлек Набоков. С этим утверждением нельзя согласиться вполне, так как большую роль сыграли и «Доктор Живаго», отмеченный Нобелевской премией, и книги Солженицына, и многие другие осужденные в СССР произведения. В общем же, в предисловии к сборнику ставится правильная задача: преодолеть хотя бы частично, апатию и предрассудки Запада в отношении русской зарубежной культуры.

Говоря о содержании сборника, следует отметить критерии отбора, указанные в предисловии. Известность автора не обязательна. Больше внимания уделено периоду между двумя войнами. Публикуются произведения, издание которых на родине авторов невозможно: из-за высказанных в них взглядов на жизнь, религиозной или мистической тенденции, индивидуалистических или пессимистических настроений, сюрреалистической образности, или из-за того, что они дают портреты известных писателей или других лиц, несоответствующие официальной интерпретации.

Первый том посвящен исключительно литературе. Все 6 авторов, представленные в нем, писали до второй мировой вой-

ны, двое из них — даже до первой. Только один из шести жив в настоящее время.

О Ремизове написал короткую, но исчерпывающую статью Алексей Шейн, профессор Нью-Йоркского Штатного университета в Албани. Кроме биографических данных, он дает анализ творчества Ремизова, объясняя его «орнаментальную прозу» и образность, роль религиозной тематики и снов. Не совсем понятно, почему из произведений Ремизова в сборник были включены «Ведогон», написанный в 1907 г., и «Три сна», написанные в 1909 г. Остальные четыре отрывка — «Три апокрифа» из «Звезды надзвездной», две главы из «Подстриженными глазами» и «Муаллякат» из «Мышкиной дудочки» — написаны в эмиграции. Два последних отрывка особенно удачно представляют ту струю в творчестве Ремизова, в которой действительность и сон растворены одно в другом, создавая сюрреалистический мир. Эти отрывки даже более показательны, чем были бы его сны из книги «Мартын Задека». Однако, ни стилистически, ни исторически Ремизова к сюрреалистам причислить нельзя, тем более, что он никогда не был членом группы Бретона. (Подробнее об этом см. нашу статью «К вопросу о сюрреализме в русской литературе» в книге «American Contributions to the VII International Congress of Slavists». Mouton, The Hague, 1974.)

Роберт Хьюз, профессор Калифорнийского университета, рассказывает о жизненном и творческом пути Ходасевича и сравнивает его с путями других поэтов прошлого и настоящего. Одной из главных тем поэзии Ходасевича Хьюз считает несоответствие между видимостью и действительностью, томление души поэта в ненавистном ему окружении. Среди биографических деталей много грустных, даже трагических, как, например, такая: из более трехсот статей, опубликованных Ходасевичем в эмигрантской печати, сохранилось только несколько — в сборниках «Некрополь» и «Литературные статьи и воспоминания», — а остальные тлеют в разбросанных по всему миру отдельных экземплярах газет и журналов. Подобные детали содержатся также в переводном некрологе, написанном В. Набоковым. Стихи Ходасевича (их три), так же, как и всех

БИБЛИОГРАФИЯ

других поэтов в сборнике, даны только в английском переводе, и это кажется мне большим упущением. Невозможность эквивалентного стихотворного перевода становится очевидной уже хотя бы из приведенных далее в сборнике двух параллельных переводов стихов Георгия Иванова.

Марина Цветаева представлена на редкость скудно. Статья Д. Святополк-Мирского (1926 г.) освещает только один период ее творчества. По его мнению, Цветаева — единственный поэт того времени, которому удалось выработать свой собственный стиль, начиная с «Лебединого стана». Она стремится освободить свой язык от иностранных влияний, возвращаясь, как и Ремизов, к чисто русским оборотам. Выбор стихов Цветаевой (их также три) не очень удачен: не представлены ни «Лебединый стан», ни одна из ее поэм. Из прозы переведена ее статья «Поэт о критике», в которой она объясняет творческий процесс поэта и полемизирует с критиками, дающими свои оценки «извне».

Очень интересна статья Владимира Маркова, профессора Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, о Георгии Иванове. Начиная с анализа творчества Иванова, Марков проводит параллели с поэзией Ходасевича, которого считает лучшим мастером. Для Маркова Иванов как поэт расцвел в эмиграции, в противоположность Ходасевичу который в ней «задохнулся». Далее следует анализ лучших, по мнению Маркова, стихотворений и краткий обзор каждой книги поэта. В статье не говорится ни об авангардистской прозе Иванова «Распад атома», вызвавшей в свое время возмущение его русских читателей, ни об его критических статьях, одна из которых, о Набокове, своей предвзятостью и злостью могла очень повредить Иванову в глазах публики. Зато переведена глава из книги воспоминаний «Петербургские зимы», рисующая Есенина. Шесть стихотворений Иванова напечатаны в параллельных переводах двух американских поэтов, но не включено ни одно из тех пяти, которые Марков считает лучшими.

Набоков, которому в предисловии Карлинский приписал такую важную роль в ознакомлении Запада с русской зарубежной литературой, представлен очень слабо: одним из самых

неинтересных его рассказов «Тяжелый дым», и главой «Solus Rex» из неоконченного романа, последнего русского произведения Набокова. Вовсе отсутствует обзорная статья, вероятно потому, что редактор считали и биографию, и творчество Набокова слишком хорошо известными американскому читателю. Нет ни упоминания о его стихах, воспоминаниях, переводах на русский язык и др., нет и анализа главных тем или художественного мастерства. Статья о Набокове второго редактора «Трайквартерли», Альфреда Аппэля (профессора чикагского университета Нортвестерн, где издается этот журнал), посвящена только одному аспекту поэтики Набокова — кинематографическим приемам, использованным в его романах, влияниям сцен или героев из разных фильмов и т. д. Это самая длинная статья в сборнике (78 стр.); в ней множество интересных деталей, наблюдений и сравнений, иллюстраций из фильмов с подходящими, а иногда забавными комментариями; кроме того, статья дает обильные сведения об участии русских в западном кино (тема, о которой, за исключением статей Юрия Анненкова в «Возрождении», известно очень мало).

О Борисе Поплавском напечатаны целых две статьи, в какой-то степени повторяющие одна другую. Антон Олкотт, аспирант Станфордского университета, концентрирует свое внимание, главным образом, на отношении критики к Поплавскому и на некоторых сторонах его биографии. Олкотт разрешает давний спор о смерти поэта, считая ее преднамеренным криминальным актом одного наркомана, а не самоубийством. В поэзии Поплавского Олкотт видит связь словесных образов с живописью: его образность визуальна, и цвета играют в ней очень большую роль. Проза Поплавского могла бы стать его главным поэтическим средством высказывания, так как его очень интересовала духовная жизнь и передача субъективного опыта восприятия бытия. Но в виду того, что к прозе Поплавский обратился поздно, он не успел найти ни своего стиля, ни своей формы, хотя уже и подошел к ним в своих дневниковых записях.

Стихи Поплавского (их семь) в английском переводе звучат несколько «сглаженно» и не производят такого сильного впечат-

БИБЛИОГРАФИЯ

ления, как в оригинале, возможно отчасти из-за отсутствия ритма и рифмы. В данном случае особенно недостает русского текста. В приведенной в сборнике главе из романа «Домой с небес» такого расхождения с оригиналом нет.

Во второй статье редактор Карлинский, начиная издалека — с развития своего интереса к Поплавскому — приводит среди материалов воспоминания отца поэта и других лиц о его семье. Относительно смерти Поплавского Карлинский цитирует сообщение из газеты «Последние новости», в котором категорически отрицается возможность самоубийства. Ссылка на газетную статью не очень убедительна, тем более, если вспомнить, что о самоубийстве Поплавского до сих пор говорят его современники в Париже. В свое время эта смерть даже навела Бердяева, поклонника поэта, на философские размышления в эссе «О самоубийстве». Карлинский, так же как и Олкотт, считает главными факторами в творчестве Поплавского живопись, особенно сюрреалистическую и неоромантическую, мистические искания, а также его наркоманию. Жаль, что в сборник не была включена газетная рецензия Набокова на «Флаги» или хотя бы часть магистерской диссертации Елены Пашутинской (Париж) об образности стихов Поплавского; Карлинский упоминает обе эти работы.

Во втором томе — четыре раздела, посвященные разным отраслям искусства, а также и литературе. В разделе музыки музыковед Питер Ейтс, разбирая влияния различных композиторов на Игоря Стравинского, заключает, что собственный голос Стравинского был всегда слышен безошибочно. Жизнь вне родины была для композитора менее трудной, чем для поэтов, но все же он сталкивался с жесткими фактами: его ранние произведения, написанные в России до революции, за которые гонорара не полагалось, исполнялись чаще, чем более новые. В статье Ейтса чувствуется известное восхищение Стравинским, но в целом он объективен, что очень приятно — после пристрастности двух недавно вышедших биографий композитора.

О Баланчине написали Анна Киссельгоф, балетный критик «Нью-Йорк таймса», и Джон Малмстед, профессор Колумбийского университета. Они считают, что балет является единст-

венной формой искусства, неотъемлемо связанной на Западе с Россией, — начиная с Дягилева, который возродил балетную традицию в Европе. После биографических заметок о Баланчине, с перечнем созданных им балетов, в статье дается также и общая характеристика его стиля: 1) от русской школы у Баланчина близость и к модернизму Стравинского и к классической традиции Петипа, что составляет основу его творческого метода, 2) от новой родины, Америки, инстинктивный атлетизм, присущий модернистическому танцу бродвейской оперетты и фильмам, 3) интернациональная тенденция отражается в современном мироощущении, лишенном как эмоциональности, которая преобладала в XIX-м веке, так и фольклора, отличающего, например, «Петрушку» Фокина. В балетах Баланчина нет сюжетов и одно время их называли «абстрактными», — его противники называют их «декоративными». Авторы соглашаются с недавно вышедшей биографией Баланчина (написанной Бернардом Тейпером) о роли классической традиции в модернизме Баланчина.

Последующее эссе Владимира Маркова о Моцарте представляет собой прекраснейший образец публицистики. Но, к сожалению, оно никак не соответствует характеру сборника (русская культура за рубежом), разве только свидетельствует о высоком культурном уровне нью-йоркского «Нового журнала», в котором оно впервые появилось в 1956 г.

Во второй отдел включены переводы стихов Моршена, Штейгера, Одарченко и Чиннова. Обращает на себя внимание отсутствие Ивана Елагина, который и стилистически и тематически больше, чем кто-либо, отвечал бы замыслам сборника. Стихи переведены без комментариев и так же, как и в I-ом томе, без русских подлинников.

Хотя третий отдел посвящен беллетристике и философии, последняя представлена лишь одной статьей профессора Калифорнийского университета Чеслава Милоша о Льве Шестове. В статье говорится, главным образом, о философии отчаяния Шестова, а также освещено его отношение к Достоевскому. Среди беллетристов мы встречаем Галину Кузнецову; её воспоминания о Бунине и его окружении в конце 20-х — начале 30-х гг. по-

БИБЛИОГРАФИЯ

вествуют о Нобелевских днях, попеременно с описаниями обедов, прогулок и разговоров.

О Тэффи написала короткую биографическую заметку Эдит Хейбер, профессор университета Тафтс, включив перевод её рассказа «Время» из сборника «Всё о любви», довольно характерного по своей иронии. Елена Извольская кратко вспоминает парижские философские и религиозные собрания, где она впервые встретила Василия Яновского. Позже Яновский, как и Набоков, начал писать по-английски. В сборник включен перевод одного его рассказа (русское название не указано) и главы из романа «Американский опыт», так и не вышедшего, насколько мне известно, отдельным изданием. Профессор Ольга Хьюз из Калифорнийского университета дала детальный анализ напечатанных в сборнике отрывков из романа Аллы Кторовой «Жар-птица».

Четвертый раздел посвящен художникам. Американский поэт и критик Паркер Тайлер в своей статье о Павле Челищеве уделяет главное внимание его биографии и даже родословной. Здесь, так же, как и в своей книге о Челищеве, Тайлер старается осмыслить проблему эмиграции для художника и её роль в творческом процессе. Но о декорациях Челищева для театра говорится вскользь, а о картинах вообще ничего. Константин Коровин представлен в сборнике своими воспоминаниями о Чехове (перепечатанными, между прочим, в Советском Союзе, что по замыслу редакторов должно было бы исключить их из сборника). Татьяна Кузубова, аспирантка Калифорнийского университета, кратко описывая жизнь и писательскую деятельность Коровина, утверждает, что и за границей он остался импрессионистом, но дать оценку его живописи пока еще нельзя. В своей подробной статье о живописи, декорациях и литературной деятельности Михаила Андрееико парижская чета искусствоведов Маркадэ замечает, что всё его творчество отличается лаконизмом. Некоторые рассказы Андрееико (так же, как и его картины 30-х гг.) создают сюрреалистический мир. Лучший, по их мнению, рассказ «Мыши» включен в сборник.

На этом кончается второй том. Можно пожалеть, что все три названных художника не представлены в сборнике в све-

те их живописи, а многие другие, в том числе и более интересные и выдающиеся, даже не упомянуты.

Тем не менее, несмотря на некоторые недочеты, надо отдать должное сборнику «Трайквартерли», который впервые занялся обзором русской зарубежной культуры. Сборник вполне выполнил свою задачу: в общедоступной форме он знакомит с этой культурой нерусского читателя.

Людмила А. Фостер

ОБРАЩЕНИЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА « ПО С Е В »
К ЛИТЕРАТУРНОЙ МОЛОДЕЖИ И СТУДЕНЧЕСТВУ,
К ПИСАТЕЛЯМ, ПОЭТАМ,
ЛИТЕРАТУРНЫМ КРИТИКАМ,
К ДЕЯТЕЛЯМ ИСКУССТВА, НАУКИ И ТЕХНИКИ
— КО ВСЕЙ РОССИЙСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

Русское издательство « П о с е в », находящееся в настоящее время за рубежом, во Франкфурте-на-Майне, предоставляет Вам возможность публиковать те Ваши произведения, которые по условиям политической цензуры не могут быть изданы на Родине.

Эти произведения могут быть напечатаны в журнале « Г р а н и », в ежемесячнике « П о с е в » или изданы отдельными книгами. Возможна также публикация этих произведений на иностранных языках.

Рукописи могут быть подписаны как фамилией автора, так и псевдонимом. В последнем случае издательство принимает необходимые меры для того, чтобы исключить возможность установления личности автора, и гарантирует, что оригинал рукописи не попадет в чужие руки.

Рукописи, вышедшие в Самиздате, перестают быть исключительным достоянием автора, — они становятся достоянием российской литературы. Поэтому наше издательство считает прямым своим долгом способствовать публикации таких рукописей, поскольку новая российская литература лишена политической цензурой права голоса у себя в стране.

Авторские гонорары в размере, соответствующем установленным в « П о с е в е » ставкам, будут храниться в издательстве до того времени, пока автор найдет возможным их получить.

Пересылать рукописи в издательство «Посев» можно как через своих граждан, едущих за границу в некоммунистические страны, так и через иностранцев, посещающих СССР.

Приехавший за границу может сдать пакет с рукописью на почту, а в случае необходимости — опустить в почтовый ящик и без марок. На пакете с рукописью необходимо указать следующий адрес:

P o s s e v - V e r l a g,

623 Frankfurt am Main, 80, Flurscheideweg 15.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Это обращение составлено нами до подписания Советским Союзом Всемирной конвенции об авторском праве. Теперь создалась новая обстановка, которая будет нами учитываться. Но мы будем продолжать помогать российской интеллигенции, а в особенности молодежи, выполнять возложенную на нее историей ответственную задачу — в свободном творчестве правдиво изображать жизнь и стремления нашего народа, воспроизводить его духовный облик. За свободное творчество! За свободную Россию!

С дружеским приветом

ИЗДАТЕЛЬСТВО « П О С Е В »

Содержание номеров журнала « Г р а н и » помещено:

с № 1 по № 58 в № 59

с № 52 по № 74 в № 74

с № 75 по № 78 в № 78

с № 79 по № 86 в № 87-88

Новый каталог вышедших номеров высылается бесплатно по требованию.

Александр Галич

Генеральная репетиция

Основу сюжета составляет история запрещения постановки пьесы А. Галича «Матросская тишина» после просмотра ее генеральной репетиции представителями ЦК и МК КПСС.

А. Галич дает широкую картину жизни московских театральных и литературных кругов, с которыми он был тесно связан более тридцати лет, рассказывает о встречах с К. С. Станиславским, Л. М. Леонидовым, С. М. Михоэлсом, Перцем Маркишем и многими другими известными деятелями культуры.

В художественную ткань произведения органически входит и текст пьесы «Матросская тишина».

Обложка работы художника Н. И. Николенко.

Малый формат. — 250 стр. Цена 16.50 н. м.

В. Максимов

Прощание из ниоткуда

Это — автобиографическое произведение, в художественной форме повествующее о тяжелых годах детства и юности, выпавших на долю писателя.

Автор описывает жизнь простых русских людей в самых разных уголках Советского Союза, в которые забрасывала его судьба в поисках пристанища, в трудной борьбе за право жить, честно зарабатывая свой кусок хлеба.

На фоне этой действительности, сформировавшей характер и мировоззрение будущего писателя, показано и начало его литературной деятельности.

Большой формат, 428 стр., твердый переплет.

Супербложка работы художника Н. И. Николенко.

Цена 27.— н. м.

Г Р А Н И

**ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА, НАУКИ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ**

Стоимость подписки на 4 номера (включая пересылку)

**В Германии и во всех других странах,
кроме США и Канады:**

**При подписке непосредственно из издательства —
36,— н. м.**

**При подписке через представителей и книжные магазины -
43,— н. м.**

**Цена в розничной продаже — 10,— н. м.
(двойной номер — 20,— н. м.)**

В США и КАНАДЕ:

**При подписке непосредственно из издательства —
15,— ам. дол.**

**При подписке через представителей и книжные магазины -
18,— ам. дол.**

**Цена в розничной продаже — 4,— ам. дол.
(Двойной номер — 8,— ам. дол.)**

**Подписную плату следует посылать:
почтовым переводом или чеком (в письме) по адресу**

POSSEV-VERLAG

D-623 Frankfurt/Main 80, Flurscheldeweg 15

**или же банковским переводом на
Konto 2 412 755, Dresdner Bank, Frankfurt/M.**

**Из Германии удобнее переводить деньги на
Konto 334 61, Postscheckamt Frankfurt/Main.**